

ЮНОСТЬ

12 '87





М. ШАГАЛ
Композиция с букетом цветов.

См. нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

12⁽³⁹¹⁾ '87



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Публикацией выступления
в студенческой аудитории
доктора
филологических наук
Сергея Сергеевича Аверинцева
мы открываем новую рубрику
— КАФЕДРА.

И слово мыслителя,
которое так жадно
ловит аудитория,
ища ответ на свои
непростые вопросы,
и сами эти вопросы —
убедительное свидетельство того,
каков нравственный
и интеллектуальный потенциал
нового поколения.

Поколения перестройки.
В дальнейшем на нашу
КАФЕДРУ взойдут и философ,
и экономист...



Сергей
АВЕРИНЦЕВ

КАК НИТЬ АРИАДНЫ...

Я одновременно польщен и испуган тем, что вас собралось так много. В подобной ситуации всегда боишься оказаться банкротом...

Социальная память существует для человека в двух формах, принципиально друг от друга отличных.

Первая форма существовала, скажем условно, «всегда» — человек рождается вовнутрь некоей жизненной традиции своего народа, своего племени, позднее (в историческом обществе) — своего сословия и т. д. Он понимает те песни, которые еще не перестал петь его народ...

Затем в истории европейской культуры происходят две очень важные умственные революции, открывшие культуру как предмет размышлений. Первая свершилась в Древней Греции в V—IV веках до нашего летосчисления. Люди стали задумываться над определениями, например, литературных жанров, стали писать об искусстве и рассуждать, почему то или иное произведение искусства обладает или не обладает таким-то качеством. Вовсю шли в оборот метафоры, взятые из биологической жизни человека: «это был детский возраст искусства» или «его юность», затем «искусство доводится до совершенства такими-то художниками», «искусство переживает свое вершинное состояние», «наступает дряхлость» и т. д.

Следующая умственная революция, подготовленная Ренессансом и последующими эпохами, приходится уже на рубеж XVIII и XIX веков: ко временам Гегеля был открыт историзм.

...Для нас хоть какую-то матрицу, в которую укладываются — плохо ли, хорошо ли, но укладываются — наши впечатления от искусства, представляет собой школьный учебник истории с картинками. Очень важно, что это книжка с картинками. Хотя бы потому, что люди, не запоминающие на будущее из учебника истории ничего другого — ни дат, ни событий, — уж точно сохраняют хотя бы самое общее, самое приблизительное визуальное впечатление. Например, что люди одевались в разные эпохи по-разному; можно перепутать гиматий с тогой, и все-таки ясно, что античные люди не ходили в брюках и т. д. Это очень важно, это фон, на который ложится все остальное. Хотя слова *Tempora mutantur* (времена меняются) — старые слова, но представление о временах, об их перемене, о движении от эпохи к эпохе — это как Ариаднина нить, которая ведет нас по лабиринту сокровищницы мирового искусства и мировой литературы.

Выступление
в историко-архивном
институте
в чтении «Социальная
память человечества».

Другое дело, что мы до сих пор, например, в практике школьного преподавания литературы, вовсе не решили спор между тем подходом, который предшествовал историзму, и подходом в духе историзма. Вместо решения спора мы имеем простой компромисс. Античный человек понимал так: в школе надо изучать образцовых авторов. Концепция ясная и последовательная, и хронология тут ни при чем.

У нас миф об образцовом авторе оживлен, усилен идеологическими течениями XIX века, которые превратили национальные литературы прежде всего в национальные святыни, эмблемы, знамена. Изучение образцовых авторов? Да, конечно. Но с этим соседствует наша потребность отвесить поклоны историзму. И поэтому в наших школах изучается не совокупность образцовых произведений, а история литературы.

Однако история литературы — это процесс, порождающий некоторые вершинные результаты, но никоим образом не сводимый к сумме этих результатов. В нем участвует вся совокупность событий и явлений (они могут оцениваться потомками как подлежащие забвению, очень часто с полным основанием), без которых литературный процесс пошел бы иначе. Есть целый ряд бесславных, с нашей точки зрения, событий литературного процесса, без которых вершинные результаты были бы немислимы или были бы иными. На эту проблему, как вы помните, очень энергично призывал обратить внимание еще Тынянов: вершинные результаты литературы генеалогически восходят не к предыдущим вершинным результатам, а как раз к тому, что до них не осуществилось. И совершенно ясно, что та генеалогия, которая, кажется, именно Тыняновым была сформулирована в форме пародии на начало Евангелия от Матфея (Ломоносов «родил» Державина, Державин — Жуковского, Жуковский — Пушкина и т. д.), была вовсе не такой, всякий раз «отцами» были совсем не те персонажи.

Следовательно, мы находимся в очень сложном положении. Мы хотим соединить то, что, может быть, и соединимо, но так просто не соединяется. Недостаточно изложить сведения об образцовых авторах и образцовых произведениях в хронологическом порядке и добавить немножко сведений из социальной и политической истории, чтобы это стало историей литературы.

Вместе с тем древний принцип изучения образцовых текстов тоже поколеблен. У обоих принципов как бы нечистая совесть друг перед другом, ни один не смеет явиться в чистом виде, без сопровождения другого. Еще раз: я не утверждаю, что они несоединимы, но пока что они не соединены, они просто втолкнуты в такое пространство, где обоим принципам тесно, и они друг друга выталкивают...

Даже в XIX веке, когда люди писали красноречивые страницы о том, что надо видеть античный, средневековый и т. д. художественный мир как целое, тогдашний интеллигент в гораздо большей степени, чем ему это казалось, был связан с первым способом понимания. Это проявлялось хотя бы в том поражении нас порой добродушным и добросовестным (совершенно не таким ядовитым, как в XX веке, а, наоборот, в таком благодушном) «*bona fide*» * у очень вроде бы умных людей, в таком неожиданном, ошарашивающем нас самодовольстве, с которым во времена Гегеля решалось, какие народы исторические, а какие неисторические; в той легкости, с которой европейские народы определяли, насколько культура каждого из них благороднее, чем культура всех остальных.

Как просто формулировались всякие изречения; как легко подхватывали, например, немцы (интеллигентные немцы, которых мы не назовем тупыми шовинистами): «Француз делает какое-нибудь дело только ради славы; англичанин — только ради выгоды», а мы, немцы, делаем дело ради са-мо-го дела» — «*um der Sache selbst willen*» — сказано, как в бронзе отлито. Поразительный памятник времени — немецкая песня «Deutschland, Deutschland über

alles» *, которая для нас скомпрометирована временами гитлеризма; но фон Фаллерслебен, либеральный поэт, подвергавшийся даже гоениям за свой либерализм, написал ее в 1841 году, когда немецкий национализм не был противоположностью либерализма, а, наоборот (как это было нормой первых двух третей XIX века), составлял с ним единство. «Немецкие женщины, немецкие песни должны сохранить свою благородную славу», говорится в ней. Это такая удивительная тупость *bona fide*, такое соединение добросовестности, искренней наивности и какой-то невинной наглости, которое в таком виде никогда не сможет повториться.

То есть ксенофобия **, как мы знаем, существует, но она никогда не будет невинной. Вот этого никогда не будет даю. И есть причина, по которой мы не должны смотреть на такую спесь и самодовольство партияльных кругов XIX века свысока: в XIX веке (и XIX век был в этом отношении последним веком в некотором ряду) у самодовольства и ксенофобии было еще некоторое содержание. То есть содержание остается до тех пор, пока существует некоторая бытовая культура — непоколебленная, хотя уже и оспоренная, уже находящаяся в опасности.

Про XIX век у Бахтина хорошо сказано в книге о Достоевском: люди, которые никогда прежде не вступили бы в общение, встречаются; целые миры, которые не были прозрачны друг для друга, становятся прозрачными.

Но это, конечно, опасный момент — описанная выше раздражительная самоуверенность людей, которые имеют свою наследственную бытовую культуру, нечто, что может быть узким, может быть затхлым, но остается еще подлинным, пусть хотя бы какая-то провинциальная *Misère* ***, но подлинная. У них есть инстинкт защиты семейной, так сказать, традиций от чужаков. «Ужас, приходят чужаки! У нас тут было все так привычно, мы знали между собой, что хорошо и что плохо, нам так хорошо жилось между собой — а приходят чужаки!»

Я еще раз повторяю: это и в XIX веке было моральным злом и социальным злом, но имело некоторое позитивное содержание и моральное оправдание. У любого квасного патриота был квас, его отец пил квас, его дедушка пил квас (сейчас, кстати, квас продают на наших улицах, но мы очень хорошо помим, со сколь недавнего времени это так), и вот он говорит: «Ну дайте вы мне мой родной квас и идите вы куда подальше со всем остальным...»

Это несовместимо со всякой высокой духовностью по крайней мере уже две тысячи лет или больше, потому что еще греки пришли ко всяким соображениям о единстве рода человеческого, еще греки переработали свою культуру (выросшую в высшей степени из греческой почвы) в нечто всемирное.

А затем был Новый Завет, где мы читаем, как Христос разговаривал с самаритянкой, рассказывал ей притчу о том, как самаритянин пожалел иудея — только привычка может не дать нам почувствовать скандальности и вызова, духовной провокации в самом что ни на есть добром смысле; это невероятно, ведь самаритяне — самые злые враги, которые швыряют камнями в паломника, идущего в Иерусалим, это люди, о которых в святой книге Ветхого Завета говорится: «Господи, не забудь им зла, которое они сделали...»

Достаточно представить себе: чтобы когда-нибудь в 60-е годы XIX века русский батюшка рассказывал притчу о добром поляке, или польский ксендз рассказывал бы притчу о добром русском... Это все вещи невообразимые.

Престиж (слово несколько неприличное, но я его сейчас употребляю в самом что ни на есть объективном, не браником смысле) культуры очень легко поддерживать, пока культура — это достояние надежно замкнутого круга, когда под иогами у культурного человека лежит «деревенщина» или «варвар», когда под ноги целомудренной матроне или девице

* — «Германия. Германия превыше всего».

** — навязчивый страх перед незнакомым, чужим.

*** — (фр.) убожество.

* (лат.). Здесь искренность, чистосердечность.

положена шляха, под ноги благочестивому носителю религиозной культуры — иконоверец и т. д.

Очень легко тогда практиковать определенного рода добродетели, хотя бы добродетель уважения к культурной и нравственной традиции: «Мы — носители этой традиции, а вот они — нет!» Это все-таки очень подслащивает человеку горечь того необходимого усилия, которое всегда требовалось, требуется и будет требоваться для того, чтобы действительно усвоить культурную, интеллектуальную и в особенности нравственную традиции.

Сейчас мне благоразумно подойти к концу. Может быть, я посмотрю вопросы.

Записка: «Существует ли прогресс в искусстве?»

— Это зависит от того, что значит «прогресс в искусстве». Если понимать под прогрессом движение искусства «все выше, и выше, и выше», — конечно, нет.

Искусство дышит все с большим трудом. Искусство становится все менее простым. Мы видим регресс, потому что простота как-никак лучше всего. И мы видим прогресс, потому что духовная жизнь человека (если она не подпадает опасности разрушительного, вторичного и бессмысленного упрощения, которое просто производит пустоту вместо простоты) усложняется.

Одновременно сейчас существует реальная возможность полной утраты культурной памяти, потому что это предоставлено выбору человека, акту свободной воли. Пока человек «рождается вовнутрь», это от него не зависело. Он мог быть глупым сыном, мог быть дерзким, мятежным, «блудным» сыном, мог быть наглым сыном, но он не мог перестать быть сыном. Какой-то минимум само собой разумеющейся связи, достоящейся по наследству, был.

Сейчас его ничто не гарантирует. И сейчас мы находимся в таком положении, что даже то, что прежде было беспочвенностью, для нас уже почва.

Прошу прощения за такие личные признания, но мой отец был человек необычайный старый — он родился в 1875 году, — и он был человек, очень характерно воплощавший культурный тип русского разночинца. Я еще это помню, я еще это ощущаю и знаю не из книг. Можно было бы сказать, что разночинская культура — как раз непочвенная культура в отличие прежде всего от крестьянской, дворянской, также купеческой. Ах нет, есть какая-то почва, я это чувствую. Но и это все тоже исчезает. Бесследно, полностью? Тут возможны самые разные точки зрения.

Можно решить: все, точка, мы пришли к полной беспочвенности, те, кто перед нами, — это реликтовые экземпляры, к которым мы не обязаны относиться с уважением; мы можем создать для них как бы некую культурную резервацию, или попросту на них злиться, избивать их в неподлинности и т. д. Либо, наоборот, торжественно на них указывать: «Посмотрите, какой человек, это для меня важнее всего прочего».

Для меня и та и другая точка зрения, и та и другая линия поведения явио дурны, так как обе предполагают недостаток уважительности к нашим собратьям по человечеству. Если нашим собратьям по человечеству, скажем, повезло больше, чем нам, мы должны радоваться за них, а не завидовать и не сердиться. С другой стороны, если больше повезло нам, мы не должны оскорблять наших собратьев по человечеству, которым повезло меньше, не должны принимать позицию превосходства, которая всегда раздражает человека, озлобляет его и восстанавливает против той самой культурной традиции, которую мы хотим защитить.

Вообще же очень важно, что у дьявола всегда две руки, и его любимый фокус — выбросить перед нами обе руки и сказать: что у меня в правой руке? что в левой? Выбирай! Но никогда не надо принимать выбор, который навязывает дьявол, мы всегда знаем заранее, что ни в правой, ни в левой его руке ничего хорошего нет, дрянь одна. И мы должны отклонить этот выбор.

Записка: «Вы считаете, что понятия интеллигентного и национального полностью противоположны?»

— Я этого не считаю. Но ведь очевидно, что были народы, внесшие уникальный вклад в развитие цивилизации, и народы, не давшие почти ничего.

Есть народы, давшие больше, и народы, давшие меньше, хотя всякий суд, который взялся бы разбирать — насколько именно больше или меньше, взял бы на себя ответственность значительно большую, чем человеку стоило бы брать. Но важно не это. Важно то, что народы, давшие меньше, не давшие «почти ничего», все равно внесли уникальный вклад: то есть того немногого, что они внесли, нельзя заменить ничем другим. (Аплодисменты.)

Записка: «Не может ли истинно интеллигентный человек испытывать законную гордость за достижения своей — подчеркиваю — своей культуры?»

— Разумеется, может. Только здесь все зависит от очень тонкого поворота воли. Мы посмотрим с огорчением и неудовольствием на сына, который говорит о родителях как о совершенно чужих людях, разбирает их недостатки (вспомним по этому поводу предание о соответствующем библейском персонаже)*.

Но, с другой стороны, представьте, что мы встречаем человека, который будет рассказывать, как было принято у его родителей в семье, где он вырос, давая нам каждым словом понять: «А вот у вас же так, ты вообще ничего подобного не понимаешь, где тебе!» — для которого милые навыки детства — некая абсолютная норма, и ею должно быть измерено все. Нам всем знакомо раздражение, которое мы чувствуем, когда с нами разговаривают такие хорошие сыновья и дочери, сыновни и дочерние чувства которых мы, вообще говоря, уважаем. Временами они же провоцируют нас на недобрые чувства. Человека же надо, не должно провоцировать. Человеку легко внушить, как говорят наши современники, комплекс неполноценности, легко заставить его — с основанием или без основания — почувствовать себя перед закрытой дверью, и тогда он будет злиться на то, что делается за закрытой дверью, даже если там делаются исключительно хорошие вещи. Человеческая натура, как сказали бы в Средние века, «падшая», и какое-то «семя греха» лежит в самых хороших вещах. Людей очень легко поссорить, и люди ссорились, и их ссорили из-за самых что ни на есть хороших и благородных вещей.

Я думаю, вот что очень важно: человек должен проводить твердую грань между двумя порядками требований.

Есть некоторое количество требований, которые он считает общезначимыми в реальных условиях своего времени, своего общества, и он говорит: «Друзья мои, я считаю, что это, это и это мы все, без малейшего исключения, должны от себя потребовать». Это всегда минимум, это не максимум. Но это то, что дает возможность людям как-то понимать друг друга в простейших вопросах поведения. Я жду, что другой — кто бы он ни был — поступит вот так.

Но у человека, у личности, у группы людей, у носителей какой-то традиции, какого-то специального рода культуры и т. д. могут быть дальнейшие требования, которые они прилагают к себе. Коль скоро это убеждения человека, его традиция, его культура, он обязан действовать сообразно этим, более высоким, требованиям.

Но он не может путать эти требования с суммой тех минимальных требований, которые обеспечивают возможность общего языка. Здравый смысл — это самый низший этаж культуры умственной и всякой другой. Но недаром здравый смысл называется по-английски «common sense» — «общий смысл», то есть то, что обще для всех. Нижний этаж — это то, на чем строятся все остальные.

* — Имеется в виду осмеяние Хамом своего отца Ноя

Я думаю, чем отчетливей мы будем различать ценности, признание которых мы предполагаем абсолютно у каждого порядочного человека, и ценности, которые для НАС являются святыми и которым мы служим, но притом не можем ультимативно требовать такого же отношения к ним других — тем будет лучше. Потому что ультимативные требования приводят не к распространению уважения к нашим ценностям, а, наоборот, к распространению озлобления против них. Озлобления, которое мы сами же можем спровоцировать.

Таковы характерные результаты всяких религиозных войн и всякого поведения в духе утопизма. Всякий утопизм всегда и строится на том, что определенного рода ценностям, которые эмпирически не являются всеобщими ценностями, дается статус общеобязательных. Такое свойство утопизма — дурное, я думаю, свойство. Оно предполагает тайный расчет на то, что будут такие, кто наших требований не примет, и именно сопротивлением нашим требованиям будет жить наш напор. Ну, например, всякий авангардизм — утопизм в искусстве — предполагает негодующую, плюющуюся толпу, которую можно презирать. Как только авангардизм признан, он сейчас же замирает, угасает, не о чем становится говорить, импульс, напор, ярость — все делается беспочвенным и беспредметным. То есть нужно иметь презираемого противника. Я не считаю это нравственно оправданным.

О национальной гордости все, что нужно, сказал Честертон. Когда ему случилось однажды выразить чувство раскаяния, стыда и боли по поводу дел, которые англичане творили в Ирландии в разные эпохи, один из читателей прислал в его журнал письмо: но, господин Честертон, все, о чем вы упоминаете, — дела минувших времен; неужели мы, ныне живущие, должны испытывать такие чувства? Честертон ответил на это так: у меня есть национальная гордость, я горжусь, например, стихами Чосера или Трафальгурской победой, но, видите ли, я ведь не присутствовал при разговорах Чосера с его современниками, я ему не поддал ни единой идеи ни для одной строчки, меня не было, когда шли паломники, которых он описал, и я не сражался при Трафальгаре; но если я принимаю наследство, то я, естественно, принимаю все долги, которыми это наследство обременено. Это ответ.

Записка: «На каких принципах должна строиться, с вашей точки зрения, идеальная программа по литературе, если ставить целью воспитание культурных людей?»

— Я не школьный работник. Я даже не университетский преподаватель. Когда человек, не занимающийся некоторым делом, строит утопии, как все должно быть, — это или слишком легкое занятие, или занятие, которое должно внушать профессионалам отвращение. Скорее можно сказать, чего не должно быть в идеальных программах.

Самое первое: идеальная программа по литературе должна быть приведена в большее соответствие с реальным эстетическим сознанием нашего времени, попросту с тем реальным эстетическим сознанием, которое и существовало в головах образованных людей все время.

Это не совсем относится к преподаванию, но когда я зашел в самую обычную районную школу, где учатся мои собственные маленькие детки, я увидел там в актовом зале портреты писателей. Ну, с XIX века все, в общем, в порядке. Что касается XX века... С прозаиками — мне там кого-то не доставало, но, в общем, еще куда ни шло. Но что касается поэтов, то набор их находился в таком гротескном противоречии с тем, что читают любители поэзии, люди, стихами живущие, безотносительно к каким-то специальным особенностям вкуса, к частным вкусам каких-то замкнутых кружков и т. д. Я не хочу поносить ничье имя, но предстала такая картина русской поэзии XX века, при которой Исаковский или Долматовский заполняют собой колоссальную пустоту, обра-

зованную искусственным отсутствием целого ряда других лиц.

Второе — что сделать трудней. Надо найти какое-то решение или хотя бы более содержательный компромисс между двумя установками изучения истории литературы. Чтобы принцип введения ребенка и подрастающего в обладание сокровищами национальной культуры (т. е. обеспечение знакомства с образцовыми авторами, образцовыми текстами и минимального понимания таковых) мы держали в голове в наибольшей его чистоте. Чтобы согласование его с принципом историзма было бы более диалектическим (прошу прощения за такое затрепанное в употреблении, но совершенно необходимое слово), чтобы это было иемиожко не так простенько: мол, история — это когда все подчинено хронологической каве, и время от времени сообщается, что эпоха, вообще говоря, была такой-то и автор был представителем этой эпохи... Чтобы история как история была бы и более живой, и более историчной.

Надо через что-то очень простое, неожиданно простое дать ощущение историчности истории. Это связано опять-таки с вопросом о вечных ценностях и т. д. Что происходит? Человеку в школе внушают иллюзорную беспроблемность шкалы ценностей. Все навсегда решено: кто великий, кто всего-навсего выдающийся и т. д. — это как Табель о рангах. Затем человек знакомится однажды с менявшимися суждениями, и тогда он переживает шок. Это как в тех случаях, когда от подростка слишком тщательно что-то скрывают, а потом он это узнает, и мир для него раскалывается.

Вот ведь одна из причин, по которым человеку нельзя внушать слишком простенькие представления и интеллектуальную самоуверенность, потому что он либо останется в этой самоуверенности и будет существом ограниченным и агрессивным, либо он выйдет из нее — не выйдет, а выпадет — в нигилизм и релятивизм.

Я бы хотел вернуться к двум порядкам требований: тех, которые должны быть предъявлены ко всем, и тех, которые человек должен предъявлять к себе.

Одно из ходовых слов, которые являются либо лозунгами, либо соответственно жупелами, это слово «плюрализм». Ясно, что оно может означать очень разные вещи и что оно вводит людей в заблуждение. Я уже говорил, что у дьявола две руки. Предлагается выбор между слепой уверенностью в единственной правильности тех взглядов, которые разделяешь сам, и убеждением в том, что вообще все относительно, объективной истины нет, все альтернативные модели равноценны и при этом мой собственный выбор просто теряется среди всеобщей относительности.

Я думаю, мы не должны выбирать между этими вещами. Если же нас приглашают-таки выбирать, плюралист говорит: «Ты же не хочешь, чтобы людей, которые думают иначе, били по голове?» Нет, не хочу. Его оппонент говорит: «Ты же не хочешь, чтобы все было относительно, чтобы уживались в твоей совести взаимоисключающие вещи, как некоторые, например, публикации наших журналов, где под одной обложкой собрано столько всего... Кажется, должны же люди понять, что это не может быть под одной обложкой, что уж не только под одной обложкой — под одной черепицей коробкой это не будет уживаться...»

Когда мне предлагают выбирать между этим, я спрошу: неужели у вас нет ничего лучше? Я отказываюсь выбирать между этими двумя вещами.

Но для того, чтобы твердо отказаться выбирать между (условно говоря) фанатизмом и (условно говоря) релятивизмом, надо отчетливо различать порядок требований общезначимых и требований незыблемых для меня, но не являющихся таковыми объективно для моих современников, которых я могу убеждать, но на которых я не могу производить натиска, направленного всегда не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы спровоцировать сопротивление и при этом зажечься самому, чтобы умножить энергию своего натиска. Это нехорошие вещи.

Записка: «Хемингуэй называл список из 10—15 книг, без которых, по его мнению, человек не может называться культурным. Прав ли он? Если да, то какие, на Ваш взгляд, это должны быть книги?»

— Не уверен, что культура была сильной стороной Хемингуэя (смех), но это к вопросу не относится.

Идея списка, канона, существовала еще во времена древних конфуцианцев. Но я не решился бы назвать 10—15 книг потому, что современная культура существует в общении, диалоге различных культурных кругов, линий, традиций, и для них этот список в 10—15 книг будет разным.

Хотя нельзя отрицать, что нелегко же не читать того-то и того-то. Эти книги настолько легко назвать, что даже как-то неудобно. Такой маленький список — неудобно. Потому что есть какие-то вещи, которые для нас, живущих сейчас, для людей русской традиции, для людей европейской традиции и т. д. остаются необходимыми.

Перечислять их как-то неинтересно, это каждый и сам знает, хотя, разумеется, «ознакомление» с ними (вот это ужасное слово русского языка!) не гарантирует ничего. И лучше как следует понять одну книгу и ею жить, чем «ознакомиться» с десятью—пятнадцатью, двумястами, двумя тысячами и т. д.

Я думаю, что некоторая опасность для современного человека, желающего быть интеллигентным (или желающего иметь социальный статус интеллигентного), состоит в том, что он прочитывает книги чересчур по списку — те книги, о которых говорят вокруг него.

Есть несколько книг в истории человечества, которые написаны абсолютно для всех, а так ведь книга — это нечто вроде письма до востребования. Если я буду читать книги, мне не адресованные, это тоже может быть бесполезно — я лишний раз узнаю, что, помимо моего внутреннего мира, есть еще совершенно иные миры, живущие по другим законам.

Но если за этим занятием я так и не прочту книг, адресованных мне?

Интеллигентный человек — это кресте всего человек, человеческая жизнь которого все равно должна быть первична по отношению к книгам. Чтение вовлечено в жизнь, а не наоборот. Даже человек, жизнь которого неотторжимо и необходимо связана с книгами, не может быть сведен к библиофильскому существованию. А если сведен — то это очень большое несчастье.

Необходима какая-то связь между книгами, которые мы читаем, и нашей жизнью; сознательный выбор того, что примерно мне нужно исходя из жизни, которую я веду.

И связь обратная: вот это я прочитал, и я должен изменить мою жизнь, я не могу жить так, как прежде. Без этого непонятно, зачем бы читать книги.

Записка: «Завтра отмечается столетие со дня рождения Игоря Северянина. В Москве находится его архив, владельцы которого не желают передавать его на хранение, мотивируя это тем, что тогда к нему не будет доступа».

— Признаюсь, что к Игорю Северянину лично равнодушен. Но дело не в этом — важна сама проблема. Может быть, надо изменить статус функционирования государственных архивов, при котором, во-первых, права первоначальных владельцев продолжали бы учитываться; и во-вторых, архивы, в которых военных тайн явно не содержится, были бы в большей степени доступными, чем они являются теперь.

Столь же важен и вопрос библиотек. Естественно, эти вопросы мы сейчас, на лекции, не решим. Но обязанность нас всех — хлопотать о том, чтобы архив действительно был бы памятью, а не запертый сундук, и чтобы библиотека была продолжением твоего дома, а не учреждением очень неудобным. Как сказал мне один итальянец, побывавший в Ленинской библиотеке (а он все-таки, по праву иностранца, работал в первом зале и т. д.): «Ну, знаете, я со

времен, когда служил в армии, таких переживаний не имел» (смех).

Записка: «Существует ли у нас в стране такое понятие и явление, как массовая культура? Если да, то какое оно оказывает влияние на наше сознание?»

— Боюсь, что существует и имеет шансы существовать впредь. А какое влияние оказывает на наше сознание — думаю, что такое, какое мы даем оказывать.

Записка: «Ваше мнение, почему лишь теперь вспомнили культуру нашу начала века и 20-х годов?»

— Вот с такими формулировками я не могу согласиться. Я бы так переформулировал вопрос: почему лишь теперь разрешили вслух вспомнить? Или: благодарим за то, что разрешили вслух вспомнить. Все время были люди, которые помнили. Другое дело, насколько их при этом выслушивали.

Записка: «Ваше мнение о философских взглядах Розанова?» *

— Я человек старомодный; это очень смешное свойство, но я должен в нем сознаться: когда слишком часто употребляю слово «пол» и тому подобные слова, душа моя вот так закрывается, как у Федора Глинки сказано, что вдруг душа моя сжималась, как ветвь травы — не тронь меня...

Розанов, несомненно, человек исключительно одаренный, и очень глубокий, и один из самых ярких представителей русской прозы. Человек, очень сильно чувствующий выразительность русского слова, его неприужденность, чудную свободу русской речи. Что же касается философских взглядов Василия Васильевича, то ведь он в основном занимался тем, что на следующей странице говорил что-нибудь возможно более противоположное тому, что говорил на предыдущей. Это превратилось в систему его поведения как мыслителя и как писателя. То есть: с предельной непосредственностью выразить настроение и состояние некоторого мгновения, что он сам всячески подчеркивал, вводя в свой текст указания на обстоятельства места и времени написания.

Записка: «Окончательно ли, по-Вашему, исчерпал себя Гегель и все его духовные и бездуховные отпрыски?»

— Несомненно, что XX век на Гегеле сильно обжегся. С другой стороны, «в свете нашего опыта» ругать Гегеля стало слишком легко. Гегель богаче, чем может показаться сразу. Хотя это страшный человек. С ним бывает страшно.

У Гегеля есть еще стороны, которыми он может к нам повернуться. Это все-таки мыслитель более богатый и более многосложный, чем это нам в приступе раздражения может казаться. Суждения о таких больших вещах, как гегелевская философия, не могут выноситься на основании нервного, несдержанного и удовольствия.

Записка: «Что Вы думаете о проблеме исторического понимания моральных и нравственных ценностей, провозглашаемых искусством? Какова доля релятивизма в наших утверждениях по этому поводу?»

— Задача искусства, вероятно, не столько в том, чтобы провозглашать моральные и нравственные ценности (что мы иногда делаем), как в том, чтобы своими собственными путями делать их для нас непосредственно-убедительными. Мне вспоминаются слова одного древнего церковного гимна, обращенные к Богородице: удостоверение, вещественное доказательство тех истин, тех тайн, о которых необходимо молчать.

* Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский писатель, публицист, философ. Писал эссеистско-дневниковую прозу.

Специальное занятие искусства — это говорить о том, о чем словами не скажешь. Притом искусство должно давать нам непосредственное ощущение (большая радость, если прямо; горький, но иногда необходимый путь — от противного) моральной и — шире и глубже — духовной доброкачественности и в противоположность недоброкачественности.

Что касается релятивизма... Вещи остаются теми же. Мы видим их, двигаясь, все в новой и новой перспективе. Мы движемся — и ландшафт непрерывно для нас делается другим. Это не значит, что компоненты этого ландшафта куда-то деваются или откуда-то возникают. Каждое мгновение мы видим, чувствуем весь ландшафт духовного космоса с какой-то наблюдательной точки, которой никогда не было до этого и никогда не будет после. Буквально так: звуки музыки звучат сегодня как-то иначе, чем звуки той же музыки год назад или через год. Можно при желании назвать эту подвижность живого релятивизмом, можно не называть.

Записка: «Судя по Вашим словам о неизменности вещей ландшафта, на который меняется наш взгляд в зависимости от точки зрения, Вы разделяете мысль Торнтона Уайлдера, который полагал, что история вообще — неподвижный ландшафт, вдоль которого мы движемся. То есть, Вы еще, пожалуй, усложнили эту мысль. Между тем она очевидно отрицает прогресс».

— Во-первых, я должен признаться в своем невежестве — не читал Торнтон Уайлдера, в чем каюсь. Во-вторых, я никак не думал сказать, что история — неподвижный ландшафт.

Ландшафт, который в некотором простейшем смысле не меняется, — это уже существующий тезаурус культуры прошлого — сумма того, что уже создано. То есть, если мы верим в объективное существование «Илиады», мы не можем чрезмерно увлечься парадоксом, по которому «Илиада», читаемая сейчас, — это текст, не имеющий ничего общего, никакой точки соприкосновения с той «Илиадой», которая была создана.

Если мы говорим о понимании искусства, культуры прошлого, это значит, мы постулируем какой-то объективный статус за этой культурой, какое-то ядро, реальность, не сводимую к тому, что мы об этом думаем, что по этому поводу чувствуем. Ядро это не является абсолютно пластичным, мы не можем мять и лепить его по своей прихоти, и в этом смысле оно неподвижно.

Есть еще один аспект этого ландшафта, который неподвижен: это координаты верха и низа. Наши мнения о ценности тех или иных шедевров с годами могут чрезвычайно меняться, и меняются очень резко. Продолжая метафору, можно сказать, что опять-таки от точки зрения наблюдателя зависит, выглядит ли один предмет выше или другой и т. д.

То есть мы можем сказать, что когда люди в XVIII веке считали средневековое искусство или русскую икону вовсе никаким не искусством, то они заблуждались.

Предположим, красота Шартрского собора или русской иконы была в какой-то момент открыта. Но открыть можно только какую-то вещь, которая существует безотносительно к тому, открывают ее или нет. Если я приехал и увидел остров — я его открыл. Если я насыпал остров там, где его никогда не было, — это не открытие, это иначе как-то называется.

Великая музыка остается в принципе великой музыкой, даже если бы все на свете люди сговорились и на некоторое время ее таковой не признавать.

Самое тривиальное суждение: когда никто не смотрел на Владимирскую богородицу как на произведение искусства, она оставалась произведением искусства. Это самая банальная вещь, которую, разумеется, можно оспаривать, но парадокс будет как раз в оспаривании.

Записка: «Объясните, почему Вы называли культуру разночинцев беспочвенной? Справедливо ли такое категоричное утверждение?»

— Конечно, совершенно несправедливо, но такого категоричного утверждения я не делал. Я как раз говорил, что «подумать только: вот это, что казалось когда-то беспочвенно...» Ведь разночинец — это, по определению, человек, вышедший из круга, который его породил, т. е. бывший попovich, бывший безлошадный крестьянин такого-то уезда, как значился по призывным документам мой отец, и т. д. Он уже не принадлежит к этому кругу, он вступил в культуру именно через то, что преодолел все, к чему был связан своим рождением. Разумеется, национальная почва и т. д. остается, но естественным образом крестьянин или дворянин живут иначе, чем разночинец, их жизнь (так им по крайней мере может казаться) продолжает «златые игры первых лет», а разночинец рвет со своим детством, со своим истоком, по капле выдавливая из себя раба, как чисто по-разночински сказал Чехов. Для него приобщение к культуре — это прежде всего переучивание. Но я-то говорил совсем о другом: смотрите — у разночинца, и у него, вопреки всякой видимости, почва была.

Записка: «Ваше отношение к спору «славянофилов» и «западников»?

— Слова «славянофилы» и «западники» в записке взяты в кавычки, из чего можно заключить, что они употреблены не в терминологическом, а в разговорном смысле, как расхожие клички теперешних умонастроений.

По совести, не знаю, позволительно ли так употреблять слова?

Вправду ли наши современники заслужили право называться старинными именами?

Где сейчас благородство мысли, отмечавшее обе стороны: Чаадаева — и Тютчева, Хомякова — и Герцена? Там была стройность, была гармония, «музыкальная», «архитектурная» гармония. Да, они спорили, спорили непримиримо, но их спор протекал на основе некоторого взаимопонимания и потому был для культуры плодотворным.

Нельзя воображать, будто славянофилы не знали и не любили Запада, или будто в мысли Чаадаева или Герцена отсутствовала Россия. Если были когда-то в России истинные европейцы в лучшем смысле слова, то к числу их, конечно, относится Иван Васильевич Киреевский, слушатель лекций Шеллинга; все помнят, я думаю, что в молодости он издавал журнал, очень скоро запрещенный, который так и назывался «Европеец». Ну, позднее он редактировал другой журнал, который назывался иначе — уже «Москвитин»; но в том-то и дело, что ранние славянофилы были «москвитянами» с внутренним опытом «европейцев». «Страна святых чудес» — эти слова о Западе сказал отнюдь не западник, но славянофил Хомяков. Славянофильская критика Запада — законный момент общеевропейской романтической мысли, связанный с Шеллингом, родственный «гейдельбергской» романтике, во многом предвосхищающий культур-критику * XX века, вплоть до Хайдеггера и дальше, например, до современного греческого философа Х. Яннараса, который прямо ссылается на славянофилов.

С другой стороны, разве Чаадаев — не характерно русское явление, такое же русское, как его тезка Петр Великий? Разве безудержность в расчетах со своей традицией, несомненно, опасная, не является в России сама традицией, разве она не входит в русскую «широту натуры»? Чаадаев сказал: «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его» — и что правда, то правда, Петр Великий учил именно такой любви.

Когда тот же Чаадаев спрашивал: «Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее?» — он был совершенно искренен, и укорить его можно только за безоглядность, с которой в жертву будущему

* «Культур-критика» — направление в западной философии, восходящее к романтизму и развившееся в XX веке; характеризуется пересмотром оснований и ценностных критериев научной веры в прогресс, автоматически делающий людей лучше и счастливее.

России принесено ее прошлое и настоящее; но это — не в первый и не в последний раз за нашу историю. Хорошо ли, худо ли, и даже точно худо, но мы такие — мы, а не чужие дяди; безоглядность — в структуре русской истории, а не в головах отщепенцев, вышедших за ее пределы.

Как неожиданно и как, наверно, логично, что Чаадаев при всем при том хвалил пушкинских «Клеветников России»! А Герцен со своим львиным рыком против мещанской цивилизации Запада, со своим почти «славянофильскими» надеждами на дух русской крестьянской общины! У него были основания сказать о славянофилах: «И мы, как Янус, или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

В пару к этому — слова Хомякова о Чаадаеве: «Может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками».

Как они говорили друг о друге! Серьезность спора это никоим образом не отменяло, но придавало ему качество благородства, одухотворяло его, задавало масштаб, всегда пропорциональный мере взаимного уважения оппонентов.

Немного позднее, когда друг против друга стояли уже ие Хомяков и Чаадаев, а Катков и персонажи «Бесов» Достоевского, спор велся уже сканднее, а потому не просто жестче, злее, но и неинтереснее. А тогда, во времена Хомякова и Чаадаева, было что уважать. Славянофилы менее всего были узкими ретроградами или духовными провинциалами. Западники менее всего были представителями национального нигилизма.

Где нам до них! Нам бы научиться спорить, не подменяя мысли апелляцией к страстям публики, а главное, простите, не жалуюсь по начальству. По чудной русской пословице: «Бог любит праведника, а черт любит ябедника».

Теперь, когда столько воды утекло, мы не можем, не причиняя своему историческому пониманию насилия, не видеть, что «правы», ненаучно выражаясь, были и те, и другие, и что русская культура реально существует в противоречивом единстве обоих полюсов, обоих противоречий, которые друг друга предполагали, друг друга подталкивали — как помог Чаадаев появлению, самоопределению славянофильства! — и на каждом шагу, как мы только что успели убедиться, друг в друга перетекали.

Это значит, что у нас не получится с чистой совестью, без насильственного упрощения и обеднения своей же собственной умственной жизни, попросту принять сторону тех или других, «быть» теми или другими. Объективная содержательность выступлений обеих сторон — плодотворных не в последнюю очередь как вызов для противоположной стороны — взаимоопосредована, «снята» в гегелевском смысле. Вот такой, «снятой», мы ее имеем шанс по-настоящему усвоить. Все остальное, скорее, предлог для ссоры. «Я ненавижу ссору, потому что она портит удовольствие от спора», — сказал Честертон.

Остается, конечно, право каждого живее чувствовать ту сторону дела, которую его личный опыт сделал для него более кровной. Это право должно быть признано за всеми; но оно предполагает, что чужой опыт существует — и в качестве существующего принимается, если не к сердцу («сердцу не прикажешь»), то хотя бы к сведению. На это и дан людям разум: принимать друг друга к сведению. Разум — это посредник, неподкупный и непокладистый третейский судья, он напоминает сторонам: помимо вашей обиды на них есть еще их обида на вас, а если разум совсем разумен, он добавит: в сумме обид есть еще и такие, о которых даже я пока не знаю... Что делать с обидами? Не забывать — забвение вещь опасная и слишком много захватывает, — а нечто совсем иное: прощать в ясном и трезвом состоянии своей безвзвешенности. В истории невиноватых нет.

В определенных границах каждый имеет право и даже обязанность защищать в случаях «коллизий» те ценности, которые ему лично ближе всего; проблема в том, чтобы не нарушались границы дозволенной обороны. А главное, должно быть ясно, что права

и обязанности противоположной стороны — те же самые. Не должно быть наигранного или, во всяком случае, бессмысленного удивления: да как они смеют? да откуда они взялись? И взялись, и смеют. Мы достаточно опытные, чтобы знать, до чего мы разные; но только все вместе мы составляем отечество, не говоря уж о человечестве. Какие есть. Как сказано у Гегеля, истина — это целое, das Ganze ist das Wahre.

В одной сказке К. С. Льюиса мудрый бобр говорит: «О людях — прошу не обижаться — возможны два мнения. Но о существах, которые притворяются людьми, не будучи таковыми, двух мнений быть не может». Тот, чье сердце жгут обиды, нанесенные не только ему лично, кто с горячностью защищает свои убеждения, а не просто свой успех, — это человек. Никогда не Человек с большой буквы, который «звучит гордо», а просто человек, и о нем возможны два мнения. Это глупый человек, если в его голове — путаница; это недобрый человек — если озлобленность, хотя бы имеющая источником нечто вроде праведного гнева, возобладала в нем над иными чувствами; но это — человек.

Но чем яростней спор двух людей, тем неизбежнее в него вступит третий лишний, отнюдь, впрочем, не считающий себя лишним; тот, для кого все боевые девизы клявшегося перед ним спора — только слова, которые для него ничего не значат, но могут послужить его успеху как предмет холодного, расчетливого манипулирования. Умный знает, когда какую кнопку нажать. Для простоты условно назовем его нечеловеком — тем, о ком двух мнений быть не может.

Как бы люди ни заходились в своих спорах, им не надо было бы ни за что звать себе на помощь иелюдей. Но так называемая логика борьбы срывается снова и снова. «Зачем ты с ним водишься?» — «Молчи, ты ии чего не понимаешь; так иадо: это наш нечеловек».

Человек не только принимает нечеловека в союзники, он принимает его, так сказать, вовнутрь себя самого, сам ему уподобляется — какая-то неживая металлическая интонация, куда более страшная, чем любая ярость, механическая целеустремленность движений, знаменующая вытеснение чувств юмора, смирения и чести навязчивой идеей победы.

Когда люди перестают чувствовать себя не только разделенными, но и объединенными ситуацией спора как занятия человеческого, когда они окончательно и безнадежно разучиваются понимать друг друга, они сами, по своей воле уступают все свои позиции и в придачу к ним все свои моральные права — нелюдям. А уж те приступят к делу, что называется, без дураков, те наведут порядок — свой порядок; и ужас будет в том, что людям даже не на что будет жаловаться. Все по заслугам.

Человек, который с пеной у рта нас оспаривает, имея для этого человеческие мотивы, хотя бы, с нашей точки зрения, дурацкие, должен быть нам всегда ближе, чем нечеловек, который с нами вроде бы во всем согласен, ибо это ему ничего не стоит. Должен быть какой-то минимум солидарности, объединяющей людей просто потому, что они люди.

В споре нечего осторожничать, дипломатия ему не поможет; осторожничать мы и так слишком много. Но осторожность, ии чего общего не имеющая с осторожничаньем и простирающаяся из чувства ответственности за «целое», которое, по Гегелю, «истинное», — такая осторожность нужна всем.

...Великолепные явления русской самобытности были периодически связаны либо с усвоением византийского православия тысячу лет назад, либо с тем, что, например, Василий Андреевич Жуковский сел и перевел английские стихи, написанные на сельском кладбище, и этим переводом начал какой-то новый цикл русской поэзии, русской лирики.

Сколько русского национального самосознания и очень глубокого русского самоощущения содержат и «дрожащие огни печальных деревьев» Лермонтова, и «Удрученный ношей крестной» Тютчева, «Люблю тебя в лике рабем...» Володина. Такое видение России — это то, что уже с юмором (здоровое национальное самосознание всегда и должно думать и гово-

рять о себе с юмором) отмечал Пушкин: «От ямщика до первого поэта, мы все поем уныло». Но ведь эта унылость у ямщиков была, а у русских поэтов во времена громогласных од ее не было!

А все началось откуда? Лиричность, присущая русскому фольклору (потому что говорить о «русской душе» немножко забавно: мы слишком стыдливы, чтобы употреблять такие слова, это не тот язык; мы просто должны подумать так — и не сказать), впервые входит в русскую поэзию в той точке, когда Жуковский, один из самых европейских русских поэтов, перевел английские стихи.

Для человека, который намертво противопоставил «родное» и «вселенское», случай Жуковского — просто какой-то скандал, для него это повод либо разозлиться на историю, либо свести на нет роль Грея*, которого переводил Жуковский.

У нас есть сейчас такие исследователи древней русской самобытности, которые стараются не упоминать при изучении древнерусской лексики, что такое-то слово — это словообразовательная калька с греческого. Между тем на самом деле связь древнерусской литературы и с Византией, через нее с Грецией — это примета общезначимости древнерусской культуры, ее вселенского ранга. «Свое» и «чужое» в культуре — не тела, которые друг друга выталкивают, это живые силы, которые все время друг в друга проникают и оплодотворяют.

Для России это особенно так. Все культуры устроены по-разному. Есть культуры более закрытые, например, французская. Это связано с языком. На французский язык толком чужих, иноязычных стихов не переведешь. Французская фоника очень своеобразная, поэтому уж если иноязычные имена попадают во французский язык, француз делает с ними что-то такое, что мать родная потом не узнает. (Это отчасти и с английским языком так.)

Я однажды услышал в Париже название улицы — Авеню Эсновер. Я переспросил — кого, кого? Оказалось — Эйзенхауэра. «Психея» по-английски, как известно, будет «Сайки».

А у нас всегда было (в этом отношении нам ближе немецкая культура) стремление сохранить фонический облик иноязычного имени, слова.

Слаще пеня итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник,—

говорил Мандельштам.

Возьмем имя основателя христианской религии: итальянец скажет «Джезу», француз — «Жезю», англичанин — «Джизас», и горя мало. Древнерусский человек говорил «Исус», что уже очень близко к форме, которая есть в греческом тексте Нового Завета. Но и этого мало — пришел Никон: нет, надо еще больше выправить, раз грек произносит два гласных звука, надо и русским говорить «Иисус» (правда, это вошло в один из пунктов, по поводу которых произошел раскол).

Эта особая бережность, особое внимание к физиономии, к фоническому облику иноязычного имени, как раз одно из свойств нашей самобытности, нашей национальной психологии (хотя о национальной психологии всегда говорить опасно и всегда говорят глупости).

Может быть, я даже попробую ответить на вопрос о портрете интеллигентного человека. Очень важное его свойство — ясное различие минимума общеобразовательных требований и требований, скажем, своего круга. Нельзя требовать этого «своего» с ножом к горлу от другого. Ничего — ни почвенности, ни всемирности. Видеть и уважать другого таким, какой он есть. И требовать от другого того, что действительно обязательно; этого же требовать (во всяком случае и прежде всего) от самого себя. И от самого себя требовать множество других вещей, связанных с вопро-

сом о том, где именно стою я. По лютеровскому знаменитому выражению: «Здесь я стою, и иначе я не могу, да поможет мне Бог, аминь!»

Другой человек — иначе. Но меня это не приводит в нервную тревогу, раздражительность и неприличное возмущенное удивление. В общем, на самом деле все точки зрения высказаны, все точки зрения известны, и человек знает, что другие думают иначе, чем он. Никакого эффекта бурного удивления не должно быть. При этом — Боже избави! — это совсем не все-терпимость равнодушия, это миролюбие, которое не имеет ничего от равнодушия.

Вот тут человек бранится...

Записка: «Я бы больше не советовал Вам выступать. К лекции Вы совершенно не готовы, лекция очень скверная, увлечь аудиторию Вы не можете, вообще какой-то сумбур. Тема лекции не раскрыта, знания у Вас есть, а донести их не можете».

(Хохот).

— Не верьте ни одному слову!

— Безобразное заявление!

— Почему? Это как раз к тому, о чем лектор говорил!

(Лектор примирительно протягивает руки к наиболее бурно негодующим на автора записки.)

Записка: «Какую Вы видите связь между культурой и идеологией? Считаете ли Вы, что идеология влияет в ущерб культуре?»

— «Влияет в ущерб» — так написано, я не вноват.

Я бы говорил, быть может, не о культуре и идеологии, но о культуре и такой вещи, как утопизм. Утопизм, который является сам частью культуры, который проявляется отнюдь не только как социальный или политический утопизм, но как утопизм мировоззренческий, философский, эстетический и т. д.

Мы пережили век, исключительно насыщенный утопизмом всякого рода, и я думаю, что с этим связана возможность, что для нас станет актуальным Аристотель — тот айтичный мыслитель, который был учеником «отца утопии» — Платона. И дело не только в том, что Платон написал книги об идеальном государстве. Дело в том, как он изгоняет поэтов и разделяется с риторикой. Риторика, по Платону, просто не должно быть, потому что внушение, словесный гипноз — это дурно. Если бы мы сказали ему: но, божественный Платон, природа человека такова, что без этого дело тоже не обходится, он, очевидно, ответил бы: природе человека надо преобразовать; сначала надо подумать, какой она должна быть, затем произвести некоторую разрушительную работу, а затем заново ее отстраивать... Момент, когда появляется платоновский утопизм, — очень важный момент в истории европейской культуры.

Интересно, что наше время называет себя несколькими словами, которые устроены внутри себя как парадоксы. Например, слово «постмодернизм». Модернизм — это то, после чего ничего не должно быть, т. е. что происходит после всего, что по отношению ко всему — впереди. Но «постмодернизм», очевидно, предполагает не модернизм, который моднее того модернизма, который был прежде.

Постмодернизм, постиндустриализм, посттоталитаризм и т. д. — это все равно что говорить: после конца света, после Страшного суда и т. д. То есть слово и так означает нечто окончателное, какую-то последнюю крайность — а тут еще добавляется «пост».

Я думаю, что когда осознается разрушительность неограниченного утопизма, то люди оказываются на распутье. Одна дорога ведет просто к остыванию, к равнодушию, другая — к трезвости, которая при этом не есть равнодушие. Естественно, вторая дорога значительно труднее.

На этом месте я хотел бы всех поблагодарить и попросить отпустить мою душу на покаяние.

* Грей Томас (1716—1771) — английский поэт. Его «Элегия, написанная на сельском кладбище» — яркий пример лирики сентиментализма. В 1751 г. переведена В. А. Жуковским.



Ольга
ЕФРЕМОВА

ОЧЕРЕДЬ

Рассказ

Под дождем в одну минуту все стало мутным и серым, только Пеппи сделалась ярче, чем была... Когда промок ее белый костюм, сильнее выступили пятна, зеленые и красные,— где-то она вляпалась в краску, густые черные пряди облепили голову, словно на темя ей плеснули дегтя, а загар приобрел оранжевый оттенок.

Она стояла на перекрестке, затмевая собою светофор. По пустому проспекту, хлопая дверцами, уезжал шарабан «Доставка товаров населению», а Пеппи кричала вслед: «Я изменю тебе с первым встречным!» — потом она развернулась, сделала шаг и наткнулась на первого встречного.

— Это ты кричала? — спросил он.

Пеппи сразу поняла, что погорячилась.

— Нет, это вон та девушка, — кивнула она.

— Все вы, девушки, на один голос, — упрекнул первый встречный.

— И вы все: сразу тут как тут.

— У меня работа такая «тут как тут». — Он предъявил книжечку — член Союза журналистов СССР.

— И такой молодой, — вежливо удивилась она и хотела идти, чтоб остаться наедине со своим героем.

Он загородил дорогу.

— А вам не кажется странным, что в середине мая на пустом проспекте встретились два загорелых человека? Во всем городе сейчас таких немного. Кстати, я приезжий.

Пеппи задрала рукава сперва себе, потом ему и сравнила:

— Я сильнее загорела!

— Просто у нас загар разного цвета: у тебя он рыжий, а у меня черный...

Прошлой зимой она увидела у обочины огромный шарабан. Две белые лошади, впряженные в него, швыряли копытами снег, приглашая прокатиться. Она каталась всю зиму и всю весну, а летом лошади загорели: одна стала рыжей, а другая гнейдой. К осени они как-то быстро состарились и стали обыкновенными клячами, тощими и жилистыми. Пеппи их разлюбила, но продолжала жалеть и по-прежнему таскала в карманах сахар.

А теперь вот выяснилось, что никаких лошадок и в помине не было, все обман зрения! — а была обыкновенная машина, принадлежащая Лентрансагентству и арендованная мебельным комиссионным магазином.

— Давай знакомиться! Меня зовут Леопольд, — сказал молодой человек, козыряющий красной книжечкой, загаром и собственным именем.

— Очень приятно. А меня — Пеппи.

— Неужели?

— Ага. Потому что я очень сильная. Грузчиком работаю.

Леопольд вспомнил, как отъезжал шарабан. Оттуда несло: «Браво, Пеппи!»

А прошлой зимой возле ее подъезда, в снегу, стояла полумасштабная мебель: огромный диван, рыхлый, как сугроб, и полированное скользкое трюмо с зеркалом, уже ничего не отражающим, будто дворник ломиком отколол от асфальта красивый кусок льда и укрепил его стоймя. Два грузчика волокли скрипучий шкаф.

— Девушка, а девушка! — позвал один. — Ну-ка, помоги. Не видишь: старые люди надрываются.

Она бросила на диван свою сумочку и послушно впряглась. У грузчиков от удивления опустились руки. Они продолжали надрываться, но уже от хохота. Она в одиночку пыталась сдвинуть с места шкаф.

— Пеппи, в натуре! — хохотал старый человек, кудрявый и белозубый. — Ой, умора! Пеппи Длинный Чулок!

У обочины белые лошади рыли копытами снег.

— Не веришь? — она взглянула в его светлые глаза и, получив ответный взгляд, поняла, что никогда человек не бывает ближе, чем в первую минуту. В первую минуту, когда ты знаешь только его имя, он принадлежит тебе. А потом, по мере дальнейшего знакомства с ним и его жизнью, замечаешь: ого! Стоишь лицом к лицу с человеком, без которого уже не можешь, и видишь за его спиной длинную-длинную очередь чужих.

А этот — еще и приезжий, через день — ту-ту-у-у... Уж лучше самой выбросить то, что еще не успели вырвать из рук.

— Не упущу! — решил в это время Леопольд и, когда Пеппи сделала шаг назад, цапнул за короткую цепочку, которая болталась у нее на шее.

— Верю. Ну-ка, покажи...

Толстую серебряную цепочку поднес Митя и, зная ее привычку передаривать подарки, затянул вечным узлом, так, чтоб не сумела снять.

— Не дергай,— попросила Пеппи.— Я сегодня делала флюорографию, и там меня попросили ее убрать. И все полуголые тетки, которые стояли за мной, развязывали этот узел зубами. И ни фиги.

Знавал он такие подарки-ошейники. На него однажды тоже накинута, чуть не придушили. Девушка, с которой он встречался целый год, подарила ему свитер. Ей мама помогла связать, такой пушистый, теплый. Леопольд ушел от нее, довольный, в этом свитере и направился по своим делам. И что-то ему посреди города холодно стало. Поглядел он на себя и увидел, что свитера на нем уже нет, один воротник на шее болтается, а от него — длинная шерстяная нитка, туго натянутая.

Тут он сразу смекнул, что другой конец иитки у девушки в руках остался. Он ухаживал, и свитер распускался, а она торжествовала: дескать, пусть пока погуляет, потом начну клубочек сматывать, и Леопольд снова у меня...

Ну уж иет, подумал он тогда, оборвал нитку и привязал к водосточной трубе, а воротник снял через голову и выбросил.

А теперь и цепочку взял двумя руками, порвал ее с легкостью и отдал Пеппи.

— Подумаешь,— сказал он,— не снять!

Она нашла в себе силы улыбнуться.

— Молодец! — ответила. — Спасибо. Возьми ее себе.

— Потом почию. — Он положил цепочку в карман. — Я тебе тоже что-нибудь хорошее сделаю. Ну-ка, улыбнись еще... О! Пойдем, тебе зубы вставим!

Пеппи что-то пискнула, отскочила в сторону и бросилась наутек. Леопольд ее поймал.

— Вот дурочка! И не стыдно тебе ходить без передних зубов, да еще улыбаться? Ты думаешь, вставлять — это больно, долго? Весьма распространенное заблуждение. Я тебе покажу, как это делается.

Говоря так, он тащил ее за собой.

Сон в руку, думала Пеппи. Этой ночью ей приснилось, что взамен отсутствующих зубов, двух передних и трех коренных, у нее выросли золотые. И тут как раз пришел Митя.

— Смотри! — сказала Пеппи и широко улыбнулась.

— Вот это да! — сказал Митя. — Это в кайф! Я как раз без денег.

Он тогда тоже схватил ее за руку и потащил куда-то, а Пеппи, чувствуя, что он замышляет что-то нехорошее, упиралась, канючила и обещала, что больше так не будет. Он привел ее в ломбард. Пеппи все поняла и заплакала. Но Митя все же уговорил ее пойти в заклад вместе с зубами. Пообещал, что скоро перезаймет и выкупит.

Вырученные деньги он быстренько истратил, а других ему никто не дал. Так что Пеппи долго слушала, как Митя бушует за стенкой:

— Не имеете права! Она человек, личность, женщина! Я не могу без нее! Верните!

Долго сидела она среди всяких ценных вещей, и никто ее там не кормил. Потом Пеппи заснула, проснулась, по-прежнему беззубая, и встала не с той ноги.

— А как ты думаешь, мне золотые вставят? — спросила она Леопольда.

— Скоро узнаем,— ответил он.

Очередь к зубному была, как в ломбарде. Леопольд, в кожаном пиджаке, с двумя фотоаппаратами и красной книжечкой, вошел беспрепятственно. И Пеппи притащил. Широкими шагами подошел к врачу, пожал ему руку и представился: «Фотокор «Комсомольской правды». Потом представил Пеппи:

— Эта девушка — знатная ткачиха. Даже товарищи по цеху уважительно зовут ее: Длинный Чулок. Срочно нужна фотография, на первую полосу. И чтоб она там улыбалась. А у нее зубы — через один.

— Понял,— сказал врач.

Когда Пеппи через два часа вышла из кабинета, очередь высказала ей то, что думала про нее все это

время. В ответ Пеппи улыбнулась им так, что сверкнули все тридцать два зуба.

— Совсем другое дело,— сказал Леопольд.

— Теперь мне хочется тебя поцеловать,— сказал он.

— Лучше не надо,— попросила Пеппи. — Потому что мне теперь стыдно, что я не знатная ткачиха.

— А кто ты?

— А я просто так... Длинный Чулок.

— Тогда тебе правильно стыдно. Такая старая, что уже и зубы вставные, а просто так. Вот у меня уже полные карманы пленок, на которых — всякие хорошие люди, прославившие себя трудом. Я у вас в командировке, между прочим. А еще у меня есть много чистых пленок. А у вас еще много хороших, работающих людей. Хотя бы даже в той очереди к зубному. Но вместо того, чтобы фотографировать их, я начну снимать тебя. Стыдно, девушка.

И Пеппи представила себе пленки, длинные, как поезд. Из каждого кадра, как из окон купе, глядели люди. Они улыбались тем, кто, провожая, стоял на платформе, и сквозь стекло беззвучно говорили, что жизнь прекрасна и удивительна. А Пеппи им очень завидовала, потому что еще никогда не уезжала из Ленинграда, и теперь даже фотоаппарат казался ей похожим на игрушечный вокзал.

— Хочешь, я научу тебя фотографировать? — спросил Леопольд.

«Лучше увези меня с собой», — подумала она и сказала:

— Научи.

— Научи,— сказала она. — Я сфотографирую всех своих друзей и повешу их снимки на стенку в своей комнате. А потом я буду знакомиться с новыми людьми, и их тоже фотографировать. И лица, которые мне приятно видеть, всегда будут у меня перед глазами. Вот будет жизнь, представляешь?

Представляю, подумал Леопольд, а потом пару портретов ты обведешь в траурные рамки, еще несколько разорвешь в мелкие клочья, потому что эти друзья тебя предадут, еще с десяток просто снимешь и выбросишь, потому что эти рожи надоедят тебе до смерти, а на остальные посмотришь и поймешь: «Ну, я и бездарь! Ну, налепила... А ведь так красиво начинала».

— Представляю,— сказал Леопольд,— веселая будет жизнь! Покажи-ка мне лучше город Ленинград.

Тут-то я и опозорюсь, поняла Пеппи. Город Ленинград, в котором она родилась, выросла, который не покидала ни на минуту, Пеппи знала плохо. Жизнь родного города и его достопримечательности Пеппи наблюдала в основном из окна шарабана «Доставка товаров населению». Если что-то ее заинтересовывало, она пыталась это что-то узнать у Мити, но, как правило, без толку. Иногда она выглядывала в окошко, колотила кулаками по кабине, а когда высовывался ошалевший водитель, спрашивала:

— Как называется эта улица?

— Как-то по-другому,— отвечал тот.

— О! — сказала Пеппи. — Сейчас я тебе покажу такую достопримечательность, ты упадешь.

Такой достопримечательностью, от которой Леопольд чуть не упал, был забор.

— Это тебе не решетка Летнего сада,— пояснила Пеппи.

Забор был сколочен не из досок, а из дверей. Двери стояли плотным строем, самые разные: серые, черные, коричневые, обитые дерматином, гладкие, с дражной обшивкой, деревянные, те, на которых сохранились таблички с фамилиями жильцов, эмблемы с го-

лым малышом, которые лепят на туалет, двери с ручками и без ручек приветливые, страшные, заманчивые...

Пеппи стояла в растерянности, будто позвонила в каждую, из озорства, а убежать не успела, и теперь понятия не имела, как объясняться с хозяевами.

— Почему они закрыты?

— А, время не пришло. Это все твои двери, Леопольд. Ты откроешь каждую из них, только по очереди... А там люди живут, всякие разные,— ответила Пеппи кривляясь, но не без торжественности.

Еще вчера она стояла здесь с Митей.

— А что за забором?

— Это для кого как,— ответила она,— для тебя — скорее всего мебельная свалка.

— Понятно,— сказал Митя и написал на заборе неприличное слово.

А в этот день Мите пришлось очень плохо. Когда он с утра запустил в будильник подушкой, тот упал на пол и перестал тикать, но звонить не перестал. Нужно было идти на работу. Лежа, Митя пытался представить себе то огромное количество мебели, что придется перетаскать за всю жизнь, раз он посвятил ее этому занятию. Столы, кровати, комоды, рояли, холодильники и прочее барахло выстроились в длинную вереницу. Эта чудовищная очередь начиналась возле его подъезда, а кончалась где-то далеко за горизонтом. Взволнованные хозяева сидели на своих диванах, как на садовых скамейках, и в тысячи глоток крыли трансагентство.

Ой, подумал Митя, не хочу...

Заехали за Пеппи, посигналили ей, она выскочила, сонная, сказала: «В гробу я видела такие катания!» — и разразилась речью о том, что Митя деградировал, что с ним разговаривать не о чем, кроме как о шкафах, червонцах и корешках, таких же придурках, как он сам. Потом она заорала: «Силач Бамбула, поднял четыре стула, пятую кровать, а спичку не поднять!» Такое с ней бывало иногда. Митя ответил, что сама она деградировала, и раз не хочет, то и не надо, без нее таких же дур достаточно. Сел в машину и уехал, а она еще что-то вслед кричала.

На первом же вызове он уронил в пролет шкаф.

Зато на втором ему подарили старую стиральную машину. Когда возвращались в магазин, эта машина каталась за ним по пустому кузову, как таран. Уворачиваясь от нее, он метался, прыгал, бросался на стенки и в конце концов сломал ногу.

В травматологическом пункте просидел часа три. Сначала вспоминал те счастливые времена, когда его нога была еще здоровой, но постепенно обозлился и начал поносить последними словами всю очередь и каждого человека отдельно. Для любого, увечного, переломанного, окровавленного, нашлось у него доброе слово. Но больше всех досталось почему-то Пеппи, которая как раз в это время по нахалке входила в кабинет зубного врача.

С трудом добравшись до дому, Митя лег, вытянул загипсованную ногу и заснул. А когда проснулся, решил ограбить инкассатора. Есть один универсам на отшибе, думал Митя, там забирают дневную выручку и долго едут по шоссе. Чем всю жизнь таскать на горбу чужую мебель и ломать при этом ноги, лучше я угоню самосвал и поеду навстречу инкассаторской машине, врежусь в нее, переверну и заберу у этих, оглушенных, деньги...

Гирлянда радужных бумажек, растянутая на всю жизнь, сложилась в его воображении в одну толстую пачку. А дальше — свобода, размышлял Митя.

И вдруг заметил, что по стеклу его окна что-то потекло.

— Так,— сказал Митя,— сегодня я ее убью.

Этажом выше жила бабка Маросаниха, добрейшая женщина, слегка помешанная. Она была так стара и больна, что последнее время у нее не хватало сил даже на то, чтоб дойти до туалета. Возле своей кровати Маросаниха ставила банку, содержимое которой обычно выплескивала в окно, прямо на Митины стекла.

На этот раз Митя схватил бутылку из-под пива и на одной ноге выскочил во двор. Запустил бутылку в едва освещенное окно, послушал, как звенят стекла, и сказал:

— Чтоб ей еще и по башке попало!

После этого ему немного полегчало.

Вернувшись к себе, Митя увидел в окне звездообразную пробоину. Посреди комнаты валялась бутылка из-под пива. С нечленораздельным воплем он кинул ее в закрытую форточку и зачем-то опрокинул стол.

Сел, задумался. Вспомнил, что вроде бы забыл в травмапункте паспорт. Точно, так и есть. Потом заметил на своей левой ладони фиолетовый номер, 48. Почему 48? Кто записал? Когда? Зачем? Приплыли, сказал себе Митя. Не личность с паспортом, а тело с биркой.

Позвонил Пеппи. Истощенные протяжные гудки накрыли его с головой. Где шляется?

Под дверью кто-то скребся. Митя открыл и увидел Маросаниху, которая едва стояла, согнувшись в три погибела. Протянула ему навстречу дрожащую руку.

— Митюша,— сказала,— что с тобой случилось? Слышу: звон, опять звон, крик какой-то... Люди к тебе всякие ходят. Думаю: может, в крови уже лежишь?..

— Бабка! — Митя чуть не заплакал.— Да ты что, с дуба рухнула? Как ты доползла-то? А как я тебя назад попру, нога-то у меня сломана, сам едва хожу!

— А я-то слышу: звон, крик, звон...

— Слышишь звон, да не знаешь, где он! Давай, бабуся, пошли обратно.

Он взял Маросаниху под руку, дал ей один костыль, а на другой оперся сам, и так они полезли на третий этаж. Уже возле старухиных дверей Митя показал ей ладонь и сказал:

— Во! 48! Что бы это значило?

— А ты в очередь за мылом не стал? — спросила она.— Или за маслом подсолнечным?

— Чего? — удивился Митя.

Она поднесла к его глазам сухую ладошку, на которой вдруг выступили все номера, когда-либо там записанные. Оказалось, что старуха 284959373492104 7568288509214757201-я в какой-то длинной-длинной очереди.

Леопольд заявил, что больше не хочет гулять под дождем, и попросился к Пеппи в гости. Она поглядела с опаской:

— Нет. Я тебя не приглашаю.

— А мне говорили, что ленинградцы очень гостеприимны. Вот будь мы в Москве, я бы тебя обязательно пригласил.

— Не сомневаюсь.

Накануне налетел сильный ветер, такого давно не было в Ленинграде. Он снес крыши с беседок и наломал кучи веток с тополей. Теперь дети в скверах и дворах строили зеленые шалаши и прятались в них от дождя.

Из одиого такого шалаша Леопольд беспощадно выгнал малышей и укрылся вместе с Пеппи. Было очень тесно. Загорелая кожа горячее, подумал каждый из них.

— Ты где загорал?

— Под кварцевой лампой,— ответил Леопольд.— Меня послали в один заводской профилакторий, посиимать.

— Так здорово, слушай. Главврач меня сначала угостил кислородным коктейлем: нужно пузыри из стеклянной трубочки глотать; послал на циркулярный душ; это очень щекотно. Я по ошибке зашел в

жеиское отделение, а там тетки с полиэтиленовыми пакетами на головах прыгали. А ты где?

Пеппи не хотелось об этом вспоминать. В начале мая случайно выдалось несколько солнечных дней, и она побежала к Петропавловской крепости. Моржи, которые окунались в Неву, чуть не утонули от хохота, когда она разделась. У бедной девушки не было ни малейшей жировой прослойки. Она посннула и покрылась пупырышками, и с тех пор сидела на больничном.

— Я не загорала, — сказала Пеппи, — это мой естественный цвет кожи.

Мы еще посмотрим, нет ли у тебя двух белых полосок, подумал Леопольд со свойственной ему самоуверенностью.

По пути к дому их окружила толпа цыганок. Вернее, Пеппи сама к ним пристала, чтобы погадали. Оказалось, что линия ума у нее какая-то недоразвитая, в науке и торговле она — полный нуль, линия жизни — короткая, а линия сердца так вспорола нежную ладонь, что на нее больно смотреть.

Леопольду посулили длинную счастливую жизнь, нескрушное здоровье, кучу денег и головокружительное продвижение по службе.

Пестрые цыганки галдели, размахивая руками, прищипывая на месте, кружились, шелестели юбками, и яркие их отражения перемешивались с радужными мазутными пятнами на черном от дождя асфальте.

«Эх, жалко плеика не цветная», — подумал Леопольд.

«Что с нами будет?» — подумала Пеппи и упала в обморок.

Легкими пощечинами он привел ее в чувство и довел до дому.

— Ладно уж, приглашаю, — сказала Пеппи.

Книжки, цветы и игрушки завели вокруг них хоровод. — Скоро я умру, — сказала Пеппи и раскрыла ладонь. — Я даже знаю, почему. Стоишь в очереди и думаешь: пусть бы я лучше не жил это время, пусть оно вообще пропадет, зато я сразу получу кулек с апельсинами! Или когда ждешь трамвай под дождем... Чем мокиуть полчаса, пусть бы он сразу пришел, такой теплый, звенящий... Или когда тебе чего-нибудь очень хочется...

— Что тебе хочется?

— Чтобы ты не уезжал! Я отдала бы за это полжизни, правда, мне не жалко!

— Я уеду, чтобы твоя линия жизни выросла вдвое, Пеппи! Какая ты дура! Я думал так же, как ты. У меня была куча друзей, и их фотографии висели в моей комнате. Я не мог находиться там один, мне хотелось слышать их голоса. Я звонил по телефону, одному, другому. И когда никто не подходил, мне казалось, что все мои друзья собрались где-то в одном месте и веселятся там, без меня. Хотя на самом деле они занимались делами...

Потом в старом ящике с игрушками я случайно нашел разобранный будильник. Это я в детстве нашкодил и спрятал его. А в двадцать лет собрал и стал носить с собой. Сперва он был безобидным, как кузнечик в жестяной коробке, а потом ожесточился и ну показывать мне, что такое цейтнот.

Я работал тогда в заводской многотиражке, и меня попросили написать что-нибудь о времени и о себе. Послушай: это называется «Изготовлено из отходов».

Моя мама навела в квартире порядок, сложила в узел весь хлам и велела тащить его в «Утильсырье». Я потащил.

Из подвального приемного пункта тянулась очередь, и очередь эта мне не понравилась. Чутье подсказало, что тут стоят одни бездельники. Я сел на свой узел, достал карманный русско-английский словарь и стал учить новые слова. Но вот что беспокоило: с тряпьем был я один. Все в очереди стояли с пустыми руками.

— Простите, что вы сдаете? — обратился я к соседу.

— Время, — просипел тот.

Я не поверил своим ушам. Сосед кивнул на табличку: «Новый вид услуг. Принимается потерянное время. 1 час — 1 коп.»

— Все остальное я уже сдал. — Доверительно говорил сосед. — Сначала я сдавал бутылки, потом книги — в «Букинист», потом — вещи в комиссионку. Потом сел на мель, а тут как раз эта лавочка открылась. И приняли у меня двадцать два года, три месяца, пять дней и восемь часов. Полжизни, короче. Сперва обрадовался, ящик водки купил. Потом сдал время, которое потратил на то, чтоб его выпить. Опомнелся. Теперь хожу каждый день. Сутки плюс два часа — как раз кружка пива.

Так говорил горький пьяница, пропащий человек, и мне противно было слушать его. Мне не хватает времени, как воздуха! Простительнее транжирить деньги, чем время! А этот... Тыфу!

Я взглянул в его глаза и содрогнулся.

— Таких, как вы, нужно наказывать, — сказал я, — сажать вас надо, как за растрату!

— Я... наказан, — прошептал пьяница. — Я не помню времени, которое сдал. У меня осталось только счастливое детство в интернате. Корешки у меня были веселые, воспитательница добрая, как мама. Последнее, что помню, как с девочкой танцевал на выпускном... А дальше — зияющие дыры, черные, страшные, загляну туда, а там ветер свистит, холод космический... Хуже похмелья. Смотрю в зеркало и вспоминаю: откуда эта образина взялась?

Подошла его очередь. Пьяница зашел в кабину, опутанную проводами, обвешанную счетчиками, и вскоре выскочил оттуда, сморкаясь в кулак и вытирая слезы.

Я взвалил на весы свой узел.

— А время? — спросила девушка-приемщица.

— У меня нет неиспользованного времени, — с гордостью ответил я.

— Очень жаль, — сказала девушка, — это затасканное, грязное, позорное время идет на переплавку. Из него получается безалкогольный напиток. Он продлит вам жизнь. Если вы выпьете стакан такой воды, ваши сутки станут длиннее на целый час...

— Где, где продается этот напиток?! Скажите, умоляю вас!

Девушка сказала адрес, и я помчался туда на такси.

В очереди за напитком стояла женщина с тремя детьми, студент с двумя открытыми учебниками в руках, пара влюбленных и солидный человек в очках, подпрыгивающий от нетерпения. Я встал за ними и вскоре получил бутылочку с чистым, голубым, пейс-тым напитком. На этикетке было написано: «Живая вода. Изготовлено из отходов».

— Я чего-то не понимаю, — сказала Пеппи, — и ты чего-то не понимаешь... Мне не понравился главный герой. Мне понравился пьяница, потому что мне его жалко... И вообще... Очередь бутылок, копеек, минут, отходов... В очередях стоят люди, и ты ставишь себя на место каждого и потому не лезешь по головам.

— Я и не лезу, — обиделся Леопольд.

— Ты не лезешь. Только я подозреваю, что у тебя... Очередь кадров. Ты смотришь на человека через объектив и видишь не человека, а готовую фотографию, сиюминутную...

— Знаешь что! — разозлился Леопольд. — Я все понял. Ты, во-первых, сегодня встала не с той ноги, а во-вторых, тебе завидно, что у меня жизнь длиннее и лучше.

— Ага! — согласилась Пеппи и выплюнула на ладонь два передних зуба. — Хорошо, что ты успел меня сфотографировать.

— А поцеловать не успел! — спохватился Леопольд и наверстал упущенное.

Поцелуй напомнил ей Митю. И внезапно Пеппи накрыло горячий, соленой волной сострадания к нему. Тоненький Митя словно встал между ними, с большим и нелепым комодом на горбу. Это было более чем неуместно, но как бороться с этим явлением, Пеппи не знала. Поэтому она улыбнулась Леопольду во весь щербатый рот и сказала:

— Если сейчас войдут мои родители, они заставят тебя и мне жениться. Испугался?

— Ничуть, — мужественно ответил тот.

— Пожалуйста, — сказала Пеппи, — уходи. Я люблю тебя просто так.

— Ты же сама об этом пожалеешь, — сказал Леопольд, поцеловал ее еще раз, улыбнулся и ушел.

Пеппи пожалела.

Каждый из них спал не всю ночь, а в полдень они встретились на площади Восстания.

— Хорошая получилась командировка, — сказал Леопольд. — С тобой вот познакомился, Ленинград узнал.

Ничего ты не узнал, подумала Пеппи. Тебе нужно было остаться здесь одному. Чтобы ты дождливой ночью постоял под фонарем, листая записную книжку и думая: по этому адресу проживают деньги, по этому — обеды, по этому — беседы об искусстве. Чтоб ты вычеркнул все телефоны сухим пером, разрывая бумагу, и пошел бродить один. Тогда б ты что-то понял и узнал. И первый прохожий, спросивший дорогу, показался бы тебе родным.

— Сколько я на тебя пленки извел, — сказал он, — как ни на кого... И ничего не знаю о тебе. Пеппи, кто ты есть?

— Я еще не решила.

— Нет, ну, правда, как тебя зовут, где ты работаешь?

— Ты ужасно разочаруешься. Меня зовут Маша, — призналась Пеппи. — Работаю костюмером в одном театре. Знаешь, там столько всяких костюмов. Я их все по сто раз переглядила и перемерила...

Машенька, подумал он, тебе бы выгнать всех из костюмерной, раздеться и хорошенько подумать... Выбрать себе костюм, раз и навсегда, если там найдется для тебя подходящий. Хотя кто тебя знает, может, и не надо...

Он уезжал. Они стояли на перроне, и в прощальном объятии не чувствовалось тяжести тел, только тепло, будто две души слетелись случайно на вокзале, залепетали двумя голосами...

— Жаль, что это ты уезжаешь, а не я, — сказала Пеппи. — Я тебе ужасно завидую.

— А я тебе.

Он стоял в дверях вагона. Поезд вздрогнул. Сейчас заплачу, поняла Пеппи, помахала рукой и торопливо пошла вдоль вагона, прочь. Когда поезд тронулся, она поравнялась с последним вагоном и вдруг, будто что-то подтолкнуло ее, вскочила в последнюю дверь. И снова подумала о Мите, но поезд уже набрал скорость.

Даже не подождала, пока я поеду, подумал Леопольд и вдруг, будто что-то подтолкнуло его, соскочил с подножки и торопливо пошел вдоль перрона, а потом побежал. Он бежал все быстрее, фотоаппараты, как два моторчика, висели по бокам. Он и не знал еще, что Пеппи едет сейчас, одна во всем поезде, выглядывая из каждого окна.



Роберт
МИННУЛЛИН

Девять в
ЮНОСИИ

Дуб

Огромный величавый дуб
Стоял, как лес густой,
Один. И словно сотня труб
Гудела над землей!
И если ветер хоть слегка
Его касался плеч,
То слышались издалека
И музыка, и речь.
Но стих многоголосый звон
В один прекрасный день —
Спилили дуб. И рухнул он
На собственную тень.
Здесь жизнь шумела целый век —
Неужто вышел срок?
Терпи, природа! Человек
По-прежнему жесток.
Дуб распластался, как батыр.
И плачу я о нем —
Так плачет над звездой мир,
И птица — над гнездом.

Осенние листья

Кусты калины у бугра
Еще горят, как шуба лисья,
Но приближается пора —
Пора переселенья листьев.
Кружатся листья! То умрут
И шалью распущатся алой,
То на мгновенье оживут,
Когда подхватит ветер шалый.
Ах, птицы-листья, как же вы
Перезимуете под снегом?
Но не взвоется клин листы
На юг стремительным побегом.
В преддверье гибели своей
Тускнея, вы мороза ждете,
Но, может быть, еще больной
Вам было б умирать в полете.
И я, как вы, лечу, спеша
Под кров последнего мороза,
И поздней осенью душа
Нага, как белая береза.

☆☆☆

Тоска обильная в очах.
Осенний лес воспламенился.
Осина тлеет как очаг.
Березы-близнецы стоят —
Я им налил сегодня душу.
Все понимают, но молчат!
Бессильны поздние слова,
И, как платок, тобой забытый,
Слегка колыхнется листва...

Перевел с татарского А. ЛАВРИН



Валерий
ПОПОВ

СНЫ НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ

Рассказ

Ну и поезд! Где такой взяли? Похоже, что перед тем, как подать, его три дня валяли в грязи. Только странно, где же нашли — всюду давно уже снег. Видимо, сохранили с лета? Впрочем, над такими тонкостями размышлять некогда — толпа понесла по платформе вбок, нумерация вагонов оказалась неожиданной — от хвоста к тепловозу! Мой первый вагон оказался последним — для него платформы уже не хватило, пришлось спускаться с нее, бежать вниз, потом подтягиваться за поручни. Проводник безучастно стоял в тамбуре, зловеще небритый, в какой-то вязаной бабской кофте... Видеть его в белоснежном кителе я не рассчитывал — ио все же...

— Это спальный вагон? СВ? — оглядывая мрачный тамбур с дверцей, ведущей к отопительному котлу с путаницей ржавых трубок, неуверенно спросил я.

Проводник долго неподвижно смотрел на меня, потом угрюмо усмехнулся, ничего не ответил... Несколько странно! Я вошел в вагон... В таком вагоне хорошо ездить в тюрьму — для того, чтобы дальнейшая жизнь не казалась такой уж тяжелой. Облезлые полки, затхлый запах напомнили мне о самых тяжелых моментах моей жизни, причем не столько о бывших, сколько о будущих!

При этом хотя бы купе должны быть двухместными, раз уплачено за СВ, — но они явно четырехместные! Что ж это делается?! Я рванул к проводнику, но на полдороге застыл... Не стоит, пожалуй... Еще начнет разглядывать билет — а это, как говорится, чревато... Дело в том, что на билете написано «бесплатный». Мне его без очереди взял старичок с палочкой (очередь была огромная, а билетов не было) — и только когда он получил с меня деньги и исчез, я заметил эту надпись, встрепетул, но старичка уже не было... Видимо, ему, как знатному железнодорожнику, положен бесплатный, но я-то не знающий... так что этот вопрос лучше не углублять. Не настолько мы безупречны, чтобы качать права... поэтому с нами и делают, что хотят. Минус на минус... Пыльненький плюсик. Я попытался протереть окна, но основная грязь была с внешней стороны. Главное — было бы хоть тепло... уж больно сложный и допотопный отопительный агрегат предстал передо мною в тамбуре... Я подул на пальцы. Толстая шерстяная кофта на нашем проводнике виушала мне все большие опасения. Наверное, и не бреется он ради тепла?

Я сдвинул скрипучую дверь, вышел в тамбур. Сразу за мной, тоже решившись, вышел пассажир из соседнего купе.

— Скажите, а чай будет? — дружелюбно обратился он к проводнику.

— Нет, — не поворачивая головы на толстой шее, просил проводник. Слово это можно было напечатать на облаке пара, выходящего из рта.

— Как — нет?

— Так — нет! Можешь топить без угля?

— А что — угля нет?

— Представь себе! — усмехнулся проводник.

— На железной дороге нет угля? — воскликнул я. — Да пойти к паровозу...

— Хватился! Паровозов давно уже нет!

— А вагон этот — с тех времен? — догадался я.

Проводник, как бы впервые услышав что-то толковое, повернулся ко мне:

— С тех самых!

— Так зачем же их прицепляют?

— А у тебя другие есть? — Усмехнувшись, проводник снова устоялся в проем двери, выходящей на пустую платформу.

— Так мы же... околеем! — проговорил сосед. — Снег ведь! — Он кивнул наружу.

— Это уж ваша забота! — равнодушно сказал проводник.

— Возмутительно! — не выдержав, закричал я. — В каком вагоне у вас начальник поезда? Наверное, ие в таком?

Дверь из служебного купе вдруг с визгом отъехала, и оттуда выглянул румяный морячок в тельняшке (заяц?).

— Ну что вы, в натуре, меньшитель? — проговорил он. — Доедем как-нибудь — ведь мужики!

Пристыженные, мы с соседом разошлись по нашим застылым купе. Да, к начальнику поезда, наверное, не стоит — может всплыть вопрос с сомнительным моим билетом... Наконец, заскрипев, вагон медленно двинулся. Пятна света в купе вытягивались, исчезали, потом эти изменения стали происходить все быстрее — и вот свет оборвался, все затопила тьма.

Электричество хотя бы есть в этом купе? Тусклая лампочка под потолком осветила сиротские обшарпанные полки, облако пара, выходящее из рта.

Я посидел, обняв себя руками, покачиваясь — сидеть было невозможно, кровь стыла, началось быстрое, частое покалывание кожи, предшествовавшее, насколько я знал, замерзанию.

Нет, так терпеливо дожидаться гибели — это глупо! Я вскочил.

Не во всех же вагонах такой холод — какие-то, может, и отапливаются? Хотя бы в вагоне-ресторане должна быть печка — там ведь, и наверное, что-то готовят? Точно, я вспомнил надпись «Ресторан» — где-то как раз в середине состава! Я открыл дверь, согнувшись, перебрался через лязгающий, раскачивающийся вагонный стык... Следующий вагон был еще холоднее. Люди, закутавшись в одеяла, неподвижно сидели в темных купе (свет почему-то зажигать не хотелось, это я тоже чувствовал). Лишь струйки пара из ртов говорили о том, что они живы. В следующем вагоне все было точно так же... Что такое?! Какой нынче год?!

Я шел дальше, уже не глядя по сторонам, только автоматически — в который уже раз — открывая двери на холодный переход, — там я стоял на морозе, опасливо пригнувшись, пока не удавалось открыть следующую дверь, — я попадал в очередной вагон, такой же темный и холодный.

И вдруг на переходе из вагона в вагон я застрял. Я дергал дверь, она не поддавалась, видимо, была заперта. Железные козырьки, составляющие переход, лязгали, заходили друг под друга, резко из-под ног уходили вбок. Паника поднималась во мне снизу вверх. Я дергал и дергал дверь — она не открывалась. Я повернул голову назад — двигаться задним ходом еще страшнее. Я стал стучать. Наконец, за стеклом показалось какое-то лицо — вглядевшись во тьму, оно стало отрицательно раскачиваться. Я снова забарабанил.

— Чего тебе? — приоткрыв маленькую щель, крикнуло наконец лицо.

— Это ресторан? — прокричал я.

— Ну, ресторани. А чего тебе?

— Как чего? — Я потянул дверь. — Не понимаешь, что ли?

— Этого нельзя! — Лицо оказалось женским. — Проверка работы идет!

Она потянула дверь — я успел вставить руку — пусть отдавят!

— Какая же проверка работы без клиентов? — завопил я.

Она с интересом уставилась на меня — такой оборот мысли ей, по-видимому, еще в голову не приходил.

— Ну, заходи! — Она чуть шире приоткрыла дверь.

Я ворвался туда. Никогда еще я не проникал ни в один ресторан с таким трудом — и, главное, с риском! Да, здесь было не теплее, чем в моем вагоне, но все же теплее, чем на переходе между вагонами.

К моему удивлению, мне навстречу из-за отдельного маленького столика поднялся прилизанный на косой пробор человек в черном фраке, крахмальной манишке, бархатной бабочке.

— Добро пожаловать! — Делая плавный жест рукой, он указал на ряд пустых столиков. Недоумевая, я сел. Неужели это я минуту назад дергался между вагонами?... Достоинство, покой... — Через секунду вам принесут меню. В ресторане ведется проверка качества обслуживания — о всех ваших замечаниях, пусть самых ничтожных, немедленно сообщайте мне!

— Ну, разумеется! — в том же радушном тоне ответил я.

Метрдотель с достоинством удалился и с абсолют-

но прямой спиной уселся за своим столиком. Минут через двадцать подошел небритый официант.

— Гуляш, — проговорил он, словно бы перепутав, кто из нас должен заказывать.

— И все? — произнес я реплику, которую обычно произносит официант.

— Холодный! — уточнил он.

— А почему? — глупо спросил я.

— Плита не работает! — пожав плечом, проговорил официант.

Я посмотрел на метрдотеля. Тот по-прежнему с неподвижным, но просветленным лицом возвышался за своим столиком. В мою сторону он не смотрел.

— Ну, хорошо, — сдался я.

В ресторане было сумеречно и холодно. За темным окном не было ничего, кроме отражения.

Наконец появился официант и плюхнул передо мной тарелку. Кратером вулкана была раскидана вермишель — в самом кратере ничего не было. Я посидел некоторое время в оцепенении, потом кинулся к застывшему в улыбку метрдотелю.

— Это гуляш? — воскликнул я. — А где мясо?

Метрдотель склонил голову с безупречным пробормотом, прошел в служебное помещение — оттуда сразу донесся гвалт, в котором различались голоса официанта и метрдотеля. Потом появился метрдотель с той же улыбкой.

— Извините! — Он взял с моего столика тарелку. — Блюдо будет немедленно заменено! Официант говорит, что кто-то напал на него в темном коридорчике возле кухни и выхватил из гуляша мясо!

— Мне-то зачем это знать! — пробормотал я и снова застыл перед абсолютно темным окном. Наконец, минут через сорок, мне захотелось пошевелиться.

— Так где же официант?! — обратился я к неподвижному метрдотелю.

Он снова вежливо склонил голову с безукоризненным пробормотом и скрылся в служебке.

— Ваш официант арестован! — радостно улыбаясь, появился он.

— Как... арестован? — произнес я.

— Заслуженно! — строго, словно и я был в чем-то замешан, проговорил метрдотель. — Оказалось — он сам выхватывал мясо из гуляша и съедал!

— А, ну тогда ясно... — проговорил я. — А теперь что?

— А теперь к вам незамедлительно будет послан другой официант! — с достоинством произнес он.

— Спасибо! — поблагодарил я.

Второго официанта, принявшего заказ, я ждал более часа — может, конечно, он и честный, но где же он?

— Ваш официант арестован! — не дожидаясь вопроса, радостно сообщил метрдотель.

— Как... и этот? — Ноги у меня буквально подкосились.

— Ну разумеется! — произнес он. — Все они оказались членами одной шайки. Следовало только в этом убедиться — и нам это удалось.

— Ну замечательно, конечно... — пробормотал я. — Но как же гуляш?

Он презрительно глянул на меня: тут творятся такие дела, а я с какой-то ерундой!

— Попытаюсь узнать! — не особенно обнадеживая, холодно произнес он и скрылся в служебке.

Через час я, потеряв терпение, заглянул туда.

— Где хотя бы метрдотель? — спросил я у человека в строгом костюме с повязкой.

— Метрдотель арестован! — с усталым, но довольным вздохом произнес человек. — Он оказался главарем преступной шайки, орудовавшей здесь!

— Замечательно! — сказал я. — Но поесть мне... ничего не найдется?

— Все опечатано! — строго проговорил контролер. — Но... если хотите быть свидетелем — заходите.

— Спасибо, — поблагодарил я.

Я сидел в служебке. Приводили и куда-то уводили официантов в кандалах, потом метрдотеля... все такое же элегантно... мучительно хотелось есть, но это желание было явно неуместным!

Я побрел по вагонам обратно.

«Хоть что-то вообще... можно тут?» — с отчаянием подумал я, рванув дверь в туалет.

— Заперто! — появившись за моей спиной, как при-
видение, произнес сосед.

— Что... насовсем? — в ярости произнес я. — А...
тот? — Я кивнул в дальний конец.

— И тот.

— Но почему?

— Проводники кур там везут!

— ...В туалете?

— Ну, а где же им еще везти?

— А... зачем?

— Ну... видимо, хотели понемножку в вагон-ресто-
ран их сдавать, но там проверка, говорят. Так что —
безнадежно!

— И что же делать?

— А ничего!

— ...А откуда вы знаете, что куры?

— Слышно, — меланхолично ответил сосед.

Я посидел в отчаянии в купе... но так быстро пре-
вратился в снегурочку — надо двигаться, делать
хоть что-то! Я снова направился к купе проводника.
Когда я подошел, дверь вдруг с визгом отъехала и
оттуда вышел морячок — он был тугого, свекольного
цвета, в тельняшке уже без рукавов, с голыми мощ-
ными руками... Он лихо подмигнул мне, потом повер-
нулся к темному коридорному окну, заштрихованно-
му метелью, и плотным, напряженным голосом за-
пел:

— Прощайте, с-с-с-калестые горы, на подвиг
и-и-и-нас море зовет!

Я внимательно дослушал песню, потом все же
сдвинул дверь в купе проводника.

— Чего надо? — резко поднимая голову от стола,
спросил проводник.

В купе у них было если не так тепло, то по край-
ней мере угарно — на столике громоздились остатки
пиршества. Стены были утеплены — одеялами, одея-
лом же было забрано и окно.

— Где... начальник поезда? — слипшимися от мо-
роза губами произнес я.

— Я начальник поезда. Какие вопросы? — входя
в купе, бодро проговорил морячок.

— ...Вопросов нет.

Я вернулся в купе, залез на верхнюю полку — все-
таки перед ней было меньше холодного окна, — заку-
тался в одеяло (оно не чувствовалось) и стал замер-
зать. Какие-то роскошные южные картины поплыли
в моем сознании. Правильно говорят, что смерть от
замерзания довольно приятна... И лишь одна беспо-
койная мысль (как выяснилось потом, спасительная)
не давала мне погрузиться в блаженство...

А ведь я ушел из ресторана, не заплатив! А ведь
ел хлеб, при этом намазывал его горчицей! Как
знать, может, именно эти копейки сыграют какую-то
роль в их деле? Конечно, тут встает вопрос: надо ли
перед ворюгами быть честным, но думаю, что все-
таки надо — исключительно ради себя!

Скрипя, как снежная баба, я слез с полки и снова
по завьюженным, лязгающим переходам двинулся из
вагона в вагон.

Меня встретил в тамбуре контролер контролеров
контролеров — это можно было понять по трем по-
вязкам на его рукаве.

Я вошел в вагон. Все сидели за столами и пели.
Контролеры пели дискантами, контролеры контроле-
ров — баритонами, контролеры контролеров контро-
леров — басами, — получалось довольно складно. Тут
же, робко подпевая, сидели официанты в кандалах и
метрдетель — за неимением остановки они пока что
все были тут.

— Что вам? — быстро спросил контролер контроле-
ров контролеров, давая понять, что пауза между
строками песни короткая, желательно уложиться.

— Вот, — я выхватил десять копеек, — ел хлеб, гор-
чицу. Хочу уплатить!

— Да таким, как он, — проникновенно, видимо, пы-
таясь выслужиться, произнес метрдетель, — памятни-
ки иадо ставить при жизни! — Он посмотрел на кон-
тролеров, вероятно, предлагая тут же заняться благо-
родным этим делом.

— Ладно — я согласен, на памятник... Но только
чтобы в ресторане! — пробормотал я и пошел об-
ратно.

Тут я заметил, что поезд тормозит, — вагоны задро-
жали, стали стукаться друг о друга, переходить ста-
ло еще сложнее...

В нашем тамбуре я встретил проводника — в ка-
кой-то грязной рванине, с мешком на спине, он
спрыгнул со ступенек и скрылся — наверное, отпра-
вился в поисках корма для кур...

Это уже не задевало меня... свой долг перед чело-
вечеством я выполнил... можно ложиться в мой сар-
кофаг. Я залез туда и сжался клубком. Поезд стоял
очень долго. Было тихо. Освободившееся сознание
мое улетало все дальше. Ну, действительно, чего это
я пытаюсь навести порядок на железной дороге, с ко-
торой и соприкасаюсь-то раз в год, когда в собствен-
ной моей жизни царит полный хаос, когда в собствен-
ном доме я не могу навести даже тени порядка! Три
года назад понял я вдруг, что за стеной моей — ог-
ромное густое помещение, смело стал добиваться
разрешения освоить это пространство, сделать там
гостиную, кабинет... потом прикинул, во что мне
это обойдется, — стал добиваться запрещения... Лю-
бой, наблюдающий меня, вправе воскликнуть: «Что
за идиот!» Написал массу заявлений: «В просьбе
моей прошу отказать!», настроил кучу анонимок на
себя... как бы теперь не отобрали, что есть!..

Я погружался в сон... вдруг увидел себя в каком-
то дворе... меня окружали какие-то темные фигуры...
они подходили все ближе... сейчас ударят! «Зря ста-
раются, — мелькнула ликующая мысль, — не знают,
дураки, что это всего лишь сон!» Двор исчез.

Я оказался в вагоне-ресторане, он был почему-то
весь в цветах, за окнами проплывал знойный юг. По-
явился мой друг метрдетель в ослепительно белом
фраке.

— Кушать... не подано! — торжественно провозгла-
сил он.

Через минуту он вышел в оранжевом фраке.

— Кушать... опять не подано! — возгласил он.

— Может быть, можно чего-нибудь? — попросил я.

— Два кофе по-вахтерски! — распахивая дверь в
сверкающую кухню, скомандовал он.

Я вдруг почувствовал, что лечу в полном блажен-
стве, вытянувшись на полке в полный рост, откинув
ногами тяжелое одеяло... Тепло? Тепло!

Значит, проводник, когда я его встретил на оста-
новке, ходил не за кормом для кур, а за углем?
Замечательно! Тогда лучше так и не просыпаться —
сейчас должны начаться прекрасные сны!

В следующем сне я оказался в красивом магазине
игрушек в виде лягушонка, которого все сильнее на-
дували через трубочку.

...Все неумолимо ясно! Надо вставать!

Проводник сидел в тамбуре на перевернутом ведре,
блаженно щурясь на оранжевый огонь в топке.

— Ну, как? — увидев меня, повернулся он (после
взгляда на пламя он вряд ли различал меня).

— Замечательно! — воскликнул я. — А раз уж
так... в туалет заодно нельзя сходить?

— Ладно уж! — Он подобрел в тепле. — Только кур
не обижай! — Он протянул мне ключ.

— Зачем же мне их обижать? — искренне восклик-
нул я.

Я ворвался в туалет. Куры, всполошившись снача-
ла, потом успокоились, расселись, своими бусинками
на склоненных головках разглядывая меня. Кем, ин-
тересно, я кажусь этим представителям иной,
в сущности, цивилизации? Достойно ли я представ-
ляю человечество? Не оскорбит ли их жест, который
я собираюсь тут сделать?... Нет, не оскорбил.

Абсолютно уже счастливый, я забрался к себе на
полку, распрямился... Какой же последует сон?...
Солнце поднималось над морем... я летел на курице,
приближаясь к нему. Вблизи оно казалось огромной
печкой. Рядом сидел проводник.

— Плохо топить — значит не уважать свою Галак-
тику! — строго проговорил он, орудуя кочергой.

г. Ленинград

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
(ГОССТРАХ)**

СТРАХОВАНИЕ — лучший способ экономии

Страхование жизни дает застрахованному:
а) сбережение на старость и б) обеспечение
семьи на случай его преждевременной смерти.

ПОСЛЕ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО — страховая сумма выплачивается ПЕМЕДЛЕННО.

Адрес правления Росгосстраха: Москва, Ильинка, 14.

*Перья карандаши
фирмы Гаммер
Хороши*

**АМЕРИКАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНЦЕССИЯ
Я. ГАММЕР МОСКВА СОФИЙКА 6.**

Высылаются
по каталогу
на заказ
любые
календарные
изделия

фабрик Концессии (на
22 страницах), а также
новый (апрельский)
ПРЕЙС-КУРАНТ № 8.

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**

Словарь литературных терминов
составил при участии И. Д.
Бродского, В. Я. Брюсова,
В. В. Вересаева, Л. Вольского,
П. С. Когана, М. Фри-
че и других.

В двух сериях. Первая серия
состоит из 600 страниц, вторая
серия — из 400 страниц. Цена
за обе серии — 10 руб. 50 коп.
при заказе в один раз. (Платеж
по частям запрещен)

**НИКИТИН И МАГАЗИН
"КНИГОСОЮЗ".
МОСКВА Центр,
Мясная ул. № 24б**

ПОЧЕРК

Самый лучший метод обучения
и улучшения почерка.
Из книги Исидорасова по-
черка, — 60 страниц, 48 рис. (Цена
1 руб. 50 коп.). **ПОЧЕРКОВЫЙ ТЕТРА-
ДНИ**, — 60 страниц, 48 рис. (Цена
1 руб. 50 коп.). При покупке
тетради в подарок — 60 страниц
попытки почерка.

**НИКИТИН И МАГАЗИН
"КНИГОСОЮЗ".
МОСКВА Центр,
Мясная ул. № 24б**

**ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
иметь верный
ЗАРЯД**

**ИСПЫТАННЫЕ СРЕД-
СТВА ЛАБОРАТОРИИ**

Кооперативного Т. 1

МОСКВА, Б. М.

После десятилетия
ДЕПИЛЯТОРИИ W
Замедляет рост волос
3 р. 50 коп. **Роскошный**
3 р. 50 коп. **Голливуд**
3 р. 50 коп. **Ворон**
(пудра) 45 коп.

Нисколько, только в 1933 г. по-
лучил награду. Почти по 1000
коп. в 1933 г. М. А. Г. А. Г.

**ИСПЫТАННЫЕ СРЕД-
СТВА ЛАБОРАТОРИИ**

Кооперативного Т. 1

МОСКВА, Б. М.

После десятилетия
ДЕПИЛЯТОРИИ W
Замедляет рост волос
3 р. 50 коп. **Роскошный**
3 р. 50 коп. **Голливуд**
3 р. 50 коп. **Ворон**
(пудра) 45 коп.

Нисколько, только в 1933 г. по-
лучил награду. Почти по 1000
коп. в 1933 г. М. А. Г. А. Г.



В ТРИ ДНЯ
Москва 64.
ГОСИЗДАТ "КНИГА ПОЧТОЙ"
ВЫСЛАЕТ ЛЮБУЮ КНИГУ
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
ПРИ ВЫСЛАКЕ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА
И ПЕРЕД — ПЕРЕСЫЛКА БЕСПЛАТНО.

**СЕКАРОВСКАЯ
ЖИКОСТЬ**

ВЫПУСК "СЕРИЯ"

**ПРЕСКОМУЕТ
ФИНЦИОДЕТОР
БЕСПЛАТНО**

**ЛАБОРАТОРИИ
МОСКВА**

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

**Оригинальное
искусство**

ЭЛМ

ЭЛМ

**ОБЩЕДОСТУПНАЯ
СТОЛОВАЯ**

МОСКОВ. ВЕГЕТАРИАН. 0-8А

Сущ. с 1909 г.

Улице Огарева (б. Гаскель)
4 12 Тел. № 3-16-70 и 3-62-36

БУДНИ от 12 — 7 часов
ПРАЗДНИКИ от 12 — 6 часов

Обеды из 2 блюд от 30 к. и до 1 р.

Цель М. В. О. — предоставить
любимое домашнее и доброе
качество вегетарианское
питание. Совет 0-8А.

ПОКУПАЙТЕ БЕЗ РИСКА

ТРЕБУЙТЕ

ПРЕЙС-КУРАНТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

МОСКВА

ТРЕБУЙТЕ

ПРЕЙС-КУРАНТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

МОСКВА

**КРЫСЫНЫ И
МЫШЬНЫ**

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ЭЛМ

ЭЛМ

ЭЛМ

ЭЛМ

ЭЛМ

**ШКОЛА
ОРАТОРА**

В. М. СЕРЕННИКОВ

ОРАТОР

ШКОЛА

ОРАТОР

ШКОЛА

ЛЮБУЮ КНИГУ

МОСКВА

ЛЮБУЮ КНИГУ

МОСКВА

ЛЮБУЮ КНИГУ

МОСКВА

Новость!

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

ТАНАИС

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

КРЕМ-МАКЕДОН

ЖЕМЧУГ

Фельетоны и отрывки из двух очерков Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940), которые предлагаются вниманию читателя, малоизвестны. Первый из них был напечатан в газете железнодорожников «Гудок» (18 июня 1924 года), где писатель активно сотрудничал в 1922—1926 годах вместе с В. Катаевым, И. Ильфом, Е. Петровым, Ю. Олешей, опубликовав около 120 рассказов, фельетонов, репортажей. Три главки из большого очерка «Столица в блокноте» увидели свет в берлинской газете «Накануне» (21 декабря 1922 года и 20 января 1923 года), газете, обращенной к русскому зарубежному читателю и патриотически провозглашавшей «необходимость сближения с новой Россией как полноправной наследницей России прежней». Настроенная решительно просоветски, она способствовала возвращению русской эмиграции на родину. В «Накануне» и ее «Литературном приложении», которое редактировал А. Н. Толстой, печатались также Вс. Иванов, К. Федин, В. Катаев, Ю. Слезкин, О. Мандельштам, С. Есенин и другие известные литераторы. Как корреспондент этой газеты Булгаков побывал после нескольких лет разлуки в своем родном Киеве, результатом чего явился очерк «Киев-город» («Накануне» за 6 июля 1923 года), из которого публикуются две главы. Этот очерк (одно из первых существенных звеньев в подготовительной работе писателя над романом «Белая гвардия») интересен и как своеобразный исторический документ, где запечатлен Киев, переживавший в середине 1920-х годов «великую усталость после страшных, грозящих лет». Нынешний год по праву может быть назван годом «взрыва» публикаций произведений как самого Булгакова, так и о Булгакове, годом «булгаковского бенефиса», «булгаковского ренессанса».

Действительно, впервые и вновь пришли к массовому советскому читателю повести «Собачье сердце», «Дьяволиада», «Луч жизни» («Роковые яйца»), «Тайному другу», пьесы «Адам и Ева» и «Багровый остров», письма, киносценарии, циклы рассказов и фельетонов, сборники произведений и отдельные издания романа «Мастер и Маргарита», выходившие во многих городах страны: Москве и Кишиневе, Минске и Риге, Махачкале и Горьком, Душанбе и Владивостоке. Впереди пятитомное собрание его сочинений, трехтомное «Театральное наследие», ряд одно- и двухтомных сборников произведений. О писателе и драматурге появилась прекрасная книга А. М. Смелянского, опубликована М. О. Чудаковой первая часть его фундаментальной биографии, напечатаны статьи о различных аспектах его творчества. Перечисленное может впечатлять, но все же читательский голод на Булгакова вряд ли будет удовлетворен в ближайшее время. Какой же выход? Только один: издавать.

И больше, и чаще, публикуя не только его ставшие уже хрестоматийными произведения, а и «малую прозу», «малые сатиры» — очерки, рассказы, фельетоны. Ведь они и сегодня, на наш взгляд, интересны и бывают достаточно злободневны и как еще одна сторона творчества М. А. Булгакова (газетчика, фельетониста, рассказчика), и как характерные благодаря таланту автора картинки жизни нашей страны начала двадцатых годов.

Михаил
БУЛГАКОВ

ОХОТНИКИ ЗА ЧЕРЕПАМИ

Начохраны ст. Москва М-Б Белорусской дороги гр. Линко издал приказ по охране, которым предписывает каждому охраннику обязательно запротоколировать четырех злоумышленников. В случае отсутствия таковых нарушители приказа увольняются.

— Ну, мои верные сподвижники, — сказал начальник транспортной охраны ст. Москва-Белорусская, прозванный за свою храбрость Антип-Скорохват, — докладывайте, что у нас произошло в истекшую ночь?

Верные сподвижники побренчали заржавленным оружием и конфузливо скисли. Выступил вперед знаменитый храбрец — помощник Скорохвата:

— Так что ничего не произошло...

— Как? — загремел Антип. — Опять ничего? Пятая ночь и ничего! Почему нет злоумышленников?

— Сказывают, сознательность одолела, — извиняющимся тоном доложил помощник.

— Так-с, — заныл зловеще Антип, — одолела! Вагоны с мануфактурой целы? Никакой дьявол не упер вновь отремонтированного паровоза серии Ща? И никто не покушался на кошелек и жизнь начальника славной станции Москва-Белорусская? Да что же это же? Я, что ли, за них, чертей, воровать буду сам?!

Сподвижники тоскливо молчали.

— Это, братцы, так нельзя, — продолжал ныть Антип. — Ведь это, выходит, что вы даром бремените землю. Какого черта вы лопааете белорусско-балтийский хлеб? Кончится все это тем, что вас всех попрут в шею со службы, а вместе с вами и меня. Огромная такая станция и никаких происшествий! А ежели начальство спросит: сколько, Антип, ты поймал злоумышленников за истекший месяц? Что я ему покажу? Шиш? Вы думаете, меня за шиш по головке погладят?

— Нету их, — тоскливо запел помощник, — откуда же их взять? Не родишь их!

— Роди! — взвыл Антип. — Попирая законы природы! Гляди! Посматривай! Идет человек по путям: ты сейчас к нему. Какие у тебя мысли в голове? Ты не смотри, что у него постылая рожа и глаза, как у педагога. Может, он только и мечтает, как бы пломбу с вагона скосырнуть. Одним словом, вот что: в советском государстве каждая козявка выполняет норму, и чтоб вы выполняли! Чтоб каждый мие по четыре злоумышленника в месяц представил. Как это может быть, я вас спрашиваю, без происшествий?

— А ведь было происшествие ночью-то, — захрипел один из транспортных воинов, — мастера Щукина песчун штаны не порвал Хлобугу, когда мы под вагонами лазили.

Оформление О. Кокина

БОГ РЕМОНТ

— Вот! — вскричал предводитель. — Вот! А говорит — иету! А дикие звери на белорусской территории, вверенной нам, это не происшествие? Поймать и убить! Убить на месте.

— Кого — мастера или пса?

— Мозгами думайте! Пса. И мастера ущемить: покажи мандат на предмет засорения станции хищными зверями. Одним словом — марш!

У мастера Щукина была счастливая звезда в жизни, и поэтому пуля проскочила у него между коленями.

— Что вы взбесились, окаянные?! — закричал ошавевший Щукин. — Чего же вы божью собачку обстреливаете?

— Бей его! Заходи! Штыком его! Убег, проклятый! А ты, борода, покажи мандат, какой ты есть человек.

— А, ты знаешь, Хлобуев, — засипел зеленея Щукин, — допьешься ты до чертей. Ты погляди мне в лицо...

— Нечего мне твоё лицо глядеть. Достаточно мне твоё лицо известно. Показывай удостоверение.

— Отлезь от меня, фиолетовый черт.

— А-а. Отлезь? Ладно. Бикин, бери его. Пущай покажет основание, по которому находится на путях.

— Кара-ул!

— Поори, поори...

— Кара!..

— Покричи мне...

— Кр... кр...

— Покаркай.

Вторым засыпался член коллегии защитников Ламца-Дрицер, вернувшийся в дачном поезде из подмосковной станции «Гнилые корешки» и избавший кратчайший путь через линию.

— Это вопиющее нарушение! — закричал заступник, конвоируемый Антиповым воинством, — я подаю заявление в Малый Совнарком, а если не поможет, то в большой!

— Хучь в громадный, — пытели хребцы, — Совнарком разбойникам не потатчик.

— Я разбойник?! — вспыхивал и угасал Дрицер, как свеча.

— Ладно, бывают алистократы с портфелями карманы вырезают...

...Третьей — теща начальника станции с лукошком.

— Отцы родные! Сыночки! Куда ж вы меня тащите?!

...И четвертой — целая артель временных рабочих полностью. С лопатами, с кирками и твердыми краями черного хлеба. Артельный староста, похожий на патриарха, стоял на коленях, ослепленный блеском оружия Антиповой гвардии, и бормотал:

— Берите, братцы, все. Лопаты и рубашки. Скидайте штаны, только отпустите христианские душевники на покаяние.

Неизвестно, чем бы кончились Антиповы подвиги, если бы всевидящее начальство не прислало ему телеграмму:

«Антипу.

Антип! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но ежели их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай! Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип!

Любящее тебя начальство».

Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь.

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах, да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургуzych куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим — спецом — выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стей бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то Он меня и мазнул.

Спец жадио вдохнул запах краски и гордо сказал:

— Не угодно ли. Погодите, еще годик — не узнаете Москвы. Теперь «мы» (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой «большевистского террора». Именно: его посадили в Бутырки.

За что, совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

— Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) — подлец! Говорит, двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки, действительно, нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что сколько бы спецов ни сажали, их остается все же неимоверное количество (точная моя статистика: в Москве — 1.000.000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный — штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь Он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой, было бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Целиые стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами «Трикотаж».

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие окна в нижних этажах вдруг застекляются. День... два, и за стеклами загораются лампы и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

— Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи — хорошо, а голова — это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы

начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок: за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по моему, воля ваша, вижу — Ренессанс.

Московская эпиталама:

— Пою тебе, о бог Ремонта!

II

ГНИЛАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну, вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор, — с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждениях сказали: «сокращение штатов».

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

— Значит, погиб, — спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. «борьба за существование»).

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой» рассыпной.

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель — 6 студентов 5-го курса и я...

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные дачальцы есть.

— Сколько ж ты зарабатываешь?

— Да вот за предыдущую неделю 275 лимончиков.

Я мгновенно сделал перемножение: $275 \cdot 4 = 1$ миллиард сто! В месяц.

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната?

Он хихикнул.

— И комната есть... Оригинально так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: — А вы, позвольте узнать, кто, на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное. Я, говоря, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось!.. Чаем напоила, расспрашивала. А где вы, говорит, живете? А я, говоря, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился.

— Это что ж, артистка условие такое поставила?

— Зачем артистка... Хозяева. Одному, говоря, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься.

— Я верю, — продолжал я, впадая в лирический тон, — она не пропадет! Выживет!

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы «Ирой» рассыпной:

— Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

III

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ МАЛЬЧИК

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахаринovým ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

— Посольские! Ява!! Мурсал!!! Газетатачкапрока-тываетсях!!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы... Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных ломотях и, бегая по сытым лицам спекулянтов, фальшиво не гнусил:

— Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степени покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызганного задачника.

Мальчик шел в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

КИЕВ-ГОРОД

ЭКСКУРС В ОБЛАСТЬ ИСТОРИИ

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черносиние густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты. Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно, и грозно наступила история. Я совершенно точно могу

указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

— Депутат Бубликов.

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэлловская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и клочкотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в округности на 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917—1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

— Вата!

Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными, туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:

— Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по-писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делал визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И по сей час из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева — торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение...

<.....>

ТРИ ЦЕРКВИ

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви — это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку:

— Живые попы.

Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной организации — попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живости, но, наоборот, медлительны, растеряны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая — старую и автокефальную. автокефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса — дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины, служат старые по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафематствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные, — я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — виноват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквях, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

— Прочти, — сказала она, — и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 г. не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осралив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были — старые, живые или же автокефальные же.

<.....>

Предисловие и публикация Б. МЯГКОВА



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

*Наш корреспондент беседует
с Анатолием Рыбаковым*

Фото М. Пазия

Роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» прочли если не все, то многие. В настоящее время писатель продолжает работу над новым романом «Тридцатый пятый год и другие»... Вопросов к Анатолию Рыбакову у журналистов много. А свободного времени мало. Но неожиданно наш телефонный разговор (мы попросили ответить на вопросы анкеты «Юности») закончился согласием на встречу.

Я приехала в подмосковный поселок Переделкино, где живет писатель, несколько раньше назначенного срока, но Анатолий Наумович уже во дворе дома прощался с канадскими журналистами, объясняя, что ждет корреспондента «Юности». С этого и начался наш разговор:

— В последнее время я много выступал в прессе, но «Юности» отказать не могу, все же свои ранние вещи печатал в вашем журнале.

— Да, — и я начала вспоминать «Бронзовую птицу», «Каникулы Кроша», «Приключения Кроша», «Неизвестного солдата», «Выстрел».

— Но дебют мой, как ни странно, состоялся не в журнале, а в издательстве, и первой книгой был «Кортик».

— Вот это как раз интересно нашим читателям, как вы начинали? Как открыли в себе писателя?

— Я очень любил литературу, мое поколение воспитывалось на книгах, а не на телевидении и всяких других развлекательных средствах. Годам к семнадцати я прочел буквально всю классику.

Но самому писать казалось неприличным, когда есть Пушкин, Толстой. Мои сверстники что-то сочиняли, ходили в литкружок, я к этому относился весьма скептически. Так мне по крайней мере казалось. А когда после войны вернулся из армии, мама достала тетрадку, сказала: «Смотри», и оказалось, что сам для себя я все же кое-что пописывал.

— Многие спорят, насколько ваш роман автобиографичен. Совпадает ли жизнь главного героя Саши Панкратова с опытом вашей юности?

— Частично моя жизнь и жизнь Саши Панкратова совпадают.

Как и Саша, я был студентом Института инженеров железнодорожного транспорта, в 22 года оказался в ссылке в Сибири, потом вынужден был скитаться по стране, работал шофером, механиком, инженером. С первых дней войны был на фронте.

— Так что ваша жизнь складывалась не совсем благоприятно для того, чтобы писать?

— Да, это можно заметить и из романа. Вернулся я в дом на Арбате, 51, где прошло мое детство, только через 13 лет. Уже никого не встретил из своих сверстников. Многие погибли в войну, многие — до войны.

Но воспоминания детства нахлынули с такой остротой, что я решил: «Дай-ка попробую писать. Мне 35 лет, — или сейчас начну, или уже никогда. Если пойду работать куда-нибудь в гараж — тогда ничего уже не сделаю».

Я сел в машину, уехал в деревню и сказал: «Никуда отсюда не двинусь, пока не напишу». Вот так и написал «Кортик».

— По жанру «Кортик» — детская приключенческая повесть, но ее с не меньшим интересом читают и взрослые. Наверное, разгадка этому в захватывающем сюжете. Как вам удалось так сразу овладеть им?

— У писателя два слагаемых творчества — память и вымысел.

Память отбирает наиболее интересные факты жизни, а вымысел — это умение писателя расставить факты не так, как они были в жизни, а так, как требуется для того, чтобы создать художественное полотно, чтобы был сюжет, чтобы развивались характеры, события.

Сюжет «Кортика» я стал строить совершенно немело, отталкиваясь от своих воспоминаний. Когда-то мне матрос Крылов (я назвал его Полевым) подарил кортик, может быть, и не подарил, а так в детских мечтах казалось. Я стал придумывать, что с этим кортиком делать, разумеется, его надо спрятать и т. д. Параллельно там шли еще две линии — пионерская и комсомольская, поскольку я был в одном из самых первых пионерских отрядов Москвы. На «Кортике» я научился строить сюжет.

И вот в сорок седьмом году, написав эту повесть, я выехал из своего заточения.

— *Ваша первая книга вышла в 1948 году в Детгизе. Неужели всего один год понадобился на прочтение, рецензирование, утверждение?..*

— Тогда по-другому относились к рукописям, все это быстрее делалось. Потом, может, чем-то я и действовал на издателей, пришел, знаете, в потертой шинели, фронтовик... Там, правда, все было уставлено папками, я даже подивился — мемуары полковников, подполковников, тогда все писали...

— *Но в те годы в основном писали о минувших боях, о подвигах. Тем более поразительно, что вы, прошедший войну, как говорится, от звонка до звонка, свою первую вещь посвятили довоенному детству, 20-м годам, становлению молодой Республики Советов. Разве у вас не было желания осмыслить свой фронтовой опыт?*

— Есть военное поколение писателей, это те люди, которые пришли на фронт 18—19-летними, и для них война была самым большим жизненным потрясением. Поэтому они и стали писать об этом. С большим трудом переходили к другой тематике, а некоторые так и остались до сих пор военными писателями. Иные взялись за мирные темы, не всех постигли удача, хотя они так не думают, а как военные писатели они начинали хорошо.

Для меня же война была не первым драматическим событием жизни. До этого хватало всяких драм. Я писал о том, что в моей памяти отложилось лучше всего, — мое детство. Это была самая лучшая пора, когда я был свободен, жил в Москве... То есть все то, что согревало меня в течение довольно трудных лет. Да и многие писатели начинают с детства: Л. Толстой, М. Горький, Ал. Толстой... Писатели всегда возвращаются к своему детству. Кто-то раньше, кто-то позже. Я с этого начал.

— *Да, но, кроме детства, наверное, были и другие сильные факторы, повлиявшие на вас? Вы ведь формировались как писатель в послевоенные годы?*

— Война, победа породили большие надежды. Война перевернула всю нашу жизнь, как это ни парадоксально, но именно в войну открылись самые лучшие человеческие качества, какие есть в народе. 30-е годы, репрессии, аресты во многом дегуманизировали людей и общество. А тут, перед лицом смертельной опасности, люди стали доверять друг другу. Появилось братство, единение. Поэтому конец войны, победа — это все связывалось с большими надеждами на будущее, на лучшее. И мне казалось, что перед лицом того, что пережил народ, уже не может повториться то, что было. К сожалению, начало повторяться в конце 40-х — начале 50-х годов. И это нам тоже еще предстоит осмыслить.

— *Хочу вспомнить слова Саши Панкратова: «Я верю в партию...» Эта вера ощущается во всех ваших книгах. Интересно, а раньше, хотя бы подсудно, вы думали об «арбатской теме»? Наряду со «взрослыми книгами» — «Водители», «Лето в Сосняках», параллельно на протяжении 30 лет шла юношеская тема. Вслед за «Бронзовой птицей», трилогией о Кроше, куда вошла и первая ваша военная проза — «Неизвестный солдат», в «Юности» в 1975 году появилась повесть «Выстрел» — действие вновь и вновь возвращалось в восьмизатяжный дом на Арбате. Юность и становление ребят — одновременно молодость революции, становление Страны Советов. Сначала — они пионеры, потом комсомольцы, затем герои уже дейст-*

вуют в 60-е годы, и хотя у них другие имена, они все те же мальчишки, ищущие, ошибающиеся, утверждающие на земле добро и справедливость.

Сложился как бы целый арбатский цикл, и только одно звено — 30-е годы — было пропущено в художественно-цельном замысле. Желание восстановить этот пробел появилось позже?

— Нет. Я и начиная знал, что когда-то напишу роман «Дети Арбата». Ну, может быть, он по-другому назывался бы.

«Дети Арбата» были в первый раз анонсированы знаете когда? В 1966 году, в «Новом мире». Тогда была написана только первая часть.

— *Твардовский читал наверное?*

— Читали Твардовский, Лакшин, Кондратович. Твардовский, когда прочел первую книгу, сказал: «Пишите! Для того чтобы товар появился в магазине, он должен сначала быть на складе. Если он есть на складе, он обязательно появится в магазине...» Твардовскому роман очень понравился, но он ничего не мог сделать. Не разрешали. В ответ я написал вторую часть. В 1978 году она была объявлена в журнале «Октябрь».

— *И как раз в 1978 году появился ваш роман «Тяжелый песок» на тему, тоже долгие годы закрытую и замалчиваемую, о судьбе евреев в предвоенные и военные годы, о страшной трагедии гетто...*

— Вы не думайте, что «Тяжелый песок» так уж легко прошел. Нет, все было то же самое. Я долго носил роман по редакциям. Был он и в «Новом мире», и в «Дружбе народов». Никто не печатал. Только Ананьев смог его «вытянуть». И конечно, когда «Тяжелый песок» вышел, я думал: «Ну все, и «Детей Арбата» сумею «пробить». Опять не удалось. Тогда я написал третью часть.

— *То есть получается, что неудачи способствовали вашей работе?*

— Я по характеру человек, который идет до конца, когда ставит перед собой цель. В данном случае я должен был написать.

— *И все-таки, что вас обнадеживало, что позволяло писать дальше? Сейчас даже молодые, начинающие требуют гарантий. Прежде всего их интересует, нужен ли редакции материал на такую-то тему, будет ли он опубликован?!*

— Если человек руководствуется желанием публиковаться, из него никогда не получится писатель. Я написал «Кортик» и не знал, будет он опубликован или нет. Никакого договора не было и никакого аванса. Была только потребность эту книгу написать. Если бы она не была опубликована, я написал бы следующую. И так же с романом. Первую часть не опубликовали из-за того, что там было немного о Сталине, тогда во вторую часть я его гораздо больше ввел, а в третьей он уже занял полромана.

— *Знаю, что многим читателям хотелось бы узнать, на каких материалах строилось повествование «Детей Арбата», пользовались ли вы неизвестными архивными документами или у вас сохранились дневниковые записи?*

— Записей у меня не было. Изучал, восстанавливал события по газетам, журналам, просто по книгам, которые существовали, и по рассказам громадного количества людей, переживших все это.

— *Вопрос о достоверности выведенных в романе лиц и характеров стал предметом острых дискуссий в последние месяцы на страницах нашей периодики. Был ли Киров в Сочи, принимал ли участие в составлении учебника по истории партии, действительно ли Орджоникидзе виделся с Кировым накануне его гибели?*

— Я все сказал в романе. У меня все доказано документально, хотя писатель и имеет право на вымысел.

Когда вышел роман «Война и мир», то в шестиде-

яти исследованиях доказывалось, что Толстой много написал неправильно, что Кутузов не спал в Филях, не делал того, не говорил сего. А где доказательство, что Наполеон, проезжая по Аустерлицкому полю, увидел Андрея Болконского и сказал: «Какая прекрасная смерть»? Кто это видел, кто это слышал? Ничего этого не было.

Писатель имеет право на такие домыслы, но тем не менее я строго придерживался фактов. Я ведь понимал, о чем пишу, и как это будет читаться.

— Анатолий Наумович, за эти годы вы написали много крупных вещей, в том числе и кинолентах к художественным и телевизионным фильмам, не говоря уже о такой большой работе, как «Тяжелый песок». Как вам удавалось все это совмещать?

— Я, конечно, много работал. Жить-то надо. Но «Детей Арбата» не забывал. Я писал его все время, писал на всю «железку», не оглядываясь... Когда меня спрашивали за границей: «Почему вы не отдали роман на Запад?», я говорил: «Нет, этот роман нужен моему народу, нужен моей стране».

Писатель может состояться только тогда, когда не думает, не печатают его или нет. Вот я все-таки написал роман. А если бы думал, взвешивал, то что бы сейчас? На складе-то ничего бы не было.

В 1982 году все три части романа были готовы, и я сел писать следующий роман — о тридцатых годах, о войне... Вот закончу, а уж потом новую вещь, подростковую, отдам к вам, в «Юность».

— С нетерпением мы и наши читатели будем ждать, а пока хотелось бы узнать подробнее, как идет работа над новым романом.

— Трудно, очень трудно, очень тяжелые годы...

— Сейчас вы получаете огромную почту, некоторые письма были опубликованы. Помогают ли они вам в дальнейшей работе? Тендряков когда-то заметил, что тот читатель, от которого писатель жаждет получить письмо, обычно писем в редакцию не пишет. С вами этого не произошло, сработала как раз обратная связь, о которой многие писатели только мечтают: роман оказался сенсационным...

— Я понимал, что роман будет сенсационным, но что в такой мере, не ожидал. Сейчас его во всех странах переводят. Я знал, что будут письма «сталинистов», они есть, но очень незначительное число, процентов 10, письма от детей репрессированных, потрясающие письма от тех, чьи отцы вершили когда-то судьбы государства. Но чего я никак не ожидал, это писем от молодежи, от 17 до 32 лет. Думающих, ищущих правду. Половина писем от них. Великолепных. Один молодой человек пишет: «Я жил бездуховной жизнью, а сейчас я человек. Я думаю, я знаю. Прочитал ваш роман и многое понял. Вы со мной разговаривали как с человеком, с народом надо говорить как с людьми!»

— Эти письма, наверное, говорят о том, что ваш роман многое сделал и еще сделает в привлечении молодежи к перестройке, в воспитании в каждом личности, чувства собственного достоинства. Сколько поколений несли на себе груз прежних лет! С каким трудом даже мои сверстники, родившиеся в конце 50-х — начале 60-х годов, отходят от шаблонных форм мышления, от нежелания самостоятельно думать, совершать поступки, а главное, от «духовной спячки». Очень хотелось бы, чтобы мы были последним поколением, отразившим в своих судьбах несовершенство прежних лет.

— Молодежь всегда стремится к самовыражению, она начинает искать правду уже в 16, 17, 18 лет. По своей натуре молодые люди политически активны. Многие переняли у Запада только внешние атрибуты — «металл», прическу... Судя по письмам, у ребят большая тяга к политическим знаниям, к политической жизни, к общественной активности, к правде. Как они знают, как хотят знать свою историю, собирают факты буквально по крупицам!

Вот сейчас вышла в одной газете статья о Рудзутаке, не написано, как он погиб, почему? А в другой

газете написано. И ребята начинают искать что-то где-то сами, раз они видят, что от них скрывают.

Они хотят знать историю своего народа, а им преподносилась полуправда или ложь. А человек, воспитанный на полуправде, безнравственный человек, и общество, которое воспитывает людей на лжи, это безнравственное общество.

— Инерция мышления еще существует, это видно из откликов на ваш роман, и все же, хоть и медленно, революция в умах, в сознании происходит. Немало этому способствовали литература и публикация ранее написанных произведений. Что вы ожидаете от новых книг, которые еще предстоит написать?

— Литература только тогда литература, когда она говорит правду. Никакими ухищрениями вы на лжи истоящее художественное произведение не создадите. Это закон. Тот факт, что сейчас можно писать правду, открывает громадные перспективы перед нашими авторами. Когда говорят: все бросились в тридцатые годы, зачем, мол. А именно в тридцатые годы было заложено то, что мы сегодня называем застоём. Застой ведь не с неба свалился. Он был именно результатом тридцатых годов, потому что тогда за всех думал и все решал один человек. А мы должны воспитывать людей активными, свободными мыслящими, проявляющими инициативу. Это можно делать только на правде.

Я считаю, что сейчас для литературы открываются такие широкие перспективы, каких никогда у нас не было.

— Ну, а как же быть с недовольными и возмущенными, с теми, кто сейчас с испугом открывает газеты и журналы, кто убежденно кричит о недовольности такой вот правды (как будто правда — это не постоянная категория) и открытости, прикрываясь боязнью подорвать наш общественный престиж за рубежом?

— Мы должны были назвать свои болезни. У нас нет другого пути. Конечно, сопротивление очень сильное, в особенности пассивное, но есть вещи по сильнее, есть инстинкт национального самосохранения. Народ идет вперед и сохраняет себя, государство, общество. Несмотря ни на что, пессимистам ничего не поможет, придется им смириться. Мы великая держава, мы не можем так больше отставать. Мы уже отстали. Отстанем еще, если мы не перестроим все мышление. Мышление, которое сформировалось во времена Сталина, когда все всего боялись. Мыслить боялись самостоятельно, говорить, действовать, делать, рисковать.

— А если пофантазировать немного о будущем читателе, каким вы его представляете?

— Это в первую очередь думающий читатель. Вот на него и надо ориентироваться. Уверяю вас. Ребята ищут правду не только у нас в произведениях, во всем. И когда есть настоящее, есть жизнь и смерть, есть трагедия народная — это им интересно. Нельзя давать им жвачку. Я понимаю, почему они читают мой роман, — там есть настоящее.

— Да, роман вышел, читается и обсуждается всеми. Правда, как говорится, восторжествовала, а все-таки как жаль, что так поздно. Многие друзья и ровесники Рыбакова уже не смогли прочесть романа и даже узнать о самом факте его публикации. Хотя, знаю, именно от него ждали раскрытия этой темы. Не случайно в недавно вышедшем посмертном сборнике статей критика Михаила Матвеевича Кузнецова * есть слова, как бы предваряющие сегодняшнее творчество писателя:

«Рыбаков — художник меняющийся, растущий. Он еще не раз порадует нас книгами яркими, свежими, волнующими, и нам откроются новые грани его доброго и честного таланта».

Остается только всем нам пожелать дальнейших радостных встреч с книгами Анатолия Рыбакова.

Беседу велла Анна ПУГАЧ

* М. Кузнецов. Советский роман. Статьи, портреты: М. 1986.



ГЕНЕТЛИАКОН

Когда в жизни общества год походит на предыдущий, и все ту же гайки чиновной машины, и все праздничное ложь — тогда поэзия словно закукливается, уходит в историю и вечные темы, наконец, в эстетизм. Но и сама история, как в языческие времена, начинает течь по сезонному кругу: ничего не происходит, только мелькают красивые галочки юбилеев.

В такие грустные времена все мы — от читателя до редактора — заняты обнаруживанием аллюзий и подтекстов. Знаменитые «фиги в кармане» напоминают, что слово не умерло, что период социальной импотенции — это максимум на одно поколение.

Мирное, бескровное время — предчернобыльская, но уже радиоактивная эпоха. Какой социолог подсчитает дозу «светлой лжи», полученной обществом за два десятилетия демагогического облучения? Вот они, мутации памяти — налицо. Все буквально на глазах, на каждом совещании молодых литераторов: вот появился способный паренек, вот его уже вознажили «в обойму», объяснили в кулуарах: «кто виноват?» и выстрелили в белый свет. Книжка, премия за нее, писательский билет и даже читательские конференции — по разнарядке. А ему все равно плохо, и в голову ему не придет, что враг его — тот самый его благодетель, уже набивающий новую обойму горе-пулеметчик от критики.

Время расстрелянных вхолостую патронов, время нереализованных способностей и разбухших амбиций — так или иначе коснулось оно всех нас.

ВЫЛЕПЛЯЙСЯ, НОВАЯ ЭПОХА! ВРЕМЯ ПАЧАТЬ РУКИ — ГЛИНУ МЯТЬ. ЕСЛИ ЖЕ ЭПОХА ВЫЙДЕТ ПЛОХО, НА ЭПОХУ НЕЧЕГО ПЕНЯТЬ.

Когда-то, накануне 80-х, «Юность» напечатала эти мои строки.

Не пеняя на эпоху, рискуя спорить с собственным вчерашним ощущением истории, лепить живую от народных слез глину минувшего. Потому что это происходит при нас: восстанавливается вертикаль хроноса, вновь оживает отечественная история, устремляясь из прошлого в будущее.

И рождается время настоящее. Рождается, как и положено, — в муках.

Послание к Иксу и Изреку

Не зри на мя, аки волк на агнеца,
но зри на мя, аки мати на младенца.
Даниил ЗАТОЧНИК XIII век.

Алексей Михайлович Тишайший, бывший между Грозным и Великим, не откушавши и простокваши, стал к полудню даже слишком тихим. С ночи перед ним лежала карта всей Вселенной. А поверх Вселенной — розовый пергамент Энгельгарта, труд астрологический, секретный. Немец врал: вдали обсерватории, без таблицы, без инструментария, посреди заснеженной Московии, на краю земного полушария ненадежны звездные энклитики для расчетов внутренней политики. На вопрос о сопредельной Турции, близкой Швеции и дальней Дании: наказуя праздные индукции, степень воспрещает волхование, Марс горяч, но слово государево и остудит, и раздует зарево... Хитрый немец — то ли продал черту свою душу, то ль кому подальше — ляху или турку. К звездочету Алексей Михайлович Тишайший не затем писал, чтоб выходило как у ведьмы-дуры — так на эдак! — впрочем, что-то в той хартийке было, вот и припасалось напоследок: «Жди беды в предел своей державы не от козней ляха или турка. Вижу — люди падают, как травы, но не слышу сабельного стука, потому что скосит пол-Европы лютый всадник на коне крылатом и махнет через твои сугробы в тысяча шестьсот шестьдесят пятом!...» Вот какие беды да напасть предрекал британский этот немец. Язvu обуздать не в царской власти — врал царю ученый иноземец. И хотя забыл свои таблицы, не привез ни трубки, ни пенала — оставалось плакать и молиться, раз такое горе подступало. ...или как у них в «Декамероне», не надеясь даже и на чудо — скоморохов звать? блудить на троне, жрать и сказки сказывать, покуда вьется возле нечисть моровая, вотчину твою перебирая! Алексей Михайлович Тишайший, не любивший скоморошней скверны, каши и в обед не расхлебавши — думал. А царевны Алексея, три порфирородные юницы, слушали сопение органа, забавляясь аки голубицы под присмотром дядьки-басурмана, и к тому же складывали вирши, лексикон латинский затвердивши... Здесь, должно быть, вставка летописца: Евдокия, Софья и Мария только что успели родиться. Впрочем, допетровская Россия знала толк в строительстве органом, даже басурманам их дарили, И персидский шах с бухарским ханом музыку московскую ценили.

Нехристи, а чувствовали кожей:
 трубный глас — духовный, то есть Божий.
 Богомолен, но не суеверен,
 в полдень царь прикрикнул на царевен.
 Повелел боярам подыматься,
 приказал дворянам собираться,
 дабы впредь росси́йские пределы
 сквозняком заморским не продуло.
 птица бы и та не пролетела,
 полевая мышь не прошмыгнула!
 Веру верить — значит дело делать, —
 что нам звездочетовы таблицы?
 Ратники — полков, наверно, девять
 в новолетье встали вдоль границы.
 ...и, двойным кордоном санитарным
 саморучно Русь перепоясав,
 бил поклоны, и в приказе Тайном
 даже с ляхом был учтив и ласков.
 А когда на будущее лето
 этот самый всадник молодецкий
 выкосил почти пол бела света,
 но не одолел кордон стрелецкий, —
 распростился мудрый царь московский
 с посрамленным немцем-звездочетом,
 обрядивши в царские обноски,
 отпустил не просто так — с почетом! —
 чтобы и в Британии узнали,
 сколь хитра московская затея.
 И прошло семь лет. И у Натальи
 родился сын от Алексея,
 и в честь ключника, что запирает
 райские врата пред маловером,
 был крещен... а дальше всякий знает,
 как мы жили при Петре при Первом...
 В этом месте на полях приписка,
 скоронись, заквашенная вязью:
 «Се родила баба Василиска
 по кощунству и по безобразью.
 Петр был масон и сын масона».
 Справа резолюция: «Резонно».
 А еще правей — листок в линейку
 из тетрадки за одну копейку:
 «Алексей Михайлович Тишайший —
 Государь Всея Державы нашей.
 Это он заслон поставил морю,
 потому-то Русь и вышла к морю.
 Царь, а не кичился бранной славой,
 не гулял в тулупчике нагольном,
 не конфузил шведа под Полтавой...
 Ты его сконфузь-ка под Стокгольмом!
 Так всегда: тот копит, этот тратит.
 Тот блюдет себя, а тот не помнит.
 Батяка ладит — щели конопатят,
 а сыночек придет — окно проломит...»
 В тексте пропуск, ряд протертых точек
 и карандаша летучий прочерк
 ссылка: «...разговоры в царстве мертвых.
 Сочинение Петра Крекшина».
 И начальным почерком на стертых
 сгибах — буквами большими:
 «Даром, что Тишайший прозывался!
 Ну а как же Соляной и Медный
 бунты? А раскол образовался
 тоже сам собою? Этот бедный
 юный огонь, невинный как румянец,
 не тобой ли попросту размыкан?
 Для чего горел старообрядец?
 Для чего? — Степан, Богдан и Никон?
 И откуда линия прямая
 к линии великого младенца,
 что родился на исходе мая,
 как прошло семь лет с отъезда немца».
 Новогодней полночью зачатый*,
 на утеху птицам в темных нишах
 он развесит на стене зубчатой
 тех стрельцов, чьему остановивших.
 А уж как пошло ляхое дело,
 как пошло... — читай того ж Крекшина —
 «...быть пожару. И земля сгорела
 вглубь себя на полтора аршина.

И посол державы иностранной,
 сургучом закапавши и воском,
 доносил, что фабрики органной
 впредь не будет на холме кремлевском.
 Дескать, новый русский царь намерен
 известить старинную забаву.
 Натерпелся, дескать, от царевен.
 Знать, умели поиграть на славу!
 А у русских есть такой обычай —
 на реке, на Масленой неделе,
 издавая свист и гогот птичий,
 жечь на льду и лыры, и свирели.
 ...что-то оттепели зачастили!
 Распустили розовые юны...
 Сколько цвета, Господи, побили...
 Где они, юны да юны?...
 Нет, недаром Алексей оплакан
 в час, когда скрипели ножки трона,
 и недаром врал генетлиакон
 Епифания и Семнона,
 мол, явился отрок богомольный
 и планеты встали в лучшем виде,
 мол, аспект четырехугольный
 был на небе, егда Петр прииде.
 Это после! А тогда с порога
 Семнон мешал исторгнуть бремя:
 Потерпи — просил — еще немного!
 Не рожай — просил — еще не время!
 Знали, знали подлые монахи!
 Утаились в трепете невольном,
 убоялись, вот и скрыли в страхе,
 что аспект был тупоугольным!..»

P. S.

Поясню: генетлиакон — это
 гороскоп, изложенный стихами.
 Ну а что касается аспекта —
 если надо, разберите сами.
 Мы своих преданий не читаем,
 ежели не в пикулевском вкусе,
 и своей истории не знаем,
 ежели она не в кратком курсе.
 Но при сухости официоза,
 и при том, что капает зарплата,
 и при том, что в Красноярске проза,
 и при том, что брат косит на брата —
 хорошо с неглупыми людьми
 выявить: что новенького в мире?
 Извели Россию марсиане?
 Отыскались градусы в кефире?
 Тут еще зараза из Европы,
 ну и негативные процессы —
 азробика и гороскопы,
 йоги, возвращенцы, экстрасенсы...
 И, как шашку, выхватим цитату,
 разбираясь «Кто виновен в том, что?...»
 И цитатую по супостату,
 если от себя себе же тошно.
 Но и это, верно, так по-русски,
 жизнь свою поставив на копейку,
 из своей двухкомнатной кутузки
 выйти на бульварную идейку.
 Западники и славянофилы —
 тот своей любителю системкой,
 тот на стенку лезет что есть силы,
 призывая лезть на стенку стенкой.
 Вся Россия — опытное поле, —
 обронил один неглупый лирик.
 И как током вечное «доколе?» —
 И за каждой кочкою рубильник.
 Ну и Петр — он нашей же закваски:
 никакие немцы не смогли бы
 всю Россию так по-русопятски
 онемечивши — поднять на дыбы —
 у семи ветров на перекрестке,
 где варяги переходят в греки,
 где простоволосые березки
 над обрывом, аки человеки.

* Древнерусский Новый год — 1 сентября.



Варлам
ШАЛАМОВ

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Заметки
студента МГУ

Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале «Красное студенчество», которым руководил Илья Сельвинский.

Здесь была уже сущая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве — меня угощали самодельными ямбами Митрейкина. Эти ямбы обсуждались подробно. Каждый слушатель должен был выступать. Заключительное слово произносил сам «метр» — Сельвинский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:

— Во второй строфе слышатся ритмы Гете, а в третьей — дыхание Байрона.

Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно улыбался. Это было еще хуже Лефа. Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвинского и частные беседы поэтов друг с другом во время «перекуров», я перестал ходить в «Красное студенчество».

Конструктивисты выпустили три сборника с претенциозными названиями: «Мена всех», «Госплан литературы», «Бизнес».

Услуги теоретика при конструктивистах выполнял Корнелий Зелинский...

Попытка записать стихотворение так, как оно говорится, приводила к следующим «достижениям»:

Ночь-чи? Сон'ы. Прох?ладыда.
Здесь в аллеях загаложиле?го сад'ы
И идоносятся толико стаон'ы? гнт-таоры
Таратинна-таратинна *ten*.
(«Цыганский вальс на гитаре».
Сельвинский)

Все это знал еще Тургенев.

Окончанье. Начало см. в № 11 за 1987 г.

Понимая, что наблюдение такого рода можно «обыграть» только иронически, Тургенев вложил стихотворную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чувствовал русский язык много лучше, чем его потомки.

В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «конструктивистские» находки:

«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь

Ата прекарасаных седешенеха мест... и проч.»

По образцу левовцев конструктивисты готовили «смену». Молодые ученики Сельвинского назывались «констромольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них не вышло.

Зато объявили себя конструктивистами Антокольский, Багрицкий и Луговской...

Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет право писать и кто их не имеет. Мы хотели знать, стоят ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот удивительный феномен, когда плохой человек пишет стихи, пронизанные высоким благородством. И чтобы нам объяснили — для чего нужны стихи в жизни. И будут ли в завтрашнем дне?..

Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэта, писателя неизбежно другая, чем у «пэтомков». Помимо таланта, литературных достоинств, живой поэт должен быть большой нравственной величиной. С его моральным обликом современники не могут не считаться... Нравственный авторитет собирается по капле всю жизнь. Стоит лишь оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий стеклянный сосуд с живой кровью разбивается вдребезги. На этом пути не прощают ошибок.

Тогда я еще не понимал, что поэзия — это личный опыт, личная боль и в то же время боль и опыт поколения.

Я не понимал еще тогда, что писатель, поэт не открывают никаких путей. По тем дорогам, по которым прошел большой поэт, — уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так, как Пушкин, — я и писал бы, как Пушкин. Я понял также, что нет стихов квалифицированных и неквалифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия — это душевный опыт и что лицейский Пушкин еще не поэт. Что Пушкин — это поэт для взрослых и более того: когда человек поймет, что Пушкин — великий из великих, он, этот человек, и становится взрослым. В юности мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение Лермонтову. Но годы идут, и оценки наши меняются.

И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать приобщение к русской поэзии. Он слишком сложен, не всегда понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что смыслят в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать надо с Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. А Пушкин — это вторая ступень. А дальше — Лермонтов, Тютчев, Баратынский; все это поэты, требующие не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. Я делал сотни опытов в своей жизни: какое стихотворение человек запоминает первым в жизни. В дореволюционном школьном репертуаре было много различных «птичек божьих», но девяносто девять процентов опрошенных запомнили некрасовское «Как звать тебя? Власом».

Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пастернаком в 1952 году (из письма к В. Т. Шаламову от 9 июля 1952 года. — И. С.).

«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное

тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».

И далее в том же письме:

«Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдаемой и точно названной частности, как в поэзии Ийиокентия Аиненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом и с общественным нигилизмом революции я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию, и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».

Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно — внутренняя фальшь ощущалась Пастернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же — самое лучшее, самое главное — в осужденных им сборниках стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых стихов более позднего времени Пастернак не достиг. В стихотворениях из романа в прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.

Главные литературные группы — «Перевал» и РАПП непрерывно росли на «местах». В городах рождались эти группы «парно»...

От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие А. Лежнев, Дмитрий Горбов, позднее Давид Тальников. В ответственных случаях выступал сам Воронский.

Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Пржектор». Он был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы — автором книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов, полемических статей по вопросам литературы.

...Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни болезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.

В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.

Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен под редакцией Воронского и с его очень теплой вступительной статьей.

Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.

Воронский стоял во главе большого издательства «Круг».

Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.

Года два назад критик Машбиц-Веров, живущий ныне в Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их как писателей.

Издательство «Круг» и редакция «Красная новь» были в Кривоколенном переулке.

Я пришел на одно из редакционных собраний.

Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Во-

ронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещающая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне — огромная тень головы передвигалась по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.

Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я их узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый...

В начале революции Воронский работал в Иванове, редактором областной газеты «Рабочий край». Потом перебрался в Москву, изложил Ленину план создания первого «толстого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Красная новь» состоялось в квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала станет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод Иванов — свою первую повесть «Партизаны».

Горький связал Воронского с ленинградскими писателями — с бывшими «Серапионами».

Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воровском угадал дипломата, а в Цюрупе — крупного государственного деятеля. Встречаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве строителей государства, искусства...

В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?»

Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста».

...Нап вызвал к жизни «Смеиу век». И. Лежнев редактировал журнал сменовеховцев «Россия», где печатали роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу пришел новый большой талант.

Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с маловыразительным лицом, был живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве мое бытовало мнение, что объем головы, высота лба — верные внешние признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Аиатоля Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик. Узкие, в щелочку глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подбородок.

Михаил Булгаков — киевлянин. Валентин Катаев — одессит. Они первые приехали в Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.

Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской литературы. Бабель, Петров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов — все они с юга.

Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной школе» нашей литературы, а первый сборник стихов Багрицкого так и называется «Юго-запад».

Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В. Португалова, вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку — «Северо-Восток».

Булгаков выступает с фантастической повестью «Рокковые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».

Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику газет.

Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для «30 дней», рассказы для «Медицинского работника». Он переделал в пьесу свой роман «Белая гвардия».

«Дни Турбиных» — это не просто инсценировка романа. Некоторые действующие лица отброшены, одни характеры усилены, другие — смягчены...

«Дни Турбиных», постановка которых была разрешена только лишь Художественному театру. С Хмелевым и Добронравовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в роли Лены — пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый успех.

Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) особенно вызывала много шума, крика, вплоть до скандалов и свиста в театре. Пьесу сняли как прославляющую белогвардейцев.

Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой редакции. Эта новая редакция была чисто театральной. Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя храни», которое пели офицеры на елке — торжественно, во второй редакции пели пьяным нестройным хором.

Словом, в игре актеров было усилено критическое «отношение к образу». Помните Вахтангова: актер должен играть не образ, а свое отношение к образу.

Конечно, навечно запомнятся нам и Хмелев — Алексей Турбин, и Яншин — Лариосик. Именно эту ролью Яншин и начал свой славный театральный путь.

На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был скандал. Какой-то военный и комсомолец громко свистели, и их вывели из зала.

Луначарский в большой статье, помещенной в «Известиях», опубликованной ко времени возобновления пьесы, разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни Турбиных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная мысль ее в том, что если белые идеи и были гнилыми идеями, обреченными на гибель, то люди, которые их защищали, были — сплошь и рядом — вовсе неплохими людьми.

Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъяснял, что шиканье иаряду с аплодисментами — вполне правомерный способ публичного выражения своих симпатий и антипатий в театре, своего отношения к спектаклю, и поэтому администрации Художественного театра на сей предмет сделано строгое внушение.

«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомненно, самая яркая пьеса двадцатых годов.

Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу за другой: «Зойкина квартира» у Вахтангова, «Багровый остров» в Камерном театре, «Мольер» в Художественном. Готовился в МХАТе «Бег». Для Художественного театра, чьим автором Булгаков работает ряд лет при горячей поддержке Станиславского, Булгаков пишет пьесу «Мертвые души» по Гоголю.

Проза Булгакова — и его первый роман, и повести — испытывала сильное влияние гоголевской прозы. Если Пильняк получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то Булгаков на всю жизнь был представителем непосредственно гоголевских традиций. Это сказывалось не только в его словаре, но и в совершенном знании сцены, театра, и в пристрастии к фантастическим сюжетам, в любви к драматургической форме.

Пьеса «Мертвые души» написана очень толко. Там есть «досочиненный» вполне в гоголевском плане пролог, есть действующие лица, «о которых и не слышно было никогда».

Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал Гоголя.

...Плотников, учитель русской литературы в Якутии, проработавший среди якутов двадцать пять лет, всю жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якутского народа были Плотниковым собраны, переведены на русский язык классическим размером «Гайаваты» Лонгфелло в переводе Бунина. Толстый

сборник якутского фольклора под названием «Янгал-Мая», что значит «тундра», был Плотниковым упакован и направлен посылкой в журнал «Новый мир». Редакция журнала рукописи Плотникова показала «самотеком», литературным сырьем, которое должно было получить обработку прежде, чем попасть в печать. Материал же был очень интересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плотникову, редакция журнала передала рукопись поэту Сергею Клычкову, автору «Чертухинского балакиря», и Сергей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое время привел рукопись в христианский вид. Исключив всякие повторы эпизодов, выправив сюжетное начало, переделав «Янгал-Мая» от строки до строки, Клычков сдал в «Новый мир» перевод с якутского, названный им «Мадур-Ваза Победитель» по имени главного героя якутского эпоса. Поэма — так назвал свое произведение Клычков — включала ни много ни мало как тридцать шесть тысяч стихотворных строк.

Журнал с поэмой Клычкова вышел в свет и дошел до Якутска. Потрясенный Плотников бросился в Москву, требуя расследования, обвиняя Клычкова в плагиате, требуя выплаты денег ему, Плотникову, за двадцатипятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков получил уже давно. Оказалось, что издательство «Academia» заключило с Клычковым договор на издание «Мадур-Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.

Было расследование. Работа Клычкова над рукописью Плотникова была признана имеющей самостоятельное художественное значение, и все претензии к Клычкову разом отпали. Редакция журнала был объявлен выговор. А издательству «Academia» было предложено заключить договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе с произведением Клычкова.

Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны два одинаковых, по существу, текста — без всяких объяснений. Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно видеть в Ленинской библиотеке.

...Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах научных институтов появлялась маленькая фигурка старичка в сером пиджаке, с небольшой бородашкой, с неизменной палкой в руках. За его спиной обычно возникал шепот удивления. Старичок был автором многих работ по электротехнике, редактором технической энциклопедии по вопросам электротехники, создателем еще юного у нас тогда дела — первых «пластмасс».

Говорили, что темы многих диссертаций родились из случайных бесед со старичком — бесед, в которых он никому не отказывал.

Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил одиноким. Его звали Павел Флоренский (1882—1943. — И. С.). В дореволюционное время он был священником — профессором Духовной академии, виднейшим теоретиком православия, автором фундаментального на сей счет труда.

В науке это была фигура мирового значения...

...В Кунцеве образовалось нечто вроде предместного укрепления одесситов перед Москвой. Там жили Кирсанов, Багрицкий, Бродский, Олендер, Колычев.

Кирсанов выступал на каждом литературном вечере, даже если его и не приглашали.

Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а главное — великолепно чтение. Читал он настолько здорово, что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным — до тех пор, пока не удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирсанов недаром был крайним сторонником «звучащей поэзии» — большим, чем его старшие товарищи — Маяковский и Асеев. С широкогрудатыми речами Кирсанов по молодости лет еще не выступал. Чтение стихов — и ничего больше. Но на всех сценах и авансценах протискивалась его энергичная фигурка, слышался звонкий голос, что его обижает, что ему Уткин и Жаров не дают читать стихи, что у него стихи — хорошие, пусть только разрешат ему прочесть, и он себя покажет. Обычно про-

честь ему разрешали — для слушателей это было неожиданным и приятным сюрпризом. Читал он «Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли в его сборник «Опыты».

...Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал себе быстро.

Когда Полонский на одном из диспутов сказал «какой-то Кирсанов», Виктор Шкловский заметил, что «если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского, а не Кирсанова».

Остроты, полемику — пусть даже самую грубую — в двадцатые годы очень любили.

Самым остроумным оратором литературных диспутов того времени я считал Виктора Шкловского.

Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал к себе всеобщее внимание. Книги его читались нарасхват. Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его лысый череп приветствовали все.

Свой своеобразный литературный стиль Шкловский заимствовал у Василия Розанова, автора «Опавших листьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые годы знал, и помнил, и почитал Розанова?

Слог Шкловского казался всем открытием.

Пародист Александр Архангельский написал очень удачную пародию на Шкловского и назвал ее «Сухой монтаж». В первом издании (в той же библиотечке «Огонька») название это было сохранено. Но в дальнейшем Архангельский изменил его на «Сентиментальный монтаж».

Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зозуля, много значила в литературной жизни тогдашней... Это был по-газетному оперативный издательский отклик на злобу дня, на новинки художественной литературы. Библиотечка «Огонька» знакомила с новыми именами в прозе и поэзии, вслед за журналами и много раньше отдельных изданий. Библиотечка была на переднем краю литературы. Успех писателя, поэта — новое или старое имя — это все равно — сейчас же находил отражение в библиотечке «Огонька». Для многих библиотечка была подтверждением успеха в дороге к большому читателю. Михаил Кольцов с Зозулей обдумывали это издание.

...В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Г. Смирнов. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона». Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал — какими материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона». Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных книг английских (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.

«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем, Смирнов был безусловно талантливей писателя Николая Шпанова.

Поэт северянинского толка Лев Никулин выпустил толстую книжку «Адъютанты господ бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко — бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине Осипенко отвечал категорическим «нервным» отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина.

— Вот с этой проклятой книги все и началось, — с чувством произнес Осипенко.

Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адъютанты господ бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор

не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям...

Горький двадцатых годов — это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми... Время от времени в газетах публиковались письма — работниц и рабочих — Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет...

Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего «графоманства» отвечая осудительно.

Его толкование таланта как труда, недостаточно четкое и неверное, родило множество претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.

«Горький — отец самотека», — говорили в одной из редакций.

Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений — желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.

Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема: талант — это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет — то нет. Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта. Всякий талант — не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.

Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов. Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов...

Горький двадцатых годов — это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоновых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.

Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.

Вацлав Воровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).

С такими же примерно оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.

Зимой 1926—1927 года в Коммунистической аудитории Университета при баснословном стечении народа — студенчества и пришедших «с улицы» — Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи, хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.

Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию.

— Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. — Читает: — «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена — Gladкова, Березовского, Горького». Извините, извините, Горького вы сюда не причисляйте...

Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачущий высокий человек с черной шляпой в руках — вот все, что я видел тогда.

В левовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаньем — как-никак «Письмо» (Маяковского) после приезда Горького перестало быть козырем.

Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом Лефе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста — «Детство», «В людях», «Мои университеты», — видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал — сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берется за ухо.

В то время в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.

Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».

Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.

Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном горизонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера» и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а подобно Воровскому был бы дипломатом.

Наш Гоголь, наш Гейне, наш Гете, наш Пушкин, — Сидят, изучая политику цен.

Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план).

Но время шло, а Пушкина все не было.

Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что ирравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве — главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация — очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растение в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы — легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы — главная задача искусства, философии, политических учений.

Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? — все отвечали: «Наш Пушкин — на школьной скамье!»

Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова она расходилась по стране вслед за марсельезой «На защиту красного Питера» Демьяна Бедного.

Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.

...Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти заграницей.

Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мери́ме с «Песнями Западных славян».

Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.

Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной:

— Газета «Вечерняя Москва»! Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!

Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина — красочную фигуру первой половинки двадцатых годов.

Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.

Самоубийство поэта наполнило иovým смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.

Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич, сын знаменитого профессора права Г. Шершеневича.

Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, из пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе, Есенин — любимый ученик и воспитанник Николая Клюева, который, казалось бы, меньше всего склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину.

Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного магазина...

Случаи такие не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентральный» — Шагинян и «Как закалялась сталь» — Островского. Некоторые стихи Шершеневича из этого сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.

А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос.

Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и укрепился как автор текстов к опереттам.

...С уважением произносилось имя Николая Клюева — одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиозными мотивами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональна. Есенин начинал как эпитом Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встречаются в стихах, например, Виктора Бокова. Революцию Клюев встретил оригинальным сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» (1919).

Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева, Павла Васильева. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.

Своеобразной фигурой тех лет был Зубакин, поэт-импровизатор. Это настоящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме Печати. Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими стихами, все же способности импровизатора у него были. Впоследствии, в те же двадцатые годы, Зубакин куда-то исчез...

Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстояние и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.

Больше я о нем не слышал ничего.

Тарас Костров, редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье — он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо образованный человек — он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно — из них две «провинциальные» из наиболее крупных, три — московские и ленинградские. На чтение этих газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был

оценить материал текущего номера — простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя — видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправщика и работал целый день на этой «должности» — показывая, как надо работать...

Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал такую удачу «нечаянкой радостью» для себя. И вовсе был туда не вхож...

Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал поэта, чьи стихи прозвучали тогда очень свежо и молодо, — Николая Ушакова.

Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом Лефе», пока там хозяйничал Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.

Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на I съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.

Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад. Себя он зиял. Второй его сборник, «30 стихотворений», остался лучшей его книгой.

В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов — писатель, на которого возлагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности — «Чапаев» и «Мятеж».

Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархические идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархистов в те годы в Москве было не так мало. На Тверской, напротив кино «Арс» (теперь театр им. Станиславского), был клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развевалось черное знамя... Музей им. Кропоткина — в том доме, где он родился и вырос, — существовал до тридцатых годов.

В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский манер:

«Всеизобретальня всечеловечества».

Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским БРИЗом здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как осязательно человечество», «Проект тоннеля через Ламанш» и в этом роде.

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого кооператива. Он избрал метод «сочетательный диалог» — экономный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные Ривинным собственной рукой.

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина «Высшее образование — за год! Каждый сам себе университет».

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о повторении, и видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.

Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобреталь-

ня всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактными). ..

Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.

В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты, приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им, как словарем:

— Скажите, что такое «валовая продукция»?

— Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.

Анархистом был и Гроссман-Рощин. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискуссиант всех литературных собраний того времени. Он был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.

Гроссман-Рощин был видным рапповским оратором. В годы гражданской войны он вместе с другими вождями русского анархизма был в штабе Махно, давая батые советы по строительству анархистского общества.

Ему было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза его мог видеть каждый.

Литературоведению Гроссман-Рощин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.

Вышла «Конармия» Бабеля. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую якобы набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.

Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в «Лефе», как и некоторые рассказы из «Конармии»... Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше», — были у всех на устах. МХАТ 2-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» — о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире, — пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля — «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.

Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» — о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс — актер Еврейского театра, одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов...

Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко...

Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения — «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на ботфорты» — имели большой читательский успех, вызвали много подражаний...

В Москву приехал основоположник «телеграфного языка» Джон Дос-Пассос, чьи романы «42-я параллель» и «1919» были у нас переведены В. Стеничем (тем самым Стеничем, о котором пишет Блок в дневнике последнего года жизни).

Дос-Пассос запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в клуб им. Кухмистерова и другие), а в Ленинграде — по памятным ленинским местам.

Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого

здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления.

...РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева — также встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Нового Лефа», где О. Брик написал легко-весную, но остроумную статью «Разгром Фадеева», — поддерживали новое произведение.

Вышли «Бруски» Панферова, и Панферов стал редактором «Октября».

«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.

Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная проза. Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Прочсть «Тихий Дон» впервые — большая радость. Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.

Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе — повесть «Детство Люверс» и несколько рассказов. Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой фразы, по наполненности, по великой точности наблюдений, по эмоциональности.

Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи...

Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни в улыбке, жесте, тоне
Так много острых чар,
И что б я говорили о баре Пикадилли,
Но то был славный бар.

Легкость, изящество, с какими В. М. излагала поэтические сюжеты, сделали ее известной по тому времени либреттисткой.

Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна сочинила песенки к «Травиате», где романс Виолетты был подвергнут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер, шли не один сезон.

Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки» сделали ее имя широко известным. «Сеттер Джек» и особенно «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.

Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и «ответственный коммунист» помнят все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро заняла «место под московским солнцем».

Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер — член литературной группы конструктивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слишком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была — велик ли ее поэтический талант или мал, все равно — носителем культуры, культуры общей, а не только культуры стиха.

Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.

Впрочем, Вера Михайловна неустойчиво подчеркивала свою приверженность к «ямбу»: «Я — за ямб».

Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, инбурские вечера. Я был на одном таком ее вечере в клубе 1-го МГУ. Кажется, «Америка в Париже» — такова была тема этого вечера-отчета о зарубежных впечатлениях.

В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада. «Когда я волнуюсь, я беру «Домби и сына», сажусь на диван, и дома у меня говорят: «Тише, тише... Мама читает Диккенса».

Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое «что-то», составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях. Может быть, Вера Инбер — в более раннем и в более позднем — в «Пулковском меридиане»? Может быть.

Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов — казались нам не поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.

Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с поклонниками.

— Что мы? Пушкин — вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.

Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нравился всем. Читал его Багрицкий всухо. Коля Дементьев, в ту пору студент литературного отделения 1-го МГУ, красная, бледная, волновался всхлиски, приглаживая белокурые густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».

Романтику мы не ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход.

Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже...

Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша. Первая его книга, «Зависть», имела шумный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодетелей» — пьесу вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось в писательском механизме Олеша. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг, написанных рукой писателя-экспериментатора.

...Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным окончивший ВЛХИ (Высший литературно-художественный институт), писал стихи, день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».

Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрезвычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в эти годы очень сильны, не бывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».

...Каждую весну приезжал из Крыма Грин, привозил новую книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.

На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних. Грин велел сказать, что встретится с Минихом — при одном условии — если тот не будет разговаривать о литературе.

Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи, победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы — пешки и хода вперед, внезапно бросил шахматы, отозвался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпион мира стал молодой Вильгельм Стейниц. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж приехал

из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на слова: если господин Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.

Нина Николаевна, жена Грина, была еще молодой девушкой, когда вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти, даже на рынок Нину Николаевну сопровождала какая-то тетка, вроде дуини. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин в Феодосии и позже — в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских рестораниках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены. Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись (для издания), возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, и так далее, с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой, писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой — на сцены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели — Лосем, Солнцевой — Аэлитой, Баталовым — Гусевым была встречена шумно...

В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.

Анта... сдэли... ута...

Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».

Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей, то-то порадовался бы Казанцев — сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита...

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо: он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914—1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.

Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Щеголевым. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не отличалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» — вот что привлекало зрителей.

Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн, знаменитый петроградский банкир военных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, Митьке пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому же рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии. «Азеф» был поставлен актерами театра б. Корша, где Н. М. Радин играл Азефа, а эпизодическую роль шпики Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.

В журналах печатались «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все напечатанное до «Гадюки» встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы, в сущности, ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писате-

лем, вступающим на путь проблемной литературы и материала современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».

Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка» — при Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы — Вера Фигиер напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов, так же, как и Фигиер, просидевший в Шлиссельбурге всю свою жизнь, выступал с докладами, с воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был и в вечер в здании университета на Ленинских горах — на юбилей знаменитых Бестужевских курсов. М. И. Ульянова, Н. К. Крупская были бестужевками.

Еще живы были деятели высшего женского образования в России — синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ощущал я на этом вечере — то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе 6. Политкаторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

Пастернак

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву. Я помню приезд в Москву Густава Инара — участника Парижской коммуны, седого крепкого старика. Связь времен, преемственность поколений ощущалась как-то необычайно ярко.

...Я хорошо помню процесс Савинкова. Закрытое заседание Военной коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ. Член русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь воюющий». Ропшин — его литературное имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым — смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы (1925).

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедших уже после его смерти в Библиотеке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе недолговечным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.

Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью...

...А общество «Долой стыд»! Ведь это не какой-нибудь рок-н-ролл или твист — члены этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «Долой стыд» через плечо...

Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания — и нагие фигуры женщины и мужчин исчезли с московских улиц. Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких громов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества «Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы, грозящая здоровью населения, если оно увлечется идеями общества «Долой стыд». О хулиганстве тут и речи не было.

...Цензура в те времена действовала не очень строго — о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, никто не мог и подумать.

Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой изданного.

Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.

В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведра пива, что напечатает матерщину, — вещь, немыслимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле. Вышедший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.

Матерщину, всю как есть, можно было найти только в словаре Даля, да в докладах отчетов Пушкинского Дома Российской Академии Наук.

Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве. И само пари — ящик пива! — характерно.

Журнал, где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.

Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты — червонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?

Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была вставлена восьмистрочная частушка-акrostих, заглавные буквы составили матерное слово.

Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он не китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор был оправдан.

Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом — нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читальном зале, но когда захотел перечитать — не нашел.

Повесть эта небольшая. Посвящение: «А. К. Воронскому, дружески. Б. Пильняк». «Подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это — не так».

Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был Вороиский. Вороиский отказался печатать такую повесть. Тогда Пильняк передал рукопись в «Новый мир» Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому дружески». Полонский напечатал «Повесть непогашенной луны».

Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой — Мария Ивановна Бабанова.

Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в театре Мейерхольда, отказываясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай». Стеллу в «Великодушном рогоносце», Полину в «Доходном месте».

Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие вирши:

Вы знаете, от Вас ушла Бабанова,
И «Рогоносец» переделан заново.
Но «Рогоносец» был великодушен,
А режиссер как будто не совсем.

Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» — одна из любимых ее ролей, наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.

Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где он был режиссером.

Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:

— Здесь переход. Куда мне идти — налево или направо?

— А куда хотите, туда и идите, — безжалостно сказал Дикий.

С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.

Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по иточке, все мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.

Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхольдовское».

Двадцатые годы — расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса Коонен, Тарасова, Еланская, Гоголева, Пашенная, Бакланова, Попова, Глизер — им нет счета.

На Большой Дмитровке, в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Станиславского, размещался один из интереснейших экспериментальных театров Москвы того времени, времени больших исканий.

Это был «Семперантэ» — театр импровизации под руководством актера А. Быкова.

Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась, актер работал, что называется, на глазах зрителя.

Быков и его жена, артистка Левшина, сумели увлечь своими идеями многих актеров. Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина продолжали выступать с «Гримасами» — лучшим своим спектаклем — еще несколько лет на случайных сценах...

Но все же умение и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.

Театр этот оказался как-то без будущего.

Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, студии МХАТ, театру им. Мейерхольда.

...Славин написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в театре Вахтангова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сцены из этой пьесы. Журавлев — Жув, Толчанов — Филипп, Горюнов — Селестен. Маисурова — Жанна Барбье — запомнилась мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Маисурова играла знаменитую французскую подпольщицу-большевичку юной девушкой — чепуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде написано очень много, а Жанна — не менее красочная фигура. Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской революционерки.

На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса, и хорошо понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесе не «заиграли».

...Театры, один за другим, брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского. Это был первый спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно — жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полновзвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра. Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм председателя укома, братишки, профессора были бесспорны. Такими эти герои и были в жизни.

Прошло много лет. В пятидесятые годы Билль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя укома быть не могло, что «братишка» не реален, профессор надуман. Вкусы и точки зрения изменились. А Билль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации...

В студенческом общежитии в нашей комнате обосновалась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала, как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.

Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и коиспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джаалиль. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях, в произношении:

Сижу за решёткой в темнице сýрой...

Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! — Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.

— Это твое, Муса?

— Да.

Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.

Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаюсь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.

Москва, ноябрь 1962 г.

Публикация И. П. СИРОТИНСКОЙ

В 1924 году В. Т. Шаламов приезжает из Вологды в Москву, работает дублищиком на кожевенном заводе в Сетунь, а в гущу общественных и литературных событий попадает, став в 1926 году студентом 1-го МГУ (2-й МГУ был создан в 1918 году на базе Высших женских курсов, знаменитых Бестужевских).

Многочисленные литературные группировки отстаивают свои взгляды на диспутах, в журналах, газетах... ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, 1920—1928), затем переименованная в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей, 1928—1932), «Кузница» выдвигали задачу строительства классовой пролетарской культуры, резко противопоставляя ее культуре буржуазной, а это приводило к недооценке культурного наследия прошлого. Одним из теоретиков ассоциации был Л. Л. Авербах. С группировками пролетарских писателей полемизировала группа «Перевал» (1923—1932), возглавляемая А. К. Воронским, которая состояла в основном из писателей-«попутчиков», отставших преемственные связи советской литературы с традициями русской и мировой литературы.

Великие революционные сдвиги астражили устоявшиеся системы общественных и эстетических ценностей... По-новому осмыслить место литературы в жизни страны, ее социальные функции пытаются группы Леф, конструктивисты.

Леф (Левый фронт искусств, 1922—1929) выдвигает теорию «социального заказа», принцип непосредственной пользы, утилитарности искусства. Живо описанный Шаламовым диспут «Леф или блеф» состоялся в марте 1927 года после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, известного литературного критика, который возглавлял тогда (1926—1931) редакцию журнала «Новый мир» и активно выступал против издания журнала «Новый Леф».

Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое Леф? Что необходимо, чтобы называться лефистом? Где теория Лефа? Где практика Лефа? С кем вы? «Блеф» — его пригорни и ручейки. Можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и Леф. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин наш редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? Леф и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».

«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью»? Сжечь, долить все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру, как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давн современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционирование литературы». (В. Маяковский).

В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения Лефу, а потом, правда, очень мимоходом — конструктивизму, явно заинтересованный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).

В сборнике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались эстетические требования группы: «конструктивизм есть центристское иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», т. е. провозглашался не интуитивный поиск художественных средств, а «конструирование поэтического материала».

ЛЦК (литературный центр конструктивистов) самораспустился в 1930 году. Упоминаемый в тексте ученик И. Л. Сельвинский К. Н. Митрейкин (1905—1934) — автор четырех поэтических сборников, из них особый отклик в прессе получил первый — «Бронза» (1928). Журнал «Красное студенчество» (1925—1935) издавался ЦК ВЛКСМ, в кружке при этом журнале Сельвинский воспитывал «констромольцев». Название литературной группы «Серапионовы братья» (1921—1929) дано по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в Доме искусств на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совершенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Луцк (1901—1924).

Имажинисты декларировали самоценность слова-образа, неизбежность антагонизма искусства и государства, издавали журнал «Гостиница для путешественных в пре-красном» (1922—1924).

Конечно, уложить живое творчество поэтов и писателей в рамки деклараций и манифестов было невозможно. И Пастернак не уместился в Лефе, а Есенин — в имажинизме, и вообще — в живых отношениях все было переплетено густо, сложно, неоднозначно.

Литературные группировки двадцатых годов были объединены с созданием Союза советских писателей. В 1932 году было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и создан Оргкомитет во главе с А. М. Горьким для подготовки и проведения съезда советских писателей, который состоялся в 1934 году.

Литературные группировки активно пропагандировали свои взгляды в журналах, альманахах, сборниках. Какой

острой была полемика в этих журналах, какие яркие имена украшали эти страницы, увы, издававшиеся на плохой газетной бумаге и от времени теперь пожелтевшие.

Интересно не только перечитать эти журналы, но даже в руках подержать: дерзкий, неукротимый, планктно оформленный «Леф» (1923—1925, с 1927 — «Новый Леф»), серьезную и сдержанную «Красную новью» (1921—1942), демонстративный, общительный «Огонек» (созд. 1923), элгантную, хоть и бедную «Россию» (1923—1925, 1926 г. — «Новая Россия»), «Красную ниву» (1923—1931) и, наконец, непримиримый орган пролетарских писателей — журнал «На посту» (1923—1925), затем — «На литературном посту» (1926—1932) и многие, многие другие.

Именно эти журналы впервые принесли читателю строки В. Маяковского и Б. Пастернака, А. Фадеева и И. Бабеля, С. Есенина и М. Булгакова...

Имели свое непохожее на других лицо и издательства. Крупнейшее издательство «Земля и фабрика» (1922—1930) выпускало до 80% художественной литературы, в том числе собрания сочинений советских писателей.

Издательство «Огонек», созданное в 1925 г., а в 1931 г. преобразованное в знаменитый «Жургаз» (Журнально-газетное объединение), специализировалось на массовых тиражах дешевых, доступных изданий классики и советской литературы. Государственное издательство (1919—1930), возглавляемое В. В. Воронским, более занималось политической, агитационной работой. По инициативе А. М. Горького было создано издательство «Всемирная литература» (1918—1924), знаменитое советского читателя с сокращениями мировой литературы.

Возникли и многочисленные кооперативные издательства: «Никитинские субботники», «Недра», «Круг» (1922—1929), упоминаемый Шаламовым, и др.

В 1930 г. на базе многочисленных издательств было создано Государственное издательство художественной литературы. Преемником «Круга» стало издательство объединений советских писателей «Федерация» (1929—1933).

Мы видим литературный мир двадцатых годов глазами «студента 1-го МГУ», видим то, что видел он, еще не вошедший в литературу. Конечно, характеристики писателей неполны и порой мимолетны — это штрихи, а не портреты. Пусть заинтересованный читатель обратится к собраниям сочинений и монографиям, к сборникам воспоминаний, они помогут ему дорисовать для себя портрет любимого писателя.

Только несколько слов в пояснение.

Воспоминания «Двадцатые годы» печатаются с некоторыми сокращениями.

В связи с О. М. и Л. Ю. Бригами упоминается В. М. Примаков (1897—1937), видный советский военачальник, герой гражданской войны.

«Смена вех», упоминаемая в связи с журналом «Россия», — это возникшая в Праге группа русских эмигрантов во главе с Н. В. Устряловым, которая рассматривала нас как эволюцию революции и капитализму — «сплошное и капитализму». В дальнейшем И. Лежнев порвал со «Сменой вех».

В связи с именами А. В. Луначарского, А. К. Воронского упоминаются «чистки» — это практиковавшиеся тогда как бы отчеты членов партии, публичные отчеты о работе, взглядах, ошибках, если таковые случались, при этом каждый присутствующий мог задать любой вопрос.

Более подробные сведения о «старичке» Флоренском. Павел Александрович Флоренский — русский ученый, религиозный философ. Окончил физико-математическое отделение Московского университета и Московскую духовную академию, где был профессором (1912—1917). Осуществлял исследования в целом ряде дисциплин — лингвистики, теории пространства, искусства, математики, экспериментальной и теоретической физики, которая стала главным направлением его занятий после Октябрьской революции. В связи с планом ГОЭЛРО в 1920 г. был привлечен к научно-исследовательской работе в системах Главэнерго ВСНХ. В 1927—1933 гг. — редактор Технической энциклопедии.

Вместе с автором мы узнаем и театральную географию тогдашней Москвы. Театр им. В. Э. Мейерхольда (в перестроенном виде — теперьшний Зал им. П. И. Чайковского), театр Б. Корша (теперь — здание МХАТ на ул. Москвина), театр Революции — ныне Театр им. В. В. Маяковского, МХАТ II — теперь в этом здании Центральный детский театр, Театр им. МГСПС (Московского городского совета профсоюзов) — ныне Театр им. Моссовета, а в те годы он помещался в театре сада «Эрмитаж».

Варлам Тихонович часто говорил, что не может писать, не переживая заново того, о чем пишет, не вернувшись мыслью, чувством, взглядом в те времена. И обаяние его воспоминаний «Двадцатые годы» — в этой тогдашней, воскрешенной его пером атмосфере молодой литературной и театральной Москвы.

И. П. СИРОТИНСКАЯ,
член комиссии по литературному наследию
В. Т. Шаламова.



Имант
ЗИЕДОНИС

☆☆☆

Мие, подумать только, выбил зубы
этот гад, бугай здоровый — Криш...
Я бы тоже, тоже мог ему бы
в морду дать и выбить зубы, ишь!
Зуб за зуб... Ведь он меня обидел!
Но (наверно, сила свыше есть)
я не поднял руку, я увидел:
колесо неведомое — Мест? —
шло к нему (ведь он меня обидел!),
шло, не разбирая борозды,
прямо с неба. А еще увидел
в небе три звезды и не звезды —

Нечто, надо мной оно стояло,
подавая мне какой-то знак,
и светилося так и так сияло,
как, наверно, Счастье. Точно так.

☆☆☆

Выйдет слон к реке широкой, к устью,
Долго будет с грустью там стоять.
Вся материя полна в природе грустью.
Что же можно тут еще сказать?

В камне грусть, в воде, в цветке, в бутоне,
То видна она, то не видна.
Грусть в короне царской, в царском троне.
И в лохмотьях беженцев она...

Есть такая грусть — никто не знает,
Что за грусть, причины каковы?
Всем чуть-чуть чего-то не хватает.
Чтобы быть счастливыми, увь.

Выйдет слон к реке широкой, к устью,
Долго будет с грустью там стоять.
Вся материя полна в природе грустью.
Что же можно тут еще сказать?

☆☆☆

Женщина красится — будто старается, пишет
Стихотворенье. О, как же она вдохновенна!
Вся в работу ушла. Ничего не видит,

не слышит,

Далека от меня, недоступна, необыкновенна.

Женщина красится — вот карандашник точит,
Тушь берет, и помаду берет и так далее.
На странице лица по-своему выразить хочет
Всю себя до последней детали.

Женщина красится, сидя ко мне полубоком
(Я не мешаю, быть поодаль предпочитаю).
Вот себя осмотрела редакторским оком.
Вот сейчас повернется, и... я ее прочитаю. Читаю

Солнышко... утро... фиалка... роса
на листочках...

Дрозд на ветке, еще какая-то птица...
Но красивое самое — это не то, что в строчках,
А красивое самое — то, что за ними таится.

Перевела с латышского
Н. КРАСНОВА



Дмитрий
СУХАРЕВ

Братство обливающих слезами

По свидетельству Блока, слеза
Застывает глаза
Начиная с 20-го года.
Ну а если точнее, то с той знаменитой строки,
Над которой, бывало, и мы, бедняки-чудаки,
Лили слезы и ведали спазмы подобного рода:
Редет — облаков — летучая — гряда.

Про состав наших слез
Промолчу, это сложный вопрос,
Только старческим все же маразмом
Невозможно всерьез
Объяснить эти действия слезных желез,
Эту склонность к благим
И хронически-сладостным спазмам.

Если мир бестолков,
То зачем же, скажите, у нас, бедняков,
Есть такое богатство?
И слезы нашей след —
Разве ж это железистой клетки секрет?
Это признак секретного,
символ железного братства!

Стальной гигант (Из театральных историй)

И нам случалось играть на сцене.
И нам метали женщины цветы,
Но не в «Собаке» было то «на сцене»,
А в броневой трагедии Вирты.

То был спектакль про сталинскую думу.
И Лев Наумич с трубкою в руке
Всё думал-думал сталинскую думу.
А мы, народ, паслись невдалеке.

**Я был народ, который сам не знает,
Чего б ему, народу, предпринять.**

Но сверху шелестело: «Стаалли знааает...»
И Лева думал. Вот и весь сюжет.

И Лева думал, думал, думал, думал,
И Лева шёл в тот вечер на рекорд,
И за него болельщики болели,
И Митька Вүрос вел хронометраж.

Не дотянув семи минут до часа, Великий молвил: «Будем бить врага!» — И Митька Вурос в яме оркестровой Торжественно нажал секундомер.

**А море бурное ревели и стонало,
На скалы грозные бежал за валом вал,
 за валом вал,
Как будто море жертвы ожидало,
Стальной гигант ломился и стонал.**

2 раза

Глухая крапива

На утлое бревно,
Подставившее бок
Сентябрьскому невяному теплу,
Присела стрекоза и часто дышит.
В ее больших сферических глазах
Задумчивость. Сидим бок о бок.
Мне некуда спешить, ей некуда спешить,
Сидим и ладно. Все же иногда
Посматриваю: как там поживает
Моя соседка? И моя соседка
Приподнимает голову с вопросом.

Зачем Колумб Америку открыл?

Оса,
Набегавшись до самоуваженья
И вникнув (или сделав вид, что вникла)
В подробности поверхности ствола,
Блаженно мочит морду по-кошачьи.

А рядом дремлет Кáтница-богáр.

Еще пожарник лапкой чистит ус.
Еще порой к нам прилетает муха
И тоже греется.
Еще паук
Выстраивает солнечную сеть
В пространстве между веткою лещины
И нашим общим капищем, бревном.
И сеть свою он строит так лениво,
Так нехотя, что вроде и не знает,
К чему она:
Уж вряд ли для того, чтоб нарушать
Идею ненасильственного мира,
Гармонию Неноева ковчега,
Плывущего неведомственным курсом
По воле волн,
По воле волн глухой крапивы.

Посидим на солнышке, будет нам загар.
Принесет нам хлебушка Катица-богар.
Катица-богар! Катенька-жучок!
Черного и белого дай нам на сучок!

Так вот зачем плетется паутина —
Чтоб в небе полетать,
Чтоб улечься на небо
И хлеба принести всему бревну!
Так вот куда наш ствол, наш углый плот,
Наш славный челн, летучий наш голландец...
(«А это, извините, Левитанский».)
«Катитесь вы!» — так вот, я говорю,
Куда летит безумный наш Икар
По воле волн глухой, как мир, крапивы.

**Божия коровка,
Полетим на небо!**

Но Катича-богар всё спит да спит.
Зато пожарник
По-прежнему усердно чистит ус:
Пожарники не спят, они дежурят.

И все-таки здесь кое-что неясно.
Когда я был моложе лет на сорок,
Пожарников солдатиками звали.
Зачем Колумб Америку открыл?
Зачем и кто
Клопу менять название надумал?
Иль дело в том, что, отслужив свой срок,
Былой солдат в пожарники подался
И ныне служит скромно и бессрочно
Неявственному солнцу сентября,
Идее ненасильственного мира
На попрание неведомственных волн
Глухой крапивы?

Совиное гнездо

Нет, я не жаворонок, я
Другой, я сплю неутомимо.
И дочерь певчая моя
Отнюдь не жаворонок, нет,—
Как я, будильником гонима,
Но только в школу и чуть свет.
А ныне лето и суббота!
Сова, не это ли свобода?
Вставай, сова моя: обед.

А за полночь не у каминна —
У печки, солнышка ночей,
В своей, не чьей-нибудь избенке,
Хоть юридически в ничьей,
Глядеть в огонь неутолимо...
Нет, мы не жаворонки, нет!
(Какой секрет в большом совенке?
Ложимся солнышком согрет?)
Ложись, сова моя: рассвет.



Сергей ЗОЛОТУССКИЙ

Deorum &
MICHON

☆☆☆

«Что ты вьешься, что ты вьешься.
Черный ворон, надо мной.»
Народная песня

Народная песня

Ворон нахохлился (луноно... морозноно...) Словно под шубой ссутулился Грозный. Вот он прислушался к посвисту ветра: — — Гойда! Опричника бродит по свету!

**Ворон, она возвращаться не хочет,
Стали светлее и темные ночи.
Будет! Прошли твои черные лета,
Каркай не каркай, а песенка спета!**

☆☆☆

Я близорук и, как это ни странно,
Не надеваю никогда очки:
Все женщины прекрасны, даль туманна,
Углы, изломы, линии мягки.

Размывы спектра, чудные смещения
Предметов и явлений... взор лучист!
Я от рождения в мироощущенье
Неисправимый импрессионист.

...Физический дается недостаток
Порою, как закваска иль задаток...

☆☆☆

Каленой сталью стымет горизонт,
Снега осели — им не ждать спасенья,
Стустился воздух — здесь проходит фронт
Высокого и низкого давления.

Циклон принес упругих ветров ком,
И, океанской силой негодуя,
Он, плотно упираясь в небо лбом,
Ночами на рассвет упрямо дует.
Не оттого ль такая злость в крови
И ловит грудь побольше кислорода?
И драки хочется, борьбы, а не любви:
Весна такая — вся мужского рода.



Дмитрий
ФИЛИМОНОВ

Женщина

У женщины этой трехлетняя дочь,
потомственный пьяница-муж,
квартира без ванной, но с видом на ночь
и переселение душ.
У женщины этой — костюм и пальто,
две юбки и пара сапог,
и стол на работе, и верные сто
плюс премия, минус налог.
У женщины этой — большой магазин,
где в каждом отделе с хвоста
она продвигается мимо витрин,
как будто в святые места.
У женщины этой сияет в углу
намазанный счастьем экран,
и колетса вечер носком об иглу,
а нитка уходит в туман...
У женщины этой напротив окна
любительский фотопортрет,
на нем — грациозна, смешлива, нежна —
девчонка шестнадцати лет.

☆☆☆

Я любил бы тебя, как никто никогда...
Я бы... если бы... я бы... не зря бы...
Но с дурацким усердием уходят года
и приходят ненужные бабы.

А с тобой как назло — ничего и нигде.
Только вздох: когда бы... светло бы...
Я любил бы, я плыл бы по чистой воде,
да вокруг — все сугробы, сугробы.

Песенка о тайне

У человека тайна есть,
не надо в эту тайну лезть.
Желает неслучайно
остаться тайной тайна.
Не жаль, когда и там и тут
про жизнь твою базар ведут,
но только бы детали
в углах не смаковали.
И тайна селится в душе
на самом верхнем этаже,
где нет чужого взгляда,
а в душу лезть не надо.

☆☆☆

Хорошо иметь машину,
на машине развезжать,
и галантного мужчину
из себя изображать.
Раз в неделю образину
из начальствующих сфер
довести до магазина
или бани, например.
И красавиц, и попроче —
милых, нежных, всех подряд —
развозить по разным рощам,
если только захотят.
На завистливые лица
снисходительно смотреть,
и в автобус не ломаться,
и в трамвае не потеть.
Не стоять — сидеть на каждом
перекрестке городка
и смотреть на пешех граждан
снизу, то есть — свысока!

☆☆☆

Можно пальцем писать на стекле,
если окна судьбы запотели,
если ходят часы по стене,
отмеряя шагами потери.
Можно пальцем писать на стекле
и сквозь буквы прозрачного слова
вдруг увидеть себя на земле,
но себя не такого... иного.
На стекле можно пальцем писать
о любви, о свободе, как будто
влажной дымкой минут через пять
не затянют прозрачные буквы.

Во мгле

Я сегодня думал о тебе,
и ничуть не меньше, чем вчера.
О любви я думал, о судьбе
и о том, что прочее — мур.
Думал я еще, что нас во мгле
Связывает тоненькая нить,
и о том, зачем все это мне,
думал я, пытался объяснить.
Но из дум не вышло ничего.
И тогда у сердца я спросил,
почему оно обречено
на любовь, которой не просил?
Рванный ритм услышал я в ответ
и туман увидел впереди.
И теперь, чтоб вырваться на свет,
сквозь туман придется мне идти.
Как сильны туманы на земле!
Как близка печаль к сверлу, к ножу...
Я не вправе требовать, но мне
можно попросить. И я прошу:
«Господи, позволь мне сохранять,
не порвать неискренностью фраз
тоненькую трепетную нить,
призрачно связующую нас».

г. Ленинград

Мария ПРИЛЕЖАЕВА

СЛЫШАТЬ НАРОД

Этот год — особенный. Июньский Пленум ЦК, начертавший коренные задачи революционной перестройки всех сфер общества, 70-летие Октября, 65-летие создания СССР — все это ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ!

Счастье молодым, кто будет осуществлять идеалы революции, продолжать дело Октября, дело Ленина. Счастье старикам, дожившим до большого, скажу сильнее, великого времени.

Я старая писательница, позади десятилетия. Судьба подарила мне и этот год. Многие помнятся. Хочется некоторыми воспоминаниями поделиться с юношами, поразмышлять о нынешних днях.

Работать над Ленинской темой я начала с 1953 года. Мне посчастливилось: оставались еще в живых вернейшие друзья Владимира Ильича, любимые, талантливые помощники. С некоторыми из них — Кржижановским, Фотиевой — я встречалась. Встречи не давались сами собой, я их искала. Каждый раз волновалась до страха.

Недаром народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Встречи с близкими Ленину людьми открывали мне его — Человека.

Конечно, прежде всего, ценнее всего для Владимира Ильича в товарище была непоколебимая революционность, но особенно любил он талантливых, умных, душевных и, как мне кажется, художественных людей. Кажется? Нет! Надежда Константиновна рассказывает, как глубоко Ленин знал Пушкина, Толстого, отечественную и зарубежную классику. Книжки, именно художественные, с детства — праздник и труд его души. А как чувствовал музыку! Лучшая комната в скромной кремлевской квартире отведена была Марии Ильиничне. Комнату украшал рояль — любимый предмет всей семьи. И когда изредка выпадал в доме свободный час, Маняша, сестра Владимира Ильича, открывала крышку рояля.

Это из рассказов Лидии Александровны Фотиевой.

Дружеские отношения Ленина с Лидией Александровной сложились, конечно, прежде всего на почве партийной работы. С 1918 по 1924 год, все знают, Фотиева работала секретарем Совнаркома и личным секретарем Ленина. В беседе со мной Лидия Александровна рассказала эпизод, насколько я знаю, нигде не записанный.

Отбыв срок заключения в Пермской тюрьме, Лидия Александровна при помощи друзей-революционеров эмигрировала за границу. 1904 год. Женева. Здесь много русских эмигрантов. Двадцатитрехлетняя Лидия Александровна Фотиева, страстно убежденная марксистка, по натуре общительная, быстро находит друзей среди единомышленников. В то время эмигранты, супруги Лепешинские, держали для русских политических домашних столовую, одновременно клуб — небольшая библиотечка, газеты, шахматы, взятое напрокат пианино, за которое при каждом удобном случае усаживали Лидию Александровну. Она с радостью играла.

Однажды неожиданно пришел вернувшийся из поездки Владимир Ильич, застал ее за игрой и буквально замер на месте. Лидия Александровна увидела человека, потрясенного музыкой! Глаза сияют. Лицо светится восторгом и счастьем.

— Слышал, вы покинули консерваторию, не окончив курса. Почему?

— Хочу посвятить себя революционной работе.

— Отлично! Но разве, вы думаете, народу, когда мы совершим революцию, не нужна будет музыка? Напротив! Сто раз напротив.

Разве не знала Лидия Александровна мысли, планы, ученье Ленина? Что революция для народа, все блага мира для народа, искусство для народа?! Слышала. А сейчас, глядя в сияющие глаза Ленини, услышала его слова заново, сердцем.

Она подружилась с Надеждой Константиновной. Вместе работали, изо дня в день вели конспиративную переписку с большевистскими комитетами России. Ленину шли письма, десятки, сотни. Каждое нужно разобрать, проявить, расшифровать. Затем на каждое ответить, так же зашифрованно, химическим способом внося секретные строки, между обычными фразами. Переписка Ленина с российскими большевиками — подпольщиками воспитывала, сплачивала коммунистов вокруг Ленина. Письма из России шли, шли...

Если в эмиграции Фотиева работала порой до изнеможения, то уж на Родине после революции тем паче. Случалось, и часто, рабочий день оканчивался за полночь, трамваи уже не ходили. И все же занятия музыкой продолжала.

— Вы молодые, — говорит мне Лидия Александровна (в ту пору я уже шагнула в пятьдесят, но ей казалась молодой), — вот вы, молодые, — говорит, — начинаете день физзарядкой, а я, раньше, чем идти в Совнарком, непременно хоть полчаса поиграю. Моя физзарядка.

— Владимир Ильич вашу утреннюю музыку слышал?

— Если окно или форточка открыты.

— И что?

— Ничего. Кажется, нравилось.

Она засмеялась. Но тут же сомкнула губы, погасила свет глаз. Пожилая, худощавая, очень прямая, она показалась мне на первый взгляд суховатой. Первый взгляд был ошибочен.

Не случайно именно теперь я вспомнила Лидию Александровну Фотиеву. В сердце живы рассказанные ею дни, месяцы, как будто пережитые мною самой.

27 марта 1922 года открылся XI съезд РКП(б). Владимир Ильич произносит речь полную жгуче острых, неотложно практических планов строительства молодого советского общества. Огромное большинство за Ленина.

Велик его многолетний вдохновенный труд над теоретической разработкой и практической подготовкой создания РСФСР, через пять лет — СССР. Дорого стоило Ленину рождение нашей новой Советской Отчизны!

23—27 мая, то есть через два месяца после съезда РКП(б), Владимира Ильича поражает первый приступ болезни — частичный паралич правой руки и ноги. Дала о себе знать едва ли не круглосуточная работа, борьба с противниками, изнуряющие волнения, недомогания, бессонница, а еще операция — извлечение одной отравленной пули, вторую изъять не удастся.

Владимир Ильич болен, очень болен, но чуть обозначается улучшение — весь в работе. Готовится к участию на X Всероссийском съезде Советов. Выступает на IV Конгрессе Коминтерна.

И... сиова болезнь. Резкое ухудшение.

Ни жалобы, ни стоны, ни уныния во взгляде. Напротив, бодр... Близкие понимают: внешняя трудно дающаяся бодрость — для оберегания их покоя. Но Владимир Ильич слишком трезво понимает серьезность болезни. Необходимо оставить завещание партии. Как жить, работать, крепить социализм.

В том 1922 году Сталин избирается генеральным секретарем ЦК партии. В его обязанности, кроме всего, входит наблюдение за лечебным режимом Ленина. Через шесть дней после принятого решения в руках личного секретаря Ленина письмо-приказ.

1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5—10 минут, но это не должно носить характера переписки и на эти записки Владимир Ильич не должен ожидать ответа. Свидания запрещаются.

2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений» 24 декабря 22 года.

Лидия Александровна не считала себя человеком излишне чувствительным. При своей музыкальности, литературных влечениях, держалась сугубо сдержанно, исключительно деловито, а тут ее до бессилия сразило отчаяние. Каким бессовестным тоном ему, Владимиру Ильичу, приказывают: «Свидания запрещаются!»

Сегодня Лидия Александровна промолчит об убийшем ее письме, а через 10 дней, 4 января 1923 года, под диктовку Владимира Ильича напишет в «Письме к съезду»: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека».

Не общаться с товарищами, не вникать в политическую жизнь партии и страны для человека гениального интеллекта, страстной умственной и общественной деятельности — жесточайшая казнь. Такой казни возманились подвергнуть Ленина. Конечно, Владимир Ильич не подумал подчиниться «заботе» Сталина.

Революционные мысли пылали в его могуче ясной, молодой голове... Врачи деликатно, но настойчиво внушали Владимиру Ильичу, — диктовка должна вестись весьма ограниченно по времени. Без нее Владимиру Ильичу нельзя, они понимали.

И вот наступает торжественный день 30 декабря 1922 года.

В Большом театре Москвы открывается Первый съезд Советов СССР. В зале делегаты из всех ближних и дальних республик и краев государства. Со сцены на весь огромный зал раздаются величественные слова Декларации, объявившей создание небывалого по организации, устройству, законам, задачам, идеалам, народным интересам государства — СССР.

Душу Лидии Александровны полнят счастье, горечь, смятение. Как жаль, что его нет на съезде.

Она слушает речи делегатов, а в душе звучит его единственный голос «...Мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия... стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как «полячишкой», как татарина не высмеивают иначе, как «князь», украинца иначе, как «хохол», грузина и других кавказских инородцев, — как «кавказский человек». ...Нужно возместить... по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной нации»...

И слышит Лидия Александровна тихое, Надино: — Володя, ты очень русский и очень интернациональный человек. Первый учитель твой — кланяюсь ему

и весь наш народ всегда будет кланяться — твой отец Илья Николаевич Ульянов. Просвещеннейший русский педагог, интернационалист, в безграмотной Симбирской губернии, воюя с чиновничьим мракобесием, открывал впервые школы для чувашских и татарских детей.

Владимир Ильич молчит. Ему нельзя много говорить. Говорят глаза: — Как важно, как нужно, что делает партия и как долго еще надо делать!

Этот вечер, 30 декабря 1922 года, большой праздник в кремлевской квартире Ульяновых.

Большой. Тихий.

Мария Ильинична за роялем. Двери распахнуты, в комнату Владимира Ильича вливаются звуки: любимая Владимиром Ильичем Патетическая соната Бетховена.

Я вспоминаю, размышляю о сегодняшних днях, рисую в мыслях будущее, а передо мною на столе только что прочитанная книга дагестанского писателя Магомеда-Расула «Отец пророка». Как согласно она со мной говорит, отвечает моим мыслям о Ленине и созданном им!

Магомед-Расул еще молодой, но известный не только в Дагестане писатель. Я рада рассказать читателям «Юности» о моем давнем знакомстве с интересным творчеством Магомеда-Расула, ведь его судьба и судьба его Дагестана — пример осуществления ленинского великого плана создания нашей многонациональной республики.

Мне хочется рассказать о новой книге Магомеда-Расула на страницах журнала «Юность» потому, что 16 лет назад именно в «Юности» была впервые опубликована на русском языке его повесть «Дикарка».

Повесть талантлива.

За последние пятнадцать лет я ближе узнала ее автора, побывала в Дагестане.

Знаменитый дагестанский поэт Расул Гамзатов говорит: «Казалось бы, Дагестан — один-единственный для всех дагестанцев. И все-таки у каждого дагестанца он свой. И у меня есть свой собственный Дагестан. Из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и даже из эха в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан».

До революции народ Дагестана был неграмотным. И после революции, конечно, грамоту освоил не в день. Нужно было создать условия. Расул Гамзатов пишет: «В 1921 году после беседы с дагестанской делегацией Ленин послал в страну гор три самые необходимые для нее вещи: хлеб, материю, типографский шрифт. У Дагестана был конь и жнжал. Ленин вместе с хлебом дал ему книгу».

В республике возникла и растет своя художественная литература на восьми языках: аварском, лезгинском, даргинском, лакском, кумыкском, табасаранском, татском, ногайском...

Талантливый лакский писатель Эффенди Капиев, детство которого в силу обстоятельств протекало в России, вообще пишет о родном Дагестане на русском языке. Дагестайцы говорят: «У нас две книги, которым не суждено постареть: «Мой Дагестан» Расула Гамзатова и «Поэт» Эффенди Капиева».

Я знаю книги трех выдающихся писателей многоязычного Дагестана: аварского — Расула Гамзатова, лезгинского — Сулеймана Стальского, лакского — Эффенди Капиева. Позднее удалось познакомиться не только с книгами, но и лично с даргинским прозаиком, критиком и литературоведом Магомедом-Расулом Расуловым.

Магомед-Расул вступил в юбилейный возраст, к счастью, еще молодой, обещающий многие годы творчества впереди. В этой связи мне вспоминается, вернее, не забывается один случай из собственной жизни. Заказали статью к юбилею одного неплохого, но довольно обыкновенного писателя. Пишу: то — хорошо, то — не совсем, то — даже плохо, а в общем — литературная работа товарища достойна поддержки. До сих пор помню уничтожающий возглас редактора:

«Вы с неба свалились? Разве так пишутся юбилейные статьи? При чем тут замечания?»

Мне дан был урок. Виню себя за послушание: после немало написано мною юбилейных статей, немало излито восторгов! А уж если промолвить вполголоса о том, что тебе кажется «не совсем» — с реверансами!

Пусть не удивляется и не гневается на меня Магомед-Расул, в своем коротеньком произведении — не знаю, как определить жанр — статья, очерк, размышления, — хочу нарушить почти общепринятый порядок не говорить в юбилейные даты о недостатках, пробормотав как бы втихомолку, под занавес. Я с них начинаю.

Роман «Отец пророка» — значительное литературное произведение. Я понимаю художественную и идейную ценность романа, но и недостатки его мне ясны. Название «Отец пророка» интригует, даже заставляет, но мало оправдывает развитие действия. Роман преувеличенно длинен. Есть хорошие сцены, но есть и лишние. Есть главы, которые читаются как самостоятельные новеллы, уводят от главной темы, затягивая развитие действия.

Роман написан Магомедом-Расулом на родном даргинском языке, и им самим переведен на русский. Писатель-даргинец знает и чувствует русский язык. Но иногда встречается неподходящее слово, фраза, абзац.

Я обрадованно удивилась тому, что молодой писатель так пристально знает Толстого, гений которого пленил его еще в детстве.

Роман Магомед-Расула будет издаваться не раз, но не следует считать работу над книгой законченной. Строго требовательный к себе, Магомед-Расул это хорошо понимает. И случай в нашей среде почти небывалый — когда роман выдвигают на Государственную премию РСФСР, автор снимает свою кандидатуру, считая необходимым продолжать над произведением работу. Неустанный читатель и почитатель Толстого, Магомед-Расул усваивает мудрую мысль гения о «текучести человека»: меняются вкусы, привычки, взгляды, сам человек, его поведение и даже душевный склад. Магомед-Расул следует мысли Толстого: «текучесть человека» мы наблюдаем в его героях. Люди в романе неидеотипны, судьбы их сложны, поступки невыдуманны, характеры живы, порою изменчивы. Слово Достоевского: «Жизнь куда богаче всех наших выдумок! Никакое воображение не придумает того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизни!» — звучат как бы эпиграфом к творчеству Магомед-Расула, в частности к роману «Отец пророка».

Действие происходит в высокогорном ауле кузнецов Лачине. Сам в детстве и отрочестве златокузнец, писатель с богатством деталей быта, правдой душевной жизни и поведения героев описывает обстановку аула, читатель, безусловно, верит происходящему. А происходит многое. Судьбы разные, сложные, порою трагичные.

...Быт и психология горцев богаты красивыми национальными обычаями. Иные исполняются по сию пору, крася жизнь. Мне рассказывали: если на узкой горной тропе конный всадник встречает пешую женщину любого возраста, слезает с коня, и, стоя, почтительно выжидает, пока она минует его. Если в саклю входит женщина и застает сидящего мужчину, он поднимается и не займет место, пока она не сядет.

Обычай, хранящие память о предках, об истории родины, дороги нам сейчас, будут дороги всегда. Но не все в старинных обычаях хорошо. Так, девушка Малакай стала жертвой опасного обычая. Предельно развитое чувство чести иногда понимается ложно. Влюбленный в Малакай одноаулец из легкомысленного молодечества срывает при народе с головы девушки платок, что считается поруганием чести. Оскорбленная Малакай, не помня себя, безрассудно вонзает в парня кинжал. Убивает его, убивает свое несбывшееся счастье.

Отбыв восьмилетнее наказание, Малакай возвращается, красивая, несломленная. Иступленно, стра-

стно мечтает она о ребенке. Может быть, это черта индивидуального характера, может быть, традиция «Воспитания; веками горянке внушали: твое жизненное назначение — материнство и семья.

Родилась дочь. Весь аул презирует безмужнюю мать, грозит с позором изгнать незаконнорожденную дочь. Мать из страха за дочь согласилась на шариятский, стыдный обряд, наследие прошлого. «Масандил разводится с женой по шарияту, чтобы на одни сутки стать мужем Малакай, после чего позор как бы сам собой смылся. Стать женой на сутки, чтобы смыть с себя позор? И смывается ли так?» — подавляя рыдания, спрашивает себя Малакай. Но является мулла в белой чалме, и шариятский брак совершается.

Жестокая гневная сцена!

Задача нынешней перестройки заложеного Лениным социалистического общества и состоит в том, чтобы, добиваясь революционных изменений во всех областях промышленно-экономической, сельскохозяйственной, научной деятельности, не ослаблять борьбы с отжившими обычаями, то есть бороться за свободу и богатство человеческой души.

«Текучесть человека» писатель видит в отдельных людях и в людском коллективе аулчан.

Роман Магомед-Расула многотемен и многопланов — о творчестве, любви, дружбе, о национальных извечных чертах и свойствах народа, общечеловеческих чувствах, чести, достоинстве, о враждебном и злом, о любви к Родине, об отцовстве.

Наша многонациональная советская литература богата талантами. Советскими писателями за семьдесят лет немало создано книг-вершин. Но есть, на мой взгляд, распространенный недостаток в художественной литературе для взрослых читателей (не говоря уже о детской — то особая статья) — она, взрослая, бездетна, во всяком случае, мало, очень мало-детна. По пальцам перечесть произведения — десятка хватит, — где бы полнокровно, убедительно, без педагогических натяжек рисовалась бы семья, как она существует в жизни — хорошая ли, плохая. К таким редким произведениям относится роман Магомед-Расула «Отец пророка».

Магомед-Расул сам по рождению и юношеской профессии златокузнец. Едва ли не первым он изображает то, что позднее в процессе перестройки нашего общества будет узаконено партией и правительством. В сущности, герой «Отца пророка» создает «семейный подряд»: сначала жена его делит его труд за верстаком, потом сын Султан сменяет ее, дальше присоединяется второй, младший сын, и не дает Масадину угаснуть делу своего и многих других аулов. Но возникают препятствия...

Угасает творчество, пустеет аул, тоскуют старики мастера, чувствуя надвигающуюся свою «ненужность». Масандил посылает гневно-протестующее письмо в министерство. Приходит отказ.

Масадин отправляется в путь — в районный центр, столицу Дагестана — Махачкалу, выше. Аулчане провозжат его, надеясь, сомневаясь, веря и не веря в успех.

Масадин шагает и шагает каменистыми горными тропами. Горячая мечта окрыляет его. «Почему нельзя открыть артель или мастерскую по изготовлению редких инструментов, сложных деталей?» Вернутся домой в дедовские горные сакли мастера, оживут аулы, закипит в кузнях работа, воскреснет искусство.

Писатель Магомед-Расул услышал эти окрыляющие рабочих-мастеров мысли и предвосхитил сегодняшнее время.

Так гражданственно мыслящий писатель одарен даром видеть и слышать народ.



Заканчивается 1987 г.

За двенадцать месяцев мы собирались
одиннадцать раз.
Красота счета нарушена тем,
что в четвертом номере журнала
«20-комнаты» не было.

Её отсутствие было вами замечено,
и поток негодующих писем
стал лучшим свидетельством
признания нашей рубрики. Спасибо.

Среди наших публикаций
что-то вам нравилось больше,
что-то меньше,
но ни одна статья, заметка, реплика
не остались без внимания.

На этом заседании
мы возвращаемся к тем материалам,
которые вызвали наиболее интересные отзывы.
Статьей «Где мои двенадцать лет?»

продолжаем разговор о судьбах
молодых литераторов.

На восьмом заседании о школе
говорили школьники.

Теперь высказывается учитель.

«Обязательно сходите на Арбат» —
так говорят сейчас москвичи.

Четвертая глава Исповеди поколения
посвящена
любви.



Ах, Арбат,
мой Арбат...

Нужен? Не нужен? Какой нужен? А зачем, собственно? — очень много вопросов возникает, стоит лишь произнести магическое слово «Арбат».

Мы отыскиали на Арбате десять человек, которые пришли сюда не как глазеющие по сторонам гости, а как хозяева, готовые этим гостям отдать самое лучшее, что у них есть (другой вопрос, действительно ли «лучшее» — это лучшее?), и задали им три вопроса:

1. Зачем Вы приходите на Арбат?
2. Арбат сегодня — это идеально?
3. Если бы Арбата не существовало, нашли бы Вы подобное ему место?

АНЯ ЗАВЬЯЛОВА (Художественное училище, III курс):

— «На Арбат я прихожу порисовать. Здесь всегда очень интересно: разные люди, разные лица. Если Арбат закроют, это будет очень плохо».

СЕРГЕЙ:

— «Я в Строгановке учился. А Арбат? Другой формы нет, приходится мириться... Да, понимаете, много случайных людей. Ну, а в общем-то вполне нормальное место, чтобы люди отдыхали. Побольше бы таких!»

Если не Арбат... Измайловский парк, наверно, и все*...

АЛЬБЕРТ ЛАВРЕНЕНКО: (брейкер)

— «На арбате мне нравится. Не случайно. Только вот милиция не всегда разрешает танцевать брейк, хотя я его спокойно танцую и в барах, клубах, кафе*...

АРСЕН: (студент, художественное училище)

— «На Арбате я второй раз и мне не все здесь нравится, много ненастоящего, вы меня извините... Во-первых, не тот уровень и, во-вторых, все делается ради денег. Просто неприятно работать, хотя необходимо: студент, семейный... И в этом смысле студентам здесь созданы условия: практика и возможность подзаработать.

Я сам из Харькова, у нас есть место, аналогичное Арбату, специально устроенное, но нам там разрешают рисовать только по воскресеньям».



ТАТЬЯНА ИВАНОВА: (художница)

— «На Арбате мне очень нравится, но сегодняшнему Арбату не хватает площади. И еще, может быть, каких-то официальных увеселительных мероприятий, чтобы более организовывать народ.

Если Арбата не станет, вряд ли можно будет найти ему эквивалент»...

ТИМУР БОНДАРЕНКО, РУСЛАН ГАССЕЛИН, ВАДИМ БФРЕМОВ:

(Второе Московское областное музыкальное училище)

— «На Арбате мы бываем часто, играем. В общем, нам здесь нравится, вот только с органами недоразумения...

А подобное Арбату найти трудно. Здесь какой-то идеальный вариант для всех, чтобы могли собраться различные группы и помузыцировать в свободной обстановке»...

АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ: (Музыкальное училище им. Гнесиных, эстрадное отделение, IV курс)

— «Когда прохожу мимо, всегда заглядываю на Арбат, играю здесь недавно, очень нравится. Недостатки? Вы знаете, не задумывался»...

ОЛЕГ ПОТОЦКИЙ: (Руководитель театра-студии «Поэтоград»)

— «На Арбат прихожу каждую субботу и воскресенье. Зачем? Во-первых, меня не печатают... А во-вторых, без общения с людьми ничего не напишешь. Это главное. А Арбат — это великая штука.

Арбат — не идеальная, но хорошая форма. Он будет развиваться, изменяться. Хорошо, что нет ничего «идеального», потому что там, где оно есть, нет ни поэзии, ни жизни.

В нашей студии занимаются все ГИТУшники, которые пишут стихи. Мы ставим спектакли о поэтах. Сейчас играем спектакль о Пушкине, начинаем репетировать постановку о Высоцком. О его борьбе. Представляете, он должен был играть Пугачева, а какой-то чиновник запретил! Сказал: «Нет». Так вот я думаю, что пришло такое время, когда такому чиновнику могут сказать «Нет!». И в первую очередь это могут сказать на Арбате. Вот поэтому я сюда прихожу».

Надо сказать, что интервью брались до известного постановления Моссовета. Сегодня на Арбате не танцуют, не поют, не читают стихи...

*Расспрашивала прохожих, художников и поэтов
Вероника МАРЧЕНКО*



ВЕРТЕП

Летом этого года в многоголосии Арбата заметно выделялись еще не окрепшие, но полные задора и самоуверенности молодые голоса поэт-группы «Вертеп». Это шокирующее многих название — такой же эпатаж, каким была в свое время желтая блуза Маяковского. От «Пощечины общественному вкусу» Маяковский поднялся к вершинам русской поэзии. Каким будет их путь? Посмотрим. А пока в своем манифесте они заявляют: «Вертеп» накормит всех голодных любителей поэзии! И свои выступления они начинают скандированием «Гимна»:

Смелее, поэт, задави графомана,
Пусть ищет себе другую работу.
Будь, как стихами, эпохой пьяным,
Чтоб вирши твои не тянули на рвоту.
Новое время — новые люди!
Свежие мысли — свежие чувства!
Каким захотим мы, таким и будет
Новое, свежее, наше искусство!

Геннадий АЛЕХИН

Когда над нами ночь заголосила
На все свои безумные лады,
И ты, прижав к груди цветы,
Дала себя испить, и, опьянившись силой
Любви нашей, в грех вошли чисты,
Какой ты в этот миг была красивой!

Андрей КУЗНЕЦОВ

Зимнее

Мы сонною вьюгой
Оставим друг друга.
Нас будут по кругу
Водить года
Похожие,
Словно ночные
Прохожие,
Звать настороженно
В никуда.
Не знаю,
Тебя запомнить сумею ль?
Не знаю, посмею ль
Сложить другим

Фото Юрия Садовникова



Песни,
шагнувшие
В область минувших,
Словно уснувших
Синих зим.

Анатолий ОСМОЛОВСКИЙ

Городские пляжники,
вынырнув из своих костяных одежд,
спешаще выделявая павлиньи па
на галечном лезвии побережья,
ковыляют к ласкающе-лучистым морским
волнам

с липкой просьбой одеть
их беззащитное розовое тело
в голубую прозрачную и легкую ткань
морской одежды,
сшитую нитями волн
и умелыми руками морского прибора...
А после,
совершив обязательный обряд омовения,
распятие солнечными гвоздями,
постепенно сливаясь с галькой
однообразным розово-коричневым студнем,
засыпают...
И просыпаются в поезде Сухуми—Москва...

Лариса ТУМАШЕВА

Бьется жилка у виска,
Я не знаю, что сказать,
Я не знаю, что решить:
То ли детство хоронить,
То ли к милому спешить.
То ли голубя поймать,
К сердцу перышко прижать...

Александр КОСАРЕВ

Глагол
гол.
Им не закроешь листа,
Как не закроют моста
голые ветки куста.
Глагольная рифма слаба,
но впереди борьба
со строптивым стихом
и навязчивым сном.
А прилагательных ряд
притягивает взгляд.
А существительное —
успокоительное,
как компресс.
А у меня — стресс,

от разболевшегося стиха,
в котором рифма глуха,
как голос охрипшего петуха.
Слова разбежались, как стадо баранов
от заснувшего пастуха.
Под грохот барабанов
стою на казни стиха.
И вот затихает стук
словечек-сердец,
последний звук
и... конец.

Максим ЖДАНОВСКИХ

Ночь

Раздави меня, ночь!
Забросай меня звездными гроздьями!
Я бесценный подарок
От тебя, словно чудо, приму!
Мне никак не уснуть,
Оттого что слепыми полозьями
Раздавили собаку на белом хрустящем снегу...

Михаил КУЗНЕЦОВ

Клятва гладиатора

Перед богом моим я клянусь умереть на арене
Под восторженный гул опьяневшей от крови толпы.
А когда по лицу разбегутся посмертные тени,
Пусть к воротам Судьбы мое тело протащат рабы.

Но когда роковая змея проскользнет под забрало,
Потемнеет в глазах, и в агонии цирк задрожит,
Я, за небо руками цепляясь, осяду устало.
И, клянусь, буду вечно секундою жить.

Александр МИХАЙЛЮК

Ю. Г.

А на что мне весна,
а на что мне цветы,
если тайна ясна,
если нет красоты.

А к чему я живу,
если эти цветы
вижу я наяву,
но не видишь их ты.

Где мои двенадцать лет?



Марафон мнений:

«Поэт в провинции, если он не желает оставаться шутком, читая стихи между танцами и буфетом, обречен на фатальное одиночество... Почему новыми течениями музыки, литературы, изобразительного и театрального искусства у нас занимаются правоохранительные и следственные органы? Да потому, что дурак-бюрократ спустил директиву, что это антисоветизм. Это что же, Высоцкий был антисоветчиком?»

г. Воронеж. В. Вуколов, рабочий.

«Есть предложение: нужно создать Независимый Творческий Союз Молодежи. Независимый, со своим издательством. Возьмешься? Тогда я протрублю сбор по стране. И мои друзья явятся на зов, и ни один из них бездельничать не будет».

г. Красноярск. Э. Ахатов.

«Талант пробьет себе дорогу лбом, упорством, личной драмой или трагедией. Но это уже не личное дело. Будет ущербное поколение. И оно есть».

г. Ленинград. М. Савченко.

«Я пытался втянуть в обсуждение статьи А. Еременко некоторых работников издательств и газет. Осторожное молчание, смущенное опускание глаз. Вероятно, ждут, как на это отреагируют сверху. Вот удобная позиция для тех, кто привык идти строем, все равно с каким отрядом и под каким знаменем».

г. Минск. В. Волков.

«Предлагаю: книги молодых должны редактировать пишущие молодые. Сегодня опытному редактору необходим ассистент: существует разница поколений, восприятие меняется, поэтический вкус замерзает...»

г. Ленинград. Л. Володимирова.

«В литературе полным ходом разворачивается борьба за перестройку, и без своего журнала мы в этой борьбе — зрители».

г. Вильнюс. Э. Гер.

Поэт Александр Еременко, выступивший в № 3 «Юности» со статьей «Двенадцать лет в литературе», навлек на себя каскад противоборствующих суждений. С одной стороны, жалящих, с другой — защищающих. Этот «гордиев узел» можно либо распутать, либо разрубить... 20-я комната попытается его распутать.

Версия первая

В 1984 году мурманские издатели включили рукопись моих стихов «Гуслинка» в кассетное издание «Прибой». Те стихи, что рекомендовал издать Евгений Евтушенко, выбросили из рукописи. «Евтушенко может рекомендовать, а издавать мне!» — так сказал редактор Мурманского книжного издательства Александр Борисович Тимофеев. Какие стихи выбросил издатель? Разумеется, самые сильные, с острыми углами. Вместо книги издали поэтическую тетрадь, которая лишила меня серьезной встречи с читателем. Имя мое попало в лапы местной дешевой спекуляции. Доморощенные «профессионалы» стали учить меня, как из трех стихотворений делать одно, из одного — три, как писать стихи-паровозы, как застольничать с издателями. А мой характер такой: я лстыиво изгибаться не могу, поэзию с застольем никогда не совмещал, рукописи издателю домой не носил.

Не ошибся ли во мне Евгений Евтушенко? Но не только он поддержал меня: Владимир Савельев на страницах альманаха «Поэзия» сказал в мой адрес добрые слова, Михаил Дудин рекомендовал мои стихи в «Неву» и «Аврору», Станислав Куняев со своей рекомендацией послал мои стихи в «Север»... Ответственный секретарь Мурманской писательской организации учил меня: «Напиши Евгению Юрьевичу Сидорову, сошлись на искалеченную жизнь, невзгоды, туберкулез, нищету, проси отрецензировать рукописи! В Госкомиздат не жалуйся — издатели сыщут нанятого рецензента, похоронят рукопись, сам понимаешь, стихи ты пишешь тяжелые!»

Прохоровка, поле Куликово,
Сельсоветы, древний монастырь,

Рисунки М. Златковского

Обелск, сарайчик пустяковый,
Памятники, площади, пустырь —
Это все, чем я неизлечимо
Болен так, что не простят мой грех,
Грех бродяги — нет почетней чина
Для моих владык — дорожных вех.

Дело дошло до того, что я за своей спиной слышу: «Галюдкин — поэт не от мира сего, у него в квартире нету даже штор на карнизах, родился и вырос в Мурманске, а до сих пор не имеет полярных надбавок». Какой-то литературный словоблуд пустил сплетню, что якобы местные издатели мою рукопись посылали на экспертизу в институт Сербского! Так вокруг моего имени выстроили забор: дурачок — и все! К этому добавлю, что, когда умерла моя мама, не было у меня денег даже на похороны, маму хоронили литераторы, сообщая собрав деньги, чем меня позднее упрекнули. Стал я седым и не по годам старым. Прошел мимо совещаний и семинаров, к которым меня не допустили. Миновало меня и известное постановление о работе с творческой молодежью. Только несколько теплых пожелтевших писем Евгения Евтушенко, Михаила Дудина, Валентина Распутина иногда еще согревают мое существование. И я спрашиваю: не многовато ли для мурманских издателей — рекомендация от поэта с мировым именем, рекомендация местных писателей, публикации в центральной печати? Что им нужно еще для издания книги моих стихов? Чтобы я прогнулся, грузил для них мебель, говорил зазданные тосты, стал «своим» человеком — и тогда все будет в порядке?

Василий ГАЛЮДКИН, г. Мурманск.

Чиновники от литературы словно грибы-трутовики к столбу и не относятся, а вместе с тем, прикипев, составляют с ним единое целое и соки сосут. Не думал — не гадал Осип Эмильевич Мандельштам, находившийся в то время в Воронеже, что его знаменитую фразу, адресованную одному надоедливому литератору, возмут как надежный щит те, против кого она и была направлена.

«Гомера тоже не печатали!»

В феврале этого года произошло неслыханное: достаю из почтового ящика конверт, а в нем — приглашение на «встречу молодых литераторов с руководящими работниками обкома КПСС». Неслыханным посчитал это событие потому, что за годы пребывания в звании молодого литератора я удостоился лишь одной официальной бумаги — приглашения на областное совещание молодых писателей. Позавидовал я участи молодых московских поэтов: с ними беседуют хоть какие-то, но редакторы, их хоть в чем-то, да обвиняют, объясняют, что не будут их печатать, потому что они — модернисты.

А у нас в Воронеже тишь и благодать. Никаких «истов» и прочих «бесчеловечных» поэтов. По отчетным данным, которые огласили на встрече, в области процветает поэтическое и прозаическое творчество. Однако последний коллективный сборник молодых поэтов увидел свет пятилетку назад, а выпуск нового постоянно откладывается. Из года в год его позицию в плане занимают чьи-то более «необходимые» книги.

Не стоит, наверное, много распространяться и о самой встрече — она прошла довольно стандартно, как официальное мероприятие по появившейся в областной газете статье о бедственном положении молодых литераторов Воронежа. Достаточно сказать, что нас (молодых) быстренько «убедили», что ребята мы, в общем, неплохие, только немного наглые, ибо печемся исключительно о «пробивании» своих стихов, зачем и пришли сюда. При этом никто и не вспомнил, что инициаторами встречи были вовсе не мы, а обком партии. И кто с кем встречался, не совсем понятно. Ведь обещанных «руководящих работников обкома КПСС» на встрече представлял лишь заведующий отделом культуры. А уж совсем не смешно — это легкость, с которой с нами разделились. Перебивая и осаживая, дали слово нескольким молодым, а потом начали выступать сами. Не буду голословен:

главный редактор Центрально-Черноземного книжного издательства В. Чекиров без обиняков заявил, что молодых действительно издают мало, так как нельзя забывать о том, что «старика» должны уйти на пенсию приличного размера. По-моему, вполне откровенная логика.

А заведующий отделом прозы журнала «Подъем» А. Новиков тоже, не стесняясь в выражениях, сказал, что молодые вообще ничего достойного не пишут. Тогда ему показали саратовский журнал «Волга», где рассказ молодого воронежского прозаика был опубликован без всяких «домогательств». Новиков твердо стоял на своем и даже призвал нас смириться с существующим положением, демагогически заявляя, что талант не нуждается в публикациях. В подтверждение своего тезиса он вытащил на свет древний провинциальный анекдот о раздосадованном безосновательными притязаниями на публикации молодого литератора Осипе Мандельштаме, в сердцах воскликнувшем: «Гомера тоже не печатали!»

Ничего себе аргументик, подумал я, и попытался вразумить оратора, что время сейчас уже не гомеровское и, слава богу, не мандельштамовское.

На последнем совещании молодых литераторов компетентное руководство рекомендовало к печати произведения некоторых из них. И что же, где эти произведения? Почему местный «аппарат» продолжает печатать, кого захочет редактор? Чьи мнения для него авторитеты?

Уже через день после ничем конкретным не закончившейся встречи я увидел новый номер «Подъема». На обложке — В. Чекиров и название его очередной повести. Иными словами, «я печатаю тебя — ты печатаешь меня». А внешне у нас все в порядке: публикации, проценты, позиции издательских планов, соотношения молодых и маститых...

В. БРЕЙТМАН, член литобъединения,
г. Воронеж.

Воронежский синдром с таким же успехом можно назвать красноярским, пермским или тамбовским. Преподаватель Верхнеспасской школы Евгений Степанов пишет: «В областном центре выходят две газеты — «Тамбовская правда» и «Комсомольское знамя». Кого можно прочитать в этих изданиях? Прежде всего членов СП СССР С. Милосердова, И. Кучина, редактора Тамбовского отделения Центрально-Черноземного книжного издательства В. Дорожкину. А, скажем, стихи Марины Кудимовой — «нового русского поэта», по выражению Е. Евтушенко, — я видел в тамбовской прессе за последние пять лет лишь дважды. Не говорю уже про других, менее известных «молодых» литераторов. Почти все мои знакомые из столичных лито уже обнародовали свои работы. А участники студии «Слово», которую я посещаю уже шестой год, вряд ли вообще когда-нибудь выйдут к всесоюзному читателю. У москвичей — явные привилегии, у провинциалов — явные рога. Необходимо не только каждому областному, но и каждому районному центру иметь свой кооперативный журнал. Районный альманах или журнал активнее бы сотрудничал с местной газетой. Дело бы пошло».

Боль молодой литературной провинции в десятки раз острее, чем боль законодательницы моды — столицы. «Провинциальные поэты, не вознесенные волюй, чьи золотые эполеты — ладони матушки больной...», — очень верно сказал Алексей Решетов, живущий в Перми. Периферия — наиболее чуткий узел существующей системы литературного бытия.

Статья Еремеево для одних — олицетворение правды, для других — выражение личной амбициозности. Такое столкновение оценок — нормально, ибо любая мысль не может не быть исчерпывающей, любое открытие не может быть недополненным. Читатель А. Крикунов называет «Двенадцать лет в литературе» «глотком свежего воздуха после смрада». А кто-то, «логику не влезших в трамвай меняя на логику влезших», быть может, определит статью Еремеево не иначе как «Эхо мыши».

Чтобы разобраться во всем многообразии голосов, мнений, претензий, нужны мудрость, терпимость, умение понять, готовность к действию. Об этом я думал, читая в «Юности» монолог А. Еременко «Двадцать лет в литературе». Вернее, я представлял себе недоуменных молодых читателей, на чьи головы обрушивался увесистый град сведений, обвинений, проклятий из малоизвестной им сферы литературной жизни... Можно было бы оставить их наедине с этой безрадостной картиной, если бы она не являлась своего рода квинтэссенцией целого набора статей на эту же тему и той же тональности, появившихся в самое последнее время. Все сказанное в них наиболее характерно и ярко выразил Еременко. Не сомневаюсь в его искренности. Старомодный Станиславский когда-то наивно считал, что нужно все-таки любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Первое, однако, подразумевает безусловное наличие этого искусства, а второе — только наличие нашей собственной персоны. Так или иначе, но основой пафоса монолога во многом передает действительную драматическую ситуацию в современном редакционно-издательском механизме. Не понятно лишь, почему столь серьезная проблема, как будто бы безразличная для Еременко, так игриво и кокетливо преподносится им на одесском жаргоне: «я чуть под трамвай не попал», «Шура, заплатите за кефир!», «мимо денег», «с нищих, что с них сжулить?» Если это «смех сквозь слезы», то откуда у него такой специфический привкус?

Согласен, что редакционно-издательский аппарат многие годы работал на одной поточной линии, не желая пристроить к ней параллельную (или перекрестную!) — для иных, не укладывающихся в традиционные рамки эстетических направлений. Увы, эта обычная неповоротливость наша, негибкость, бесхозяйственность мешала развиваться поэзии (особенно — молодой), породила немало уродливых явлений, гипертрофированных амбиций, разбитых судеб! Разве это правильно, что подбирающийся к сорокалетию Еременко и его единомышленники все еще ходят в молодых поэтах?.. Выпусти они свои книги восемь — десять лет назад — и никакие основы поэзии или государства не рухнули бы. У них были бы свои читатели, свой собственный путь. Не сомневаюсь, что и аксиома не было бы никакого. Много легенд теряло свою привлекательность после извлечения их на всеобщее обозрение, когда о мнимых или настоящих достоинствах начинали судить не по слухам, а на основании собственного мнения! Может, потому Еременко интуитивно как бы отодвигает подобное «извлечение», лишение себя мученического ореола официального непризнания. Отсюда и «хохмочки», «эгоизм самосохранения» (Герцен) вместо настоящей боли. Одно дело заявлять: «Да я сейчас могу назвать десяток имен, которые украсят любую, повторяю, любую литературу», и совсем другое — отвечать за свои творения по самому высокому счету большой русской литературы, в которой во все времена ценилось, что писатель сделал для жизни, а не для своего самоутверждения. Ибо в последнем случае у писателя, по словам Л. Толстого: «утрачено чувство — я не могу определить это иначе, — чувство эстетического стыда». Думаю, что эта утрата неизбежно сказывается и на таланте и на всем облике писателя. Как говорится, за все нужно платить!

Ювеналов бич Еременко «со товарищи», увы, однообразно монотонен. Все претензии и требования — к другим, собою они довольны и только ждут часа, чтобы начать украшать своими творениями литературу. Досталось издательствам, досталось критикам — и поделом! И, кажется, воз с места сдвинулся. Стали появляться публикации, книги у Жданова, Парщикова, Еременко и других. Критики заговорили о «метафориках». Правда, Еременко не скрывает разочарования, что его стихи определяют как «научные», «металлические», «модернизм», «абсурдизм», «гротеск», просто «ерничество» и не применяют к ним восторженных эпитетов, следовательно, критикам за-

стилает глаза «казенщина и формализм», и, естественно, у них «снизились критерии в оценках художественного творчества». Но ведь было — и немало (или — еще хочется?) и прямо противоположных определений, оценок. Значит, все же есть прогресс? Тем более что все чаще и чаще к читателям приходят сами стихи, и главное — в них, а не в декларациях и заявлениях. Я приветствую эти публикации, хотя мое сердце не принимает такой поэзии. Видно, как для рок-музыки, брейка, тяжелого металла есть свой возраст — неустоявшийся и не подкрепленный вкусом, культурой, так и для восприятия формальной поэзии есть свои периоды жизни.

Стихи большинства так называемых «метафориков» я воспринимаю лишь как лабораторные опыты, любпытные для специалистов, «союза избранных умов» — и просто скучные для любителей поэзии. Авторы этих «опытов» интересуют только знаки, комбинация знаков, а не обозначаемые ими вещи. Знаки извлечены из словарей, из лингвистических упражнений, а корни, соединяющие их с жизнью, — обрублены и обезображены заступом эпатажа, снобизма, отвращения к реальности. За нагромождением слов, образов, понятий, как правило, ничего не стоит. Затрачивая железные усилия, чтобы преодолеть немалый лабиринт их строк, вы ожидаете прийти к новому открытию мира, а приходите к тупику. Русская литература всегда несла созидательное начало, она открывала в нас родство с целым миром, со всеми людьми. Здесь же я вижу разрушение мира, возвращение его из гармонии в состояние хаоса. «Волн визуальное эхо мыши, пришедшей из детской. Но волу иногда позволяет попробовать горло из мира, где «солпо» и «солнце» тождественны» — пишет один из тех, кому Еременко отводит роль «украшателя любой литературы». Увы, душа сопротивляется такой поэзии потому, что полностью исключена из нее. Хотя представители такого направления обычно считают всех не понимающих и не принимающих их примитивными и жалкими, не умеющими подняться до подлинных высот духа (и это при том, что на высоту вознесена Буква, а не Дух!). Один из известных наших современников, блестящий знаток Достоевского, Толстого, автор непревзойденной книги «Судьба Пушкина» — Борис Иванович Бурсов писал в связи с этим: «На деле прост не тот, кто думает, говорит или пишет, как все говорят и пишут, а тот, кто поднимает вопросы, каждому интересные, возводя их в ранг вопросов нашего бытия, однако поддающихся постижению каждого из нас». Но не опечалилась душа Еременко и его товарищей, что страшно далеки они от этих вопросов.

«А как же разговор о творчестве? О том, с чем именно молодые приходят в жизнь и литературу? Что ж, он тоже необходим. Только это совсем другой разговор, не надо их путать. Я даже рискну сказать, что это разговор менее насыщенный, — таланту нужны не подсказки, не помогут они ему, а конкретная практическая помощь» — не без цинизма пишет А. Мальгин в очередной своей статье «Прежде чем говорить о творчестве...». Такого, кажется, наша литература еще не видела! Не потому ли в телевизионной встрече молодых писателей с В. Карповым Мальгину и Парщикову, в сущности, нечего было сказать. Попытка Мальгина поговорить о распределении мест у литературного корыта прозвучала резким диссонансом с тем серьезным и глубоким разговором, который вели прозаики и поэты. Не торгуясь и не прицениваясь — «прежде чем...», они поднимали действительно более и не безразличные сердцу каждого гражданина и патриота насущные вопросы нашей жизни, нашей истории, движения нашего общества. Они говорили о том, что А. Еременко брезгливо называет элементарной «социальной рефлексией», когда «писатель занимается проблемой поворота северных рек...». Последнее звучит не только высокомерно и безнравственно, но и оскорбительно по отношению к той земле, на которой живет молодой литератор, к тем писателям, которые отдали годы и годы своей жизни, чтобы спасти лицо России от обезображения, а ее ду-

шу и тело от поругательства и вероломного насилия! Нравственно глух и духовно нищ не только тот, кто готовил подобное мелиорационное нашествие на русскую землю, но и тот, кто может говорить об этом с холодным равнодушием! И как не раздражают Еременко, по его заявлению, «держатели акций национальной идеи», но невозможно быть настоящим писателем, не проникнувшись «мыслью, болью и гордостью за историю своего народа» (Б. Бурсов)! Только истинный поэт может сказать о себе:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа...

(Пушкин) —

в ином случае можно остаться лишь эхом «мышь, пришедшей из детской»!..

Как война 1812 года, потрясшая умы всех честных людей России и воспитавшая лучшие гражданские и патриотические чувства Пушкина, декабристов, Лермонтова, так и борьба против поворота северных рек и загрязнения Байкала — не «социальная рефлексия». Это тоже событие, которое долго еще будет оказывать свое воспитательное воздействие на тысячи молодых людей!.. И для них имена Сергея Залыгина, Василия Белова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина будут звучать, как имена Дениса Давыдова, Багратиона... Они преподали всем нам урок не болтливой и высокопарной любви к Отечеству, а любви действенной, мужественной. И объединили их не «акции» какой-то идеи, а родство по общей боли за свой народ и за землю, на которой мы родились и на которой нам умирать!..

Жизнь, к счастью, мудрее многих наших умствований. Пока мы выстраиваем и навязываем ей свой сюжет, свои «повороты», она неторопливо и некрикливо идет своим руслом, движимая высшей и неотвратимой целью. Вот и снова я поражаюсь ее неопровержимой убедительности. В то же самое время, когда развешенная Еременко и его апологетами кампания по проведению в печать достигла своего апогея, в нашей периодике одно за другим стали появляться произведения, которые не одно и даже не два десятилетия шли к читателю.

Вот уж действительно в одно мгновение «золотой фонд» нашей литературы пополнился крупно и весомо! Мы не читали этого раньше, не знали, но как жаждала наша душа, наша жизнь этих произведений! Без них мы были беднее, хуже. Сколько вершин открылось, с которых увидели мы себя, свои ошибки, заблуждения, свою слабость и свою силу. Чем яснее мы увидели свое прошлое, чем глубже проникли в него, тем легче нам идти в будущее, тем чище пред ним наша Совесть!..

Когда в печать не пускают наши «упражнения» — это большое недоразумение, но когда статья Леонида Леонова, всем нам необходимая, как и поэма Твардовского, лежит десятилетиями в столе, — это вопиющая несправедливость!.. В этом вся разница. Да в том еще, что мы не слышали ни роптания, ни истерических криков от наших старших товарищей. С потрясающим мужеством они просто работали и приближали сегодняшний день.

Геннадий КРАСНИКОВ.

Необходимо расставить точки над «i». Во-первых, по поводу «социальной рефлексии», когда «писатель занимается проблемой поворота северных рек»... Нет здесь брезгливости, как пишет Г. Красников, а есть горечь, что писателю приходится «становиться на горло собственной песне» и в ущерб собственного времени и планов выступать в роли «ассенизатора и водовоза».

Во-вторых... «...Таланту нужны не подсказки... а конкретная практическая помощь», — цитирует Г. Красников А. Мальгина. Неужто «такого... наша литература еще не видела»? Стоит вспомнить хотя бы слова: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». А живой пример с мурманским поэтом Василием Галюдиным лишний раз убеждает, что все-таки «нужна конкретная практическая помощь».

И в-третьих. Красникова смутил «одесский жаргон» Еременко, взявшегося за «столь серьезную проблему». Точно так же недоверчивый читатель может назвать пафос статьи Г. Красникова широковежательным. Впрочем, каждый волен выбирать оружие сам: кому — палица, а кому — ятаган.

«Гордиев узел», именуемый «Художник и аппарат», распутывать трудно. И не сбросишь это дело со счетов количеством самых хлестких публикаций. Нужны конкретные предложения и реальные шаги.

Может быть, конкурс?

Для конкурса пригоден любой жанр — начиная от цирковой репризы и кончая романом. Объявлять его могут самые разные организации: газета, журнал, издательство, Управление и Министерство культуры, киностудия, театр... Но в любом случае необходимо, на мой взгляд, соблюдение четырех условий.

1. Заблаговременное объявление об условиях конкурса и составе жюри.

2. Анонимность участников.

3. На конкурс не могут представляться произведения, которые ранее печатались, обсуждались на семинарах, читались на выступлениях.

4. Сохранение анонимности авторов, не победивших в конкурсе.

Но вот лучшие определены. Выводы должны быть практические. Скажем, занявшему первое место предоставляется право на реализацию своего произведения вне плана в этом же году. Занявшему второе место — в следующем. Можно обойтись и без «обидных» мест — просто пятеро лучших, реализация по жребии.

Самое важное звено в конкурсе — жюри. Судить должны безусловно авторитетные, не приемлющие «середнячок» художники. Ну, а если жюри все-таки отклонит талантливое произведение? Если ему окажутся чуждыми поэтика рукописи, способ мышления, чувствования? Конечно, шансов у И. Жданова, А. Парщикова, А. Еременко и многих других «непривычных» поэтов быть одобренными жюри, которое стоит на иных этических и эстетических позициях, столько же, сколько у апельсина стать ананасом. А разве не возможен конкурс, судить который будут их единомышленники? В том-то и дело, что конкурсов должно быть много. Столько, сколько есть заинтересованных организаций.

Конкурс — процесс достаточно громоздкий, требующий усилий и затрат. Но надержки окупятся, и моральные, и материальные. Уверен, что книжка, на обложке которой над именем писателя стоит — «Победитель... конкурса», не будет пылиться на прилавках. Выходит, что и принципам хозрасчета конкурс не противоречит. Учредить конкурс, не подстраховываясь разрешениями и инструкциями, может любая организация и в любое время — через месяц, через неделю, сегодня.

Лев ЯКОВЛЕВ.

Марафон мнений продолжается.

Публикацию подготовил
Юрий БЕЛИКОВ





Мифы и гримасы просвещения.

Дела в нашей школе из рук вон плохи. Это печальный факт, который признается сегодня всеми. Что ж, когда «болеет» общество, вместе с ним «болеет» и школа.

Народное образование в стране загнано в угол. Загнано обилием накопившихся проблем, противоречий, невозможностью их разрешения порознь, обязательностью предпринимать какие-либо шаги срочно ради самоуспокоения и создания видимости включения в процесс перестройки.

В системе отсутствует реальная и конкретная цель, если, конечно, не считать за таковую прекрасный идеал — гармонически развитую личность активного строителя коммунизма; или искусство отчета о «глубоком усвоении» хаотического нагромождения курсов и программ, о проведении воспитательных мероприятий. Цель по-прежнему подменяется лозунгами. Система без цели — бессмысленная система. На конкретный коиечный результат работники просвещения, по существу, не нацелены. Разумная концепция школы отсутствует.

Самое уязвимое звено сегодняшней системы образования в том, что она абсолютно недемократична.

Прежде чем предпринимать какие-либо практические меры, необходимо без сожаления распространиться с мифами, опутавшими нашу школу.

Ф. И. Тютчев сетовал в письме дочери: «Ложные понятия имеют то неудобство, что требуют долгого времени, дабы себя изжить». Но изживать такие понятия надо.

Итак, миф первый. О том, что всеобщее обязательное среднее образование — всеобщ — реальность.

Сегодня никто уже не отваживается вслух настаивать на ста процентах учащихся, усваивающих по меньшей мере объем знаний средней школы (оставим пока в стороне обязательную поголовную воспитан-

ность). Осторожные эксперты оценивают реальный уровень знаний выпускников школ в 80 процентов, смелые — в 20 процентов (например, «Учительская газета» от 25 июля 1987 г.). Если даже истина где-то в области золотой середины, то все равно до всеобщего среднего образования далеко. Бедная природа, тысячелетиями упорно проповедующая новаторскую идею о том, что дети разные по способностям и здоровью, наконец-то вплотную приблизилась к официальному признанию.

Всеобщ — не просто миф. Это еще и закон. Ни одна школа, точнее, ни один директор школы не заинтересован в предоставлении губительных отчетов о реальной успеваемости. И вырастает дутый процент.

В результате закон о всеобщем сводится сегодня для значительной части школьников к обязательному десятилетнему протиранию штанов за партой. Десять лет прошло — и слава богу! И приговор к обязательности образования такого рода используется как удобная форма самооправдания и создания видимости нежной заботы о подрастающем поколении.

Объективных причин фантастичности всеобща в его сегодняшнем виде предостаточно. Это отсутствие необходимой материально-технической и научной базы, кадровой основы, а также уравниловка в отношении к детям, которая привела к запрещению отсева из школы детей, не способных усваивать даже часть от объема среднего образования.

У большинства учащихся обязательной единой школы потеря интереса к учению сегодня наблюдается к десяти годам. Шестилетки смогут достигать этот фатальный и позорный для страны рубеж по меньшей мере на год раньше. Это единственный, по всей видимости, практический вклад реформы 1984 года в развитие нашего просвещения.

В 1826 году Николай I писал об учебных заведениях: «Я с сожалением вижу, что не существует в них должного и необходимого единообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так и учение». Что ж, сегодняшняя монополюная единая система просвещения пришла к этому.

Всеобщ — попросту не существует, а официальный процент среднеобразованных выпускников школ не опускается ниже 90 процентов.

Давайте спросим себя: «Какой смысл, прок, необходимость в подобном уровне всеобщего образования?»

Известно, что доля ручного труда в промышленности около 40 процентов. Что по-прежнему большое число рабочих, по существу независимо от реального уровня их образования, имеют гораздо более высокий жизненный уровень, чем большинство специалистов со средним специальным и высшим образованием. Что у рабочих — выпускников средней школы — заработная плата зависит отнюдь не от качества их аттестатов.

Так нуждается ли сегодняшняя экономика в сплошь образованной рабочей силе?

Давайте же исходить прежде всего из бытия, которое определяет все остальное. Пока экономическая действительность страны на деле не будет нуждаться исключительно в грамотных, умеющих самостоятельно думать специалистах, или, иначе, в ста процентах выпускников с полноценно усвоенным средним образованием, пока в обществе будет большое число «лишних» людей, школа будет работать вхолостую.

Мифы о реальности и крайней необходимости всеобща, помимо неизбежной профанации самого образования, еще и уродуют вчерашних школьников.

Знание — сила. Но, как и любая сила, она может быть коварной. Образование, оторванное от социальной действительности, превратилось в универсально уродующую силу. Школа сегодня безостановочно производит огромную армию недоучек, равнодушных не только к учебе, но и к знанию. Тем же, кто по счастливому стечению обстоятельств и скорее вопре-

ки школе осилил десятилетний подъем, свой приговор выносит взрослая жизнь, нередко высмеивая их знания, не нуждаясь в них.

Что должны изучать дети, что такое «среднее образование» — пока полностью определяла и определяла до сих пор тьма-тьмущая однобоких предметников-специалистов и чиновников. Им выгодно пропагандировать крайнюю важность своих наук в школьном безразмерном расписании. Они всегда готовы идти по пути неограниченного информационного разбухания того учебного курса, который их кормит и поит. И никто не сможет реально воспрепятствовать им.

Знаний — как информации — всегда мало. Однако вряд ли кого-нибудь надо убеждать в том, что знания — это не пересаживаемые в голову справочники. Бросаться в погоню за количеством знаний в наш перенасыщенный информацией век — путь в никуда. Но и ограничивать объем знаний не менее ответственная задача. Здесь также легко впасть в крайность.

У общего образования не должно быть границ: ни нижних, ни верхних. А наказывать за незнание должна сама жизнь, но никак не органы просвещения.

На первых порах возможно создание открытой системы просвещения с гарантированной обязательностью усвоения определенного *минимума* самых необходимых знаний. Для этого необходимо опять же представление о содержании образования не как о некоей заданной величине, а о разбивке содержания *на два уровня*.

Первый — обязательный и доступный для *всех* учащихся. Элементарный, базисный. По объему составляет не более примерно 30, максимум 50 процентов от сегодняшнего. Действительное усвоение этого уровня должно строго и количественно определяться как можно чаще.

Второй — необязательный и неограниченный. Через систему свободных факультативов, работа учителя в которых оценивается и оплачивается не за количество часов, а за конечный результат: итоги учащихся на предметных и межпредметных олимпиадах всех уровней, а также на творческих конкурсах учащихся. Неограниченное поощрение за успехи в овладении знаниями также должно являться при этом ведущим принципом.

Среднее, а лучше — общее образование в демократической школе должно готовить зрелого *гражданина*, т. е. человека, который, ознакомившись в школе с различными видами общественной деятельности и поощряемый к максимально полному рассматриванию и обсуждению различных альтернатив — возможных путей в обществе, мог бы сделать сознательный выбор своего собственного пути. Чтобы достичь этого, школа обязана создавать предельно благоприятные условия — и больше ничего.

А сегодняшняя средняя школа готовит не гражданина, а инфантильного потребителя. Заранее предопределяя исход его образования и не оставляя ему никакой возможности самостоятельного выбора.

Огромное количество «литературы о воспитании подрастающего поколения» и почти полная ее никчемность, ненужность для практики школы и семьи — одно из косвенных подтверждений порочности другого живучего мифа. Мифа о возможности воспитывать воспитательными «игрушками»: мероприятиями и разговорами. При нашем материалистическом мировоззрении мы в который раз почему-то благодушно воспарили над старой мудростью: воспитывает не щедрое скормливание детям регламентированных идей и лозунгов, а разумно организованная жизнь. Воспитывает «ученне с увлечением» и производительный труд. Но не тот труд, который предлагается сегодняшним школьникам. *Не труд во имя труда*. Труд не может быть чисто педагогически-гигиеническим средством. Трудом не «воспитывают» — трудом живут.

По меньшей мере значительную часть стоимости своего содержания в школе учащиеся вполне могли бы окупать собственным трудом, настоящим трудом. Но для этого школы должны быть переведены на самообеспечение и самообслуживание.

Наконец, самый-самый, основополагающий миф сегодняшней школы. Он увековечен в столь привычном всем нам словосочетании: народное образование.

Может ли называться народной такая система, в которой как юридически, так и фактически за рамки ее управления выставлены рядовые работники просвещения (прежде всего учителя), родители, бабушки и дедушки (что почти равнозначно всему взрослому населению страны) и дети, ради которых эта система вообще существует? В определении не только стратегии, но и тактики народного образования народ, общественность никак не участвуют. Народ: педагоги, родители, дети — имеет скорее не прямое, а страдательно-причастное отношение к главной сфере социального воспроизводства.

Народным в «народном образовании» на сегодня является только одно — народные деньги, за счет которых плодятся типовые, обезличенные как по внешнему виду, так и содержанию школы. Деньги, которые являются «пособием от безработицы» распухшего административного аппарата.

Логика мифа о бесплатном образовании, как и положено, сказочно презабавная: раз деньги «нашенские» — то бишь народные, общие, значит, они ничьи, а раз они ничьи, то... и нет их вовсе. А раз их нет, то и образование бесплатное, что и требовалось доказать... Мы не имеем права спрашивать за качество образования ни с Минпроса, ни с рядовых просвещенцев — тех же учителей. Зато уж вышестоящие инстанции строго спрашивают с горемычного директора школы за каждую потраченную им копейку. Так и живем: боимся как огня неподотчетной копейки и не заботимся о своем подрастающем будущем.

Иногда взрослые люди, обидевшись на автомат с газированной водой, такое вытворяют над безответным железным ящиком, который задарма проглотит трехкопеечную монету, что диву даешься... Вот бы эту энергию справедливой злости родителям учеников!

Все понимают: надо что-то делать. Но никак не с суетливых шажков и полумер, такая «перестройка» еще глубже утопит школу в болоте старого вранья. Тем более что сегодняшний бюрократ — бездельник не простой, а жутко активный. Действительно революционные преобразования невозможны без глубокого и правдивого осмысления старых ошибок и требований времени.

Юрий КРУПНОВ, учитель, г. Ногинск.

ВЕДОМОСТИ

I). Если вы не разучились играть, вас ждут на «Играх в Лефортово-87». Что это такое? Это попытка понять, что представляет собой многочисленная поросль театров-студий, что такое любительское театральное движение вообще.

Дом культуры Московского энергетического института совместно с редакцией журнала «Театральная жизнь» приглашает вас на встречу с такими театрами-студиями, как «Мастерская», «Пегас», «Театр забытой пьесы», «Модель», «Рампа» и другие.

Спешите видеть! Только до ШЕСТОГО декабря.

А театралов и знатоков любительского театра ждет встреча с их любимцами — театрами, победителями прошлых Игр. Вы сможете увидеть театр на Юго-Западе В. Беляковича, студии А. Левинского и О. Киселева и другие коллективы, в ДК МЭИ до ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО декабря!

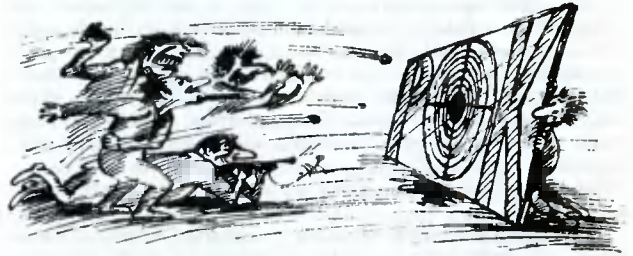
* * *

II). Московский Рок-клуб при Гагаринском райкоме ВЛКСМ планирует провести во второй декаде декабря РОК-ПАНОРАМУ-87.

* * *

III). Помогите! «В июле этого года я отдыхала в доме отдыха «Дзержинский» в Воронежской обл. ДИМА приехал туда всего на три дня, но этих дней нам хватило, чтобы познакомиться и подружиться. Уехал он неожиданно, но через знакомых передал свой телефон и просил, очень просил, чтобы я позвонила. У меня самого домашнего телефона нет, а Димки я потеряла, когда ездил в другой город! Все мои знакомые хватаются за голову — найти человека в немаленьком городе по одному имени невозможно... Так обидно из-за пустяка потерять человека! Помогите! Мой адрес: Воронеж, ул. Героев стратосферы, 4—21, НАТАША».

Ответственный редактор — Ника.



Говори!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Между прочим, сейчас поют такое, что раньше стыдились писать на заборах. Например, песня вроде бы про любовь, а называется «Ты дрянь...». Пожалуй, это самая распространенная реакция старшего поколения на так называемую новую волну в молодежной музыке. Для кого-то а priori ясно, что ритмичные звуки, которые доносятся через закрытую дверь из комнаты сына (дочери), следует рассматривать в ряду таких явлений, как пьянство, азартные игры и мелкое хулиганство в общественных местах. И при чем здесь искусство?

Действительно, сталкиваясь с иными культурами — отделенными от нас пространством и временем, — мы очень склонны забывать об относительности основанных на прежнем опыте понятий. Вспоминаю человека, который при звуках японской классической музыки «гагаку» совершенно серьезно понтересовался: «А что у вас тут с водопроводом?» В его сознании услышанное не ассоциировалось с понятием «музыка».

Судя по родительской почте — на нашу публикацию истории рока откликнулись и люди старшего поколения, — желание разобраться в том, что все же происходит за закрытой дверью, все-таки существует. Отсюда, видимо, и сердитый вопрос Григория Николаевича Хорошко из Киева: «В конце концов, вы можете толково объяснить, что такое «рок»?»

Я попробовал опросить руководителей нескольких ансамблей, оказавшихся под рукой в данный момент: ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «РОК»?

В результате получилось такое определение: рок — это новый жанр искусства, для которого характерно использование традиционных выразительных средств — музыкального, поэтического (текст) и театрального (шоу). Они образуют гармоническое единство — рок-композицию. Кроме того, для рока характерны коллективное творчество, «электрическое» звучание и особая форма хэппенинга, т. н. «сэйшин».

Составить это определение было довольно сложно. Большей частью ответы строились по типу «наше — не наше». Рокерам гораздо легче выделить в окружающей действительности чужое, враждебное. Тут срабатывает древний инстинкт. Например, единодушно презрительное отношение к эстраде: «там поют не то, что думают... поют по бумажке». Когда группу называют «эстрадной», налицо явное оскорбление. Немногим более теплое чувство питают к Клубу Самодетельной Песни — КСП, — где, по их мнению,

(Продолжение Начало см «Юность» №№ 6, 8).

«исполняются песенки про погоду под блатные аккорды».

РОКЕР — на Западе это слово первоначально обозначало представителя весьма агрессивного молодежного движения. Более широкий смысл — тот, кто играет музыку рок. Еще более широкий смысл, получивший у нас в последнее время преобладающее распространение: участник рок-движения, все равно, играющий или не играющий.

Самый главный факт первых лет истории молодой нашей рок-музыки — это ее полное официальное неприятие. Точка зрения культурных организаций сводилась к тому, что «этого» нет, поскольку в нашей стране «этого» и быть не может. Даже расшифровать местоимение «это» оказалось непросто: термин «ВИА» абсолютно бессмысленный по своей сути — ведь оперная группа тоже является «вокально-инструментальным ансамблем», равно как и Л. Зыкина в сопровождении баянистов, — появился около 1970 г. с единственной целью: избежать произнесения «неприличных» слов «рок» и «бит».

А тем временем отечественные рок-группы рождались и умирали в стенах вузов: технических, как МФТИ, или Рижский политехнический, или МГИМО, — то есть там, где аппаратные проблемы решались, как говорится, «с опорой на собственные силы». Отметим, что если западный рок слушала практически вся молодежь, то аудитория отечественного рока включала в основном студенчество. А функции центра общения — рок-клуба — в столице выполняло кафе «Времена года» в парке им. Горького — работало оно до глубокой ночи, и любой желающий мог за 1 р. 50 коп. получить там коктейль и современную музыку — свою «живую» и западную в придачу. Фактически это был первый настоящий европейский дансинг, то, что потом назовут дискотекой.

Но прежде чем начать рассказ о 70-х годах, я нанес визит бывшему руководителю одной из ныне полугенеральных команд, а в настоящее время — преподавателю учебно-курсового комбината «Мосагропромремстроймонтаж» Юрию Ермакову.

— Согласно преданиям, «Сокол» — одна из первых наших рок-групп...

— За всю страну я ручаться не могу. А в Москве, наверное, «Сокол» был действительно первой серьезной рок-группой. Он появился в 1965 году. До нас, правда, существовала такая группа «Бразерс», но это была еще полуресторанная команда — они с равным успехом играли и «Битлов», и цыганочку. «Бразерс» первыми стали использовать электрогитары, но своего репертуара у них еще не было. «Битлз» — всем дали толчок. Они первыми создали образ группы как таковой. Мы слушали раньше и Элвиса Пресли и Чака Берри, но они воспринимались как супермены. А «Битлз» — совсем другое, это уже «свои ребята», — что было очень важно для общего духа тех времен. В музыке мы старались никому не подражать, но нам ближе были «Роллинг Стоунз», «Крим», «Претти Тингс». В шестьдесят восьмом появились новые влияния — «Пинк Флойд», Хендрикс... Но в целом основное влияние на московский рок 60-х годов оказали, пожалуй, «Роллинги» — по культуре, по духу они были ближе москвичам, чем «Битлз». Как-то органичнее казалось играть более блюзовую, грубоватую музыку.

— Западный рок второй половины 60-х был тесно связан с движением хиппи.

— Хиппи-то у нас были тогда — носили длинные волосы, рисовали цветочки на лице. Они ходили на концерты «Сокола». Прямых контактов у нас с ними не было. Но само движение хиппи — «Flower Childs» дало толчок «цветочной» тематике текстов наших песен, их основной идее — что возможности добра безграничны. И наша песня «Солнце над нами» стала прямо-таки настоящим гимном московских хиппи в те времена.

— Как вы добывали инструменты, ведь музыкальная промышленность вообще ничем не могла помочь?

— Проблемы эти решались стихийно-романтически. Вдруг мы узнали, что в Казани продаются немецкие электрогитары — собрали деньги, снарядили барабан-

щика — съездил, привез. У Игоря Гончарука была чешская акустическая шестиструнка — переделали ее на четырехструнку, поставили датчик — так появилась бас-гитара Гончарука. Динамики собирали сами — у «Сокола» был свой радиоинженер, который всем этим занимался. Детали доставали откуда только возможно...

— На современный советский рок 80-х заметное влияние оказывает творчество Владимира Высоцкого. Насколько он важен был тогда для вас?

— Однажды в 1968 году мы даже выступали вместе с Высоцким в каком-то институте: отделение — Высоцкий, отделение — «Сокол». Это были абсолютно разные направления. Мы достаточно равнодушно встретились и разошлись — каждый занимался своим делом. А аудитория с энтузиазмом приняла и Высоцкого, и «Сокол»... Еще существовала группа «Миражи» — они пытались петь на русском. И что характерно: пока у них шел инструментал, все звучало отлично, а с вокалом сразу сбивались, получалось некрасиво. Русские тексты с трудом ложились на ритмическую структуру рока...

Кстати, в том же 68-м году появилась знаменитая статья «О чем поет Высоцкий», в которой Владимира Семеновича поносили в тех же самых выражениях (почти дословно!), какими спустя пятнадцать лет станут поносить ДДТ, выдергивая строчки из текста.

И тут следует обязательно оговориться: рок-текст неотделим от рок-музыки. Слабые в поэтическом отношении слова хард-роковых групп — и наших, и западных нередко тоже — обретали поистине магическую власть над многотысячными аудиториями, потому что были подняты на мощную, сокрушительную волну очень сильной, высокопрофессиональной музыки, создававшейся и исполнявшейся людьми, вкладывавшими в нее все свои физические и духовные силы. В самом деле — что представляет собою текст знаменитой песни DEEP PURPLE «Дитя во времени»? Несколько бессвязных сюрреалистических образов. Тем не менее миллионы людей во всем мире не только восприняли ее как призыв к немедленной борьбе с агрессивными войнами, милитаризмом, с насилием, но и последовали этому призыву. Однако попробуйте предложить те же слова эстраднему ансамблю «Пламя» или «Верасы», и они погаснут как накрытый мокрой тряпкой факел. Вот какое значение имеет музыка.

Потешно выглядит «серьезный» анализ рок-текста с позиций, применимых разве что к бардовской песне на трех аккордах, да и то, наверное, не всегда. Хорошо образованный критик берет с презрением «эти так называемые стихи» (хотя на самом деле стихами их, кроме самого критика, никто и не называет), выписывает 5—6 строчек и начинает насмехаться: какая бессмыслица! Набор слов! Почему только, слушая эту «бессмыслицу», люди, образованные не хуже критика, начинают плакать или сжимать кулаки, почему, как один человек, весь зал подхватывает слова припева? Потому, и, наверное, что каждый жанр искусства нужно судить по его собственным законам.

И еще одна оговорка. Не стоит обижаться, если какая-то группа, с вашей точки зрения, достойная внимания, окажется за пределами этого исследования. Дело не в пренебрежении к ее достоинствам, а просто в отсутствии необходимой информации. Что я могу заказать в библиотеке о ЗООПАРКЕ? Рукописный журнал «Ухо»? Ругательные статьи с безбожно перевранными текстами? Поэтому достаточно полная история отечественного рока может быть написана только с вашей помощью. Поройтесь в своих домашних архивах, пошлите к нам в 20-ю комнату копии того, что там найдете, информацию о музыкантах, фотографии, тексты песен. Каждый, кто внесет в иллюстрированную историю действительно ценный вклад, по праву займет почетное место среди соавторов.

Сим РОКОТОВ

(Продолжение следует)

Если честно, то...

Четвертая глава документальной повести «Исповедь поколения» посвящена любви. Теме возвышенной, сентиментальной. Рассказы о любви присутствуют почти в каждом письме, и это неудивительно, если учесть, что большинство писем-откликов на анкету «20 вопросов комнаты 20» приходят от девушек. И все бы хорошо, но настораживает то, что пишут лишь о несчастной любви. Может, действительно «горе кричит, а счастье молчит»? Где же вы, счастливые влюбленные? Откликнитесь, на вас держится мир.

Я любила киноактера...

Я хочу сказать тебе все, что так нестерпимо жжет изнутри по ночам, когда не идет сон, когда бессилие доводит до депрессии.

Когда мне было шестнадцать, я влюбилась в киноартиста. Нет, я не писала ему дурацких писем и т. п. Я молча и безнадежно его любила. Удивительный идиотизм. Но это было. И никого, кроме него, мне не было нужно. Просто с детства воспитана так, что основа любви — чистота. Потому не могла ни с кем ходить, всех отшивала, сидела дома. Так и случилось, что, дожив до семнадцати, я не имела парня. Дурман экрана рассеялся, но все вокруг были уже убеждены, что у меня кто-то есть. Раз никого не подпускаю! И уже не подступались. А я, в общем, и не старалась опровергать. К чему?

Мне исполнилось восемнадцать. У меня была компания, впрочем, редко собиравшаяся, знакомые ребята. Но постоянного не было. Как и любви. Но я старалась отбросить эти мысли — готовилась поступать в Москву. Убеждала себя, что главное — это. А там уж все будет, успею! Потому и загорелась от «случайной встречи».

Это смешно, но таких, как я, — нецелованных до восемнадцати лет — не так и мало. Поверьте, я не белая ворона!

Попытка поступить была неудачной. Хотя я ее повторю, не о ней речь. Но тот парень, что встретился там, многое сломал во мне.

Мы вроде понимали друг друга. Мне трудно было убедить его поверить мне — слишком разная среда вырастила нас. Но я его убедила. Казалось бы! Но все то, что я от него слышала, оказалось такой ложью, что страшно до сих пор. Это была маска, подходящая для меня, — вот и все. Он объяснил мне в последний вечер. Потому что испугался, что я претендую на продолжение.

«И даже теперь я тебе не верю. Ну не встречал я безупречных людей». Эти слова я слышала всю ночь. Сквозь бред. Мне наплевать, что с ним сейчас. Такого удара мне не нанесли никто. Даже враги. Я бы очень хотела его понять до упора, но как? Но скажите, почему же люди стали такими? Почему нормальное человеческое, естественное стало именоваться безупречностью как нечто «сверх»?!

Нет, я не разочаровываюсь в жизни. В Москве лишний раз убедились — хороших людей очень много. Но это — девочки. Что же до ребят...

Этот урок слишком свеж, хотя стараюсь заглушить боль. Днем я на работе, всемогу, бегаю по коридору, напористо трещу по телефону, шучу — привыкла заводить любую компанию. Но наступает ночь — и мир

уходит в пропасть. Как страшно цепляться за веру, которой почти не осталось!

Впереди (опять) — год одиночества. Дурацкая работа, вечер за книгами, ночь в мечтах. Я должна поступить. Я буду там учиться! Но, бог мой, как страшно опять лететь к этому огню! Надежда спасает, но тоска не проходит. Люди, снимите маски, мне страшно за вас! Если вы еще люди, если можете хоть когда-нибудь быть собой.

Н.

Г. Ижевск

Курортная жизнь

Жаль, что не могу начать свое письмо словами: «Я — хайлафистка, металлистка, наркоманка и еще кое-кто. Лучше — «бывшая», далее написать, что я «мертва», что осознала всю пустоту такой жизни, «спасите меня!». «опубликуйте мое письмо» и т. д. Несколько лет назад это не публиковалось, а сегодня такие письма — штамп.

Я обыкновенная двадцатилетняя девушка (это очень трудно, написать «обыкновенная»). Но имею несчастье родиться и жить в Сочи. У нас в школе нередко в сочинениях на тему: «Кем я хочу быть» дети пишут: «отдыхающим». И это совсем не шутка. Невпрямую трудно, когда постоянно перед глазами разгульная жизнь курортников, сохранить какие-то моральные ценности.

И вот «там» разрешили, и на растерявшихся трудящихся посыпались градом статьи о самой древней профессии на Земле, о прочих «негативных» явлениях, которые «имеют место» в курортных зонах. «Как это могло случиться? Ах, они...! А вот я, когда отдыхал летом...» (глазки заблестели, мужички сбились в кружок).

Но для многих здесь «свобода печати» обернулась другой стороной.

...Вечером мы с подружкой договорились сходить в кино. Она меня ждала у кинотеатра. Два молоденьких милиционера скулили на дежурстве: «Ну, что, клиента поджидаешь?»

Знакомый: «Ты знаешь, я теперь ни об одной девушке, модно одетой, не могу думать хорошо».

А я люблю модно одеваться (насколько это доступно). Большой ли это грех в двадцать лет? Теперь же (особенно теперь) я не могу никуда вечером пойти, не хочу быть мишенью для определенных, весьма прозрачных шуток, ловить на себе легко читаемые взгляды. Ребята в баре: «Чистенькой хочешь быть?» «Никто не поверит!» «Любовь? Это смешно, детка. И откуда ты здесь такая взялась?»

Целыми днями я читаю, пытаюсь зарыться в мир несегодняшний, но только трудно из него возвращаться. Я не хочу утром просыпаться. «И скучно, и грустно», и больно. Пойти на пляж? «Девушка, ты почему одынь?» Матери семейства стараются не смотреть в твою сторону, отцы же наоборот. Ну чем же я виновата? Тем, что я молода, стройна, люблю хорошо одеться, современно, но жду Грея. Это здесь несовместимо. МЕНЯ скоро раздавят. Ну не могу же я всем говорить, что я «хорошая»? «Давай проверим, детка».

Мне 20 лет. Я одна. Я боюсь знакомиться с ребятами, ибо что-то есть еще светлое в душе. Я не ханжа. Но не до такой же степени!

Слова «он обманул ее» канули в Лету. У нас никто никого не обманывает, говорят: «Девочка будет моей половиной». Все очень просто. «Промискуитет». Я уже не верю в любовь. Я хочу, чтобы меня обманули. Чтобы хотя бы сначала было все чисто и красиво, чтобы хотя бы перед первой ночью мне сказали: «единственная».

«Дурочка, но если ты этого хочешь, я скажу: «Гм, единственная». Я, конечно, уеду отсюда. «А-а, из Сочи».

Я люблю свой город, хотя это очень трудно, трудно назвать его своим. Он ничей. Он общий.

Я ненавижу отдыхающих, оторвавшихся от семьи. «Моральные устои — это там, а здесь все можно». Здесь все холостые и незамужние. «Меня здесь никто не знает. Один раз живем. Да где же, если не здесь». А подростки заворуженно смотрят на эту «красивую жизнь». Они не видят, как люди вкалывают одиннадцать месяцев. Они видят, как они один месяц «отдыхают». Конечно, не все. Но, ох уж эта беспечная публика, которая зимним вечером, где-нибудь далеко, затаив дыхание читала: «С нее не сходил сочинский загар», — принимая его за знак особой избранности (царей мы прогнали в семнадцатом году) «А что, если и мы...?»

Итак, трудоволюбки (как вам нравится сей неологизм, мне — очень), колхозники, служащие, совари-стократы, все, у кого есть деньги или способность их получать, желание увлекательно провести свой отпуск, те, которым надоело одиннадцать месяцев обуздывать себя; пожалуйте на летний отдых в наш веселый город солнца и моря!

Спешите жить!

А я, что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить или же (скорее): «Детка, не порочь наш славный город... ну вот и умница».

Простите за несвязность письма, претенциозность. Я еще для себя не решила: бороться, плакать, обвинять, сдаваться?

Л. С.

г. Сочи

Лера + ... = ?

Жила-была девочка. Тихая, скромная, стыдливая, средней внешности. Жила она как в коробочке: дом — школа, школа — дом. Домашний ребенок.

В восьмом классе влюбилась она. В одноклассника, лидера коллектива. И он ответил ей взаимностью. Но был он непостоянен: то с одной, то с другой, то с нашим домашним ребенком (назовем ее Лерой). Лера ревновала и сильно страдала. И решила клин клином вышибать. Тоже стала со многими одноклассниками закручивать мини-романы — сегодня один обнимет, завтра другой.

Тут «лидер» понял свою ошибку, вернулся, и Лера его простила. Они и целоваться еще не умели, только обнимались. И вдруг как снег на голову: Лера ему разонравилась. Она, как одинокая березка, а он вовсе ухаживает за подружкой Леры — Оксаной. Оксана — девочка неумная, но красивая и смелая. Лера страдает, ревет, но вскоре, по счастливому совпадению, знакомится с мальчиком Сашей. Он младше ее на год, но высок, красив, умен и имеет опыт в любовных делах.

Потом Лера решает показать характер, покапризничать и отказывается от очередного свидания с Сашей. Он гордо удалился, только его и видели. Лера понимает, что переборщила, и хочет вернуть его, т. е. по натуре она девушка очень влюбчивая и Сашу разлюбить не может — это выше ее сил. Но поздно. Саша уже крутит роман с другой, а к Лере, чтобы она не скучала, отсылает своих друзей. Друзья, надеясь на легкую добычу (Саша целовал, а мы чем хуже?), начинают преследовать Леру. Она, избегая лишних пересудов, соглашается на встречи с ними, лишь бы все было шито-крыто.

Количество желающих все растет. Лера горда, но доступна. А любовь к Саше все жива. Тут он возвращается к ней и предлагает Лере вкусить за-

претный плод. Она слабо возражает, но потом тает и соглашается. Все. Беспечное детство окончено. Саша и его друзья не забывают навещать Леру. Потом Лера знакомится с другими парнями, уже слышанными о ней, потом еще, еще, еще и еще.

Лера оканчивает девятый класс и не знает, что ей делать. Ей шагу не дают ступить, преследуют, угрожают. Заступиться некому.

А в школе она хорошо учится, член комитета комсомола. Не курит, не пьет. Ее уважают одноклассники.

Что делать? Лера — это я.

Вы задали хорошие вопросы, и я попробую ответить на них.

Моя жизнь с сегодняшним временем совпадает лишь отчасти. Я просто живу по его законам: где бы успеть первой хватить, кого бы безжалостно оттолкнуть, чтобы занять его место, как бы похитрее, половчее извернуться, обмануть, оскорбить, обогатить, переждать и выйти сухой из воды.

Компромиссы с совестью стали для меня привычным делом. Вокруг меня сплошная ложь, вот и я лгу всем и каждому. Я лжива до безумия. Один обман порождает тысячу. Лгу родителям, учителям, друзьям, врагам, «шапочным» знакомым и самой себе. Я понимаю, что это стыдно, но иду на сделки с совестью, забыв обо всем, и лишь успокаиваю себя тем, что я не одна такая.

Для меня честь — это что-то давно утерянное и невозвратимое. Честь — это твое доброе имя, это твои добрые дела. А их у меня нет.

Я нашла близкого человека, это моя подружка. Я ей рассказываю 95 процентов от «всего». Остальные пять процентов не могу, и не потому, что я ей не доверяю, а потому что она просто не сможет поверить, что я такая дрянь. И еще одна причина, из-за которой я храню в тайне эти пять процентов жизни. — хочется иметь свой секрет, нельзя же все-все-все рассказать без утайки.

Ради чего я живу? Честно говоря, сама толком не знаю. Хочется интересной работы, хочется быть нужной людям. Честно смотреть им в глаза, ничего не бояться. Хочется быть любимой, Единственной.

Кого я люблю? Сложно сказать. Я эгоистка. Неправда, что эгоисты не способны любить. Я порой люблю весь мир, люблю близких мне людей. Люблю, люблю, и вдруг вожжа мне под хвост попадет, и я делаю им зло. За глаза, тайком, чтобы никто не знал. Родителей не люблю, а только жалею. Родители мне мешают жить. Я терплю их лишь из-за того, что они хорошо зарабатывают. Но в старости я их не выгоню, мне на это не хватит чего-то такого, что просто невозможно описать словами...

Я ненавижу тех, кто меня не понимает. Я их готова стереть с лица земли. Я их ненавижу до безумной ярости, до слез, до иступления. И еще тех, кто делает что-то назло.

Живу по-настоящему, когда я рядом с друзьями, звучат торжественные речи, все полны свежих сил, хороших, добрых чувств, уверенности в будущем. Это смешно, но такие часы не что иное, как сборы 1 сентября, последний звонок, 1 Мая, Новый год (когда по ТВ передают приветствие).

Что меня потрясло? Когда я узнавала грязную сущность некоторых людей. Когда мне делали подлость — неожиданную и страшную. И когда я обдумывала свою жизнь.

Без адреса

ТОЧКА!

Первый год позади! Лиха беда начало!

«20-я комната» с благодарностью жмет руку тем, кто помогал, присылал нам письма, читал нас, размышлял над строками наших публикаций. Что же, мы закрываем дверь «20-й комнаты-87». Прощай! И спасибо! У нас появилось много друзей.

Пойдемте с нами! Мы открываем дверь «20-й комнаты-88».

Поздравляем всех, кто с нами, с Новым годом! Ждем Ваших звонков в новогоднюю ночь и круглый год по телефону 251-02-30.

Андрей ТУРКОВ

В «ГАЙД — ПАРКЕ»

В сентябрьском номере журнала «Молодая гвардия» опубликованы материалы дискуссии молодых авторов о «современных проблемах нашей общественной и культурной жизни».

Дискуссия есть дискуссия, и странно было бы требовать, чтобы мнения ее участников во всем совпадали и всегда были бесспорны.

Однако перед нами случай не совсем обычный: спорящих тут нет, собрались люди, на редкость согласные между собой по всем затронутым вопросам.

Наша общественная и культурная жизнь, как знает любой читатель, сейчас очень напряженная, динамичная, во многом противоречивая, но явно вселяющая надежду на давно назревшие перемены.

И, признаюсь, первая неожиданность при чтении речей участников дискуссии — это явная обеспокоенность главным образом «перекосями гласности», упоминание о которых даже вынесено в заголовок одного из выступлений.

Трудно не согласиться с резонным опасением, «как бы нам перестройку и гласность не превратить в очередные лозунги на время...»

Но вот рядом читаешь:

«Да, «шлюзы» открылись. Но вместе с долгожданной, чистой, живой струей с телеэкрана, из эфира, со страниц газет и журналов хлынула и... разноцветная густая пена!» (поэт Олег Кочетков).

«И пошло и поехало! На телевизионные экраны необузданным потоком хлынули волны неистовой рок-музыки, разрушающей не только податливые души нашей молодежи, но и поистине — все вокруг живое» (поэт Валерий Хатюшин).

«Вместо воспитания чувств любви и дружбы каждого народа СССР к любому другому народу нашей страны (только? — А. Т.) некоторые средства массовой информации с помощью американизированной массовой культуры пытаются привить нашей молодежи космополитизм» (Анатолий Доронин).

Средства массовой информации «за редким исключением, бросились прославлять рок-музыку, западную масскультуру...» (критик Александр Фоменко).

А историк Михаил Устинов въздыхает, что «еще в недавнем прошлом невообразимо было, чтобы на экранах танцевали, с позволения сказать, девушки в нарядах, столь откровенно демонстрирующих подробности женской анатомии».

Так-таки анатомии?! Тут уж, совсем не будучи поклонником поэзии покойного Владимира Высоцкого, которому тоже страсть как достается от «племени младого, незнакомого», невольно вспомнишь: «Страшно — аж жуть!»

Александр Фоменко корит «Литературную газету» за то, что она не напечатала открытое письмо сорока прозаиков, поэтов и критиков, «пришедших в литературу в 80-х годах», «посвященное острейшим проблемам литературной и общественной жизни».

Каким же именно? Что там конкретно говорилось? Скажите уж, раз вам на этот-то раз предоставлена аудитория с 640 тысячами слушателей — читателями «Молодой гвардии»!

Но оратор многозначительно помалкивает, а я, хотя и у меня есть свои претензии к газете, на сей раз думаю: а может быть, она просто в тупик встала перед некоторыми высказываниями наподобие тех, что

нынче опубликованы на страницах названного журнала? Перед таким, например: «После того как Великая Отечественная война явила невозможность физического уничтожения советского народа, методы явных и тайных врагов изменились коренным образом. В период всеобщего попустительства был нанесен серьезный урон основополагающим нравственным ценностям советского народа. Стали усиленно насаждаться идеи политического плюрализма, моральной относительности нравственного симплицизма».

Интересно было бы узнать, как датирует сам историк Михаил Устинов столь броско окрещенный им период, и, право, это еще не все вопросы, возникающие при чтении этого пассажа.

Но послушаем другого оратора — критика Константина Ковалева:

«Вредоносные стволы, оторвавшиеся от корня отечественной культуры, засоряющие почву дикорастущим бурьяном, способным уничтожить многовековую окультуренную поросль, в конце концов следует отделять от корня. Иначе литература, как пушкинская героиня, будет рождать «не то сына, не то дочь», «неведому зверушку»...»

Бог с ними, с этими таинственными стволами, способными заражать почву бурьяном, которые почему-то надо отделять от корня, хотя они уже и сами от него оторвались, но зачем же на пушкинскую-то царю, благополучно родившую, как известно, князя Гвидона, поклеп возводить?

Вот уж где «открылись шлюзы» и «...пошло и поехало», так что невольно задумаешься: да нет ли и в нашей реальной действительности персонажей вроде пресловутых «ткачихи с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой»?

Когда в жизни рождается что-то новое, пусть трудно, в муках рождается, стоит ли страдать себя и нас, что на свет появилась «неведома зверушка» — не то что «в недавнем прошлом», когда о таких напастях и не слыхивали?

Мы-то по наивности думали, что недавний общественный застой пагубно сказывался и на литературе и из-за этого, в частности, читатель был лишен целого ряда произведений, которые не просто делают честь нашему искусству, но и в большой степени способствуют росту общественного самосознания.

Однако Валерий Хатюшин, например, с завидным спокойствием утверждает: «...если касаться именно творчества, то здесь никакие негативные процессы истинно талантливому человеку помешать не могут. Талантливый литератор делает свое дело, пишет о том, что его волнует, несмотря ни на какие внешние трудности, потому что талант — вещь непобедимая, и он тем упорнее стремится к цели, чем больше трудностей (негативных процессов) встречается на своем пути... Так было всегда, и от этого мы никуда не уйдем, как бы ни перестраивали и ни демократизировали свое общество».

А Константин Ковалев даже свысока иронизирует по адресу «смелых» публикаций «гонимых» прежде авторов или их произведений.

Опять-таки: о чем конкретно речь, кого язвит критик своими кавычками? Андрея Платонова с его «Котлованом»? Анну Ахматову с «Реквиемом»? Или, может статья, Михаила Зощенко? Михаила Булгакова?

Другой же критик — Виктор Кречетов — поучает нас, что, «упиваясь воздухом свободы, следует все же помнить, что подлинная литература существовала даже и во времена «культы личности» (Леонов, Шолохов, Вургун, Пришвин, Платонов, Твардовский и др.)...»

Как «существовал», например, Платонов, достаточно хорошо известно, да, вероятно, и у многих «др.» нашлось бы что сказать на сей счет.

Только, впрочем, еще неизвестно, кого захотят участники дискуссии причислить к лигу этих «др.», а «о-

го даже порекомендуют, как говорится все в той же пушкинской сказке, «тайно бросить в бездну вод».

«Право же, только как курьез можно воспринимать сегодня шумиху вокруг весьма слабого романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», поднятую в шестидесятые годы, — заявляет Александр Фоменко и тут же переходит к «оргвыводам»: — Публиковать же его сегодня в журнале массовым тиражом — не значит ли намеренно компрометировать в глазах всесоюзного читателя крупного советского поэта?».

«Предполагающаяся публикация «Доктора Живаго» в журнале доказывает лишь наш провинциализм, — «дискутирует» с коллегой Виктор Кречетов, — так как на Западе его давно уже переживали».

А еще один из участников дискуссии, писатель Юрий Сергеев, вообще причислил Бориса Пастернака к «ложным ценностям» — правда, уже на страницах газеты «Книжное обозрение» (2 октября 1987 г.).

Не менее суровы наши судьи и к более поздним периодам «нашей общественной и культурной жизни», насчет которых у них тоже есть весьма оригинальные соображения.

«...существовавшая у нас до поры система, — говорил поэт Александр Поздняков, — в качестве своего необходимого дополнения всегда содержала некое инфантильно-полудиссидентское псевдосопротивление, которое, критикуя, осмеивая, оглушая, доводя до абсурда специально отведенные для него участки системы, создавало таким образом видимую жизненность бюрократии. Такая критика — не более чем оборотная сторона той же бюрократической медали. Деятели этой критики и в прежние времена благополучно процветали... Слишком много у нас людей, которые бы хотели в качестве перестройки представить нам оборотную сторону той же самой медали».

Уф! Да назовите же, бога ради, хоть кого-либо, хоть что-нибудь, чтобы понять смысл этих туманных картин, которых в дискуссии не так уж мало. Вот, не угодно ли:

«Групповщина, случающаяся порой, — это кучка довольно серых в творческом плане людей, но весьма боевому настроенных, крепко спянных и желающих получить блага не мытьем, так катаньем. Если образно, то это мясники-лавочки, которые, объединившись, идут к городской управе требовать, чтобы разрешили торговать червивым мясом. Иногда, если в городе шум и неразбериха, им это удается самим. Но чаще всего они пользуются услугами какого-нибудь именитого городского покровителя, конечно, не за здорово живешь. Поскольку у покровителя своего мяса навалом, да и не только мяса, то он берет с мясников валютой собачьей преданности».

Досадно читать такое у талантливого прозаика Сергея Алексеева.

Прискорбно, когда Виктор Кречетов, прежде чем разделаться с Пастернаком, походя роняет: «...разоблачение лысенковщины нужно, но национальной культуры этим не обогатишь».

Это уж не авторам ли «Белых одежд» и «Зубра» адресовано, которые наивно полагали, что воскрешение памяти о борцах за чистоту и продуктивность отечественной науки отнюдь не безразлично и для судеб всей нашей культуры?!

«В ответе за время» озаглавлена вся эта «Дискуссионная трибуна», а заголовки некоторых выступлений гласят: «Внимание к слову», «Что за словом?...», «Называть вещи своими именами».

Как хорошо бы следовать своим же собственным призывам и, прежде чем подражаться отвечать за время, отвечать за свои собственные слова!

Иначе сказанное одним из ораторов: «... нельзя же из культуры делать некий Гайд-парк, где каждый несет, что ему взбредет в голову», — право же, можно переадресовать многим участникам самой этой дискуссии.

Но вот вопрос: винить ли во всех этих «перекосах» только самих молодых? Ведь есть же, наверное, у них какие-то «ориентиры» среди представителей более старших поколений?

И, словно идя нам навстречу, критик Лариса Баранова-Гонченко говорит: «...в заключение мне хочет-

ся назвать имя поэта и человека, который многие годы был для меня образцом чести. Это Станислав Куняев... Общение с ним было настоящей школой трудной любви к большому делу. И я благодарю его сегодня за эту школу, за те высокие, страдательные душевные порывы, которые он, невзирая на трудные времена, на ложную административную этику (?), на непонимание, посвящает будущему нашей литературы».

Тем более интересно в этой связи прочесть напечатанную в том же журнале (№ 8) статью С. Куняева «Ради жизни на земле», посвященную поэзии Великой Отечественной войны, точнее, по выражению автора, «двум достаточно определенным пластам» ее: «книжно-романтическому и реалистически-народному».

Нетрудно догадаться, что все симпатии автора — на стороне последнего, и в принципе в этом нет ничего дурного, тем более что речь идет о Твардовском, Исаковском, Сергее Орлове и ряде других достойных поэтов.

Беда, однако, в том, что «подсчет очков» в этом состязании ведется весьма пристрастно.

В начале 50-х годов один ныне здравствующий литературовед в ответ на чье-то замечание, что он как-то свысока пишет о Маяковском, пресерьезно ответил:

— Да, я смотрю на Маяковского с высоты, данной мне аспирантурой!

И когда С. Куняев ведет речь о тех, кого поначалу вежливо именует «отрядом высокоодаренной поэтической молодежи», в частности о воспитанниках московского Института истории философии и литературы — «ифлидцах»: Павле Когане, Михаиле Кульчицком, Давиде Самойлове и их ровеснике Борисе Слуцком, он начинает снисходительно поучать их «с высоты», данной если не аспирантурой, то всем прошедшим с той поры временем.

Человек, который и год Победы-то встретил пятиклассником, как о том упоминается в статье, он то ли делает вид, то ли в самом деле не знает, что многое в те далекие предвоенные годы выглядело совсем не так, каким предстает теперь нашим глазам на расстоянии.

Легко сегодня грустно улыбнуться над стихами, написанными в 1940 году:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчишки яных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времена большевиков.

Или, как это делает С. Куняев по поводу стихов того же Павла Когана о «земшарной республике Советов», умудренно заметить, что «надо было быть очень большим романтиком, чтобы ставить себе столь фантастические цели, не имеющие ничего общего с ходом реальной истории».

Автор статьи пишет, что поэты, которым предстояло писать о Великой Отечественной, сформировались «в разных условиях, в разной социальной среде, по-разному удаленной от народного понимания войны или по-разному приближенной к нему».

Подчеркнутые мной слова очень важны для понимания дальнейших «перекосов» куняевской статьи. Попросту говоря, народное понимание войны оказывается присуще лишь жителям деревни, а те, кто, скажем, имел несчастье обладать московской пропиской, например, герои Булата Окуджавы — в лучшем случае! — «равно далеки от глобальных мечтаний книжных романтиков (о «земшарной республике Советов». — А. Т.) и от живой народной стихии, они уходят на войну, как молодые симпатичные солдаты всех времен и народов...»

Замечу, что по молодости лет С. Куняев не помнит, что подобные упреки в былые времена раздавались и по адресу... Василия Теркина, не отличимого, дескать, от солдат старой армии.

Уход на войну героев Окуджавы в отличие от героя действительно отличного стихотворения Федора Сухова, оказывается, вовсе не драма, а лишь «тревож-

ное, эстетически впечатляющее действо, симпатичный маскарад (!!)..., арбатская хемингуэевщина...

Это «До свидания, мальчики, мальчики... Постарайтесь вернуться назад!» — хемингуэевщина? Да побойтесь бога, как говаривали встарь!

Вполне реально существовавшее среди самых различных «слов» молодежи предвоенных лет настроение романтического порыва навстречу военной угрозе, в частности стремление прийти на помощь республиканской Испании, изнемогавшей в неравной битве с международным фашизмом, так далеко и чуждо для «мальчика иных веков», что он почти пренебрежительно пишет о Константине Симонове как о «по-прежнему изображавшем до войны сражения под Узской».

А ведь в симоновском стихотворении «Генерал», герой которого «в бою под Узской сражен», трудно не ощутить восторженного преклонения перед человеком, который, тоскуя о родной земле, сражается за свободу «чужой». И рядом с ним в это время были многие наши с Куняевым соотечественники, для которых эти сражения оказались прологом к битвам Великой Отечественной!

Да, история пошла другими путями, нежели тогда думали не одни лишь юные «книжные» романтики, но попрекать последних этим, да еще рисовать их чуть ли не любителями кровавых боев, право же, не годится.

Если ифлиец Арон Копштейн, погибший еще на «войне незначимой» 1939—1940 года, и писал:

...если я домой вернусь целым,
Когда переживу даададдый бой,
Я хорошенько выплусь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой,—

так это не в угоду «романтически-книжной теории, которую исповедовало ифлийское братство», как утверждает С. Куняев, а потому что в эту пору всем было ясно: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой...»

Разумеется, война совсем по-иному открыла юным поэтам многое в жизни собственной страны, столкнув их с прежде не знакомыми им сторонами действительности. Позволю себе повторить написанное мной несколько лет назад:

«Горожанка Юлия Друнина, по собственному выражению, «в семнадцать лет, кочуя по окопам... увидела родину свою». Это ощущение было присуще тогда многим (достаточно сослаться на известное и, в сущности, такое наивное признание Константина Симонова: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина — не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил»).

«Поразительное признание сложившегося и уже популярного до войны поэта о том, что родину и народную русскую жизнь он понял и узнал только благодаря войне!» — с явным ехидством замечает по тому же адресу С. Куняев. При этом он исподтишка «выпрямляет» и огрубляет сказанное этими широко известными стихами, потому что истолковывать их в том смысле, будто «дом городской» — это уже не совсем родина или даже совсем не она, можно лишь «презренной прозой говоря», точно так же, как на основании песни «Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество...» утверждать, что для Окуджавы война не расширила понятие родины: «Он остался как бы в рамках своего Арбата, верен его замкнутому братству...»

Прочти такое С. Куняев у какого-нибудь бедолаг-критика — уж то-то бы поиздевался, и вполне справедливо! — над буквализмом, над этой глухотой к поэтическому слову (даже, если хотите, кощунственной, ибо сколько из этого «замкнутого братства» полегли за свою большую и «малую родину», как с уловимой иронией отзывается автор статьи о старой московской улице, у которой, однако, есть такие же права на это звание, как и у любой деревни).

Но сам-то, захваченный предвзятой идеей, не останавливается перед явными натяжками.

Борис Слуцкий вспоминает себя, молодого, в 1941 году:

Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный, и последний,
И предсказанный песней бой.

А С. Куняев досаждает на то, что «предчувствие войн-революции наполняло их («ифлийские». — А. Т.) души не естественным для человека ужасом, а своеобразным восторгом», и снова нимало не задумывается: что если это не только «ифлийское» свойство, а одна из черт тогдашнего поколения, поколения Николая Гастелло, Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской?

Ужасная вина! Они наивно полагали, что вот-вот «с «Итернационалом» воспрянет род людской» и, может быть, даже немецкие солдаты вспомнят, что они — вчерашние труженики, и прозреют, — но пали на первых, труднейших верстах пути к победе, порой с этим привычным гимном на устах, порой же с именем вождя, которое тогда опять-таки не одним только им казалось синонимом социализма, а порой просто захлебнувшись кровью («Говорила: погибну с песней! — но пуля разбила рот», — сказано в стихах одного тогдашнего поэта о ровеснице-партизанке).

Что же касается поэтов-ифлийцев, то о них, «за них» в свое время с грубоватой горькой прямотой сказал Борис Слуцкий в стихотворении «Голос друга»:

...назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарища мои.

Сейчас всё это странно,
Звучит всё это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

Эти лейтенанты, многим из которых в поэзии ие суждено было дослужиться даже до «звездочек», были постарше Пети Ростова, но во многом так же восторженны и простодушны. Герой Толстого ведь тоже несколько не испытывал «естественного ужаса» перед войной, а наивно рвался в самое пекло и, наверное, легко подписался бы под горячими строчками Михаила Кульичского:

Не до ордена, была бы Родина
С ежедневным Бородиню.

Подписался бы потому, что увидел бы в них романтическую мечту о победоносности Отчизны, а о цене, какой за это заплачено, еще бы сгоряча не задумался, не успел бы, торопясь сделать свой собственный «взнос», как и сам погибший автор этого опрометчивого пожелания.

И вот ныне мы наблюдаем диковинную картину: коллега, так сказать, младший брат поэта-лейтенанта, вместо того чтобы пожалеть об этой несостоявшейся судьбе, менторски отчитывает его за легкомыслие, за то, что не учел, что «последствия таких событий (как человеческие потери в Бородинской битве. — А. Т.) долгие десятилетия тяжело влияют на судьбы народов», порождая «демографические, социальные язвы — следы прошедшей войны, о возможности которых не задумывались поэты-ифлийцы...»

Есть у Бориса Слуцкого стихи «Памяти товарища»:

Перед войной я написал подвал
Про книжницу поэта-ленинградца
И доказал, что если разобраться,
Певец довольно скучно напевал.

Я сдал статью и позабыл об этом,
За новую статью был взятых рад.
Но через день бомбили Ленинград —
И автор книжки сделался поэтом.

Всё то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих клялся,

Он выполнил — боролся, и сражался.
И смертью храбрых, как предвидел, пал.

Как хорошо, что был редактор зол
И мой подвал крестами переметил
И что товарищ,

павший,

Его, перед смертью

скрипя зубами,

не прочел.

Как видим, в наше время порой разыгрываются сюжеты совсем иного рода, и павшим очень и очень достается.

И весьма характерно, что, заканчивая свою статью, С. Куняев цитирует трагические стихи Алексея Прасолова о разгружаемом санитарном эшелоне. Столкновение прежних романтических представлений о войне с тягостной явью исторгает у поэта крик боли, страдальческий возглас: «Забудь про Светлова с Багрицким...», — и автор статьи торопится «оформить» эту бурную эмоциональную вспышку как форменное обвинительное заключение:

«Забудь про Светлова с Багрицким» — это означало, что поэт другого поколения бесстрашно и точно сформулировал суть (!) нового мышления, нового гуманизма...»

Не знаю, поблагодарил ли бы сам Прасолов за подобную трактовку!

И вот что печально: ведь за «образец чести» молодые могут принять не одну эту, как характеризует выступление С. Куняева Л. Баранова-Гонченко, «всегда горячую, страстную речь в защиту русской поэзии», но и суждения некоторых других литераторов.

У талантливого поэта Юрия Кузнецова даже своего рода «хобби» появилось — раз за разом «сбрасывать с парохода современности» и предтеч и просто старших коллег, так что, когда газета «Книжное обозрение» напечатала (2 октября 1987 года) его выступление в рубрике «Автограф дает...», читатель увидел уже знакомый почерк.

Вспоминая, как после его высказываний насчет сионово-го «Жди меня» (в журнале «Литературная учеба») Марк Соболев в сердцах выразил сомнение: да впрямь ли это писал сын погибшего солдата, Юрий Кузнецов замечает: «Это уж чересчур».

Но, право, точно такое же восклицание рвется с уст, когда знакомишься с его категорическими «резюмированиями», например, о военном поколении, которое, по его убеждению, «приписало себе вечную славу своих сверстников, погибших на войне». «Но, по свидетельству фронтовиков, на войне погибли в основном лучшие».

«Логика» ясная и, да простит уж меня автор, «чересчур» огульная, а потому оскорбительная по отношению к «уцелевшим», будь они «простые» участники войны или даже поэты.

Не собираюсь спорить с Юрием Кузнецовым, когда он, пусть не без привычного для него вызывающего эпатажа, заявляет, что «99% публикуемых сегодня стихотворений не является поэзией». Как он сам говорит, «у нас всегда были одни крайности», и его собственный «подсчет» — тоже крайность, обратная обычному критическому благодушию и, пожалуй, способная только стимулировать к более пристальному анализу положения дел.

Но вот когда речь заходит о некоторых конкретных явлениях...

Вспоминая слова Сергея Наровчатова, в чьем семинаре состоял, что «о поэте может хорошо написать только поэт», Ю. Кузнецов замечает: «Я согласен с этим».

Смирим же цеховую гордыню, поучимся:

«...мне не нравится в Ахматовой ее гигантомания, — заявляет поэт. — Вот сейчас много говорят о ее поэме «Реквием». Однако почему-то никто не заметил, что Ахматова этой поэмой ставит памятник себе. Есть в «Реквиеме» эпизоды, которые надо было писать только в третьем лице, о матери, но никак не о себе. А так получилась самовлюбленность. Это иachtсто убilo «Реквием», превратило поэму в монумент ав-

тору. Всё это, полагаю, оттого, что Ахматова по женской слабости слишком поверила своим обожателям. И посчитала себя великой поэтессой».

Что касается «гигантомании», то говорить здесь о ней может только тот, кто пусть даже ненадолго, но (выражаясь стихами самого Кузнецова) «забыл родной язык» и перепутал гигантоманию с манией величия.

Но еще того удивительнее — угледеть эту маию в «Реквиеме», свести все его содержание к желанию соорудить «монумент» себе самой, а отнюдь, оказывается, не всем тем, кого поэтессе «хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать».

И все это, видимо, лишь потому, что в поэме есть «первое лицо» — «я»! Так и просятся на язык известные слова из «Василия Теркина», обращенные, правда, не к поэту, пишущему о поэте, а к простодушному читателю, способному сказать: «Где же про героя? Это больше про себя»:

Про себя? Упрек уместный,

Может быть, меня пресек.

Но давайте скажем честно:

Что ж, а я не человек?

...Друг мой, так же не легко мне,

Как тебе с глухой бедой.

«Спорить здесь нужды не вижу», — писал Твардовский, и нынче тоже как-то неловко оспаривать оценки Ю. Кузнецова ни в данном конкретном случае, ни когда он торжественно декретирует, что вообще «женщины не могут в искусстве создать ни одного великого произведения».

Речь-то об этом выступлении, как и о статье С. Куняева, зашла потому, повторяю, что было бы явно несправедливо «журить» одних лишь молодых как за их выпады против «ложных ценностей», так и за суждения более общего свойства, когда трудно идущему процессу перестройки буквально каждое лыко ставится в строку, любой огрех непомерно раздувается, а уж прорвавшийся сквозь многолетние запруды запретов бурный поток взволнованных мыслей и горячих эмоций и вовсе изображается чудовищным вселенским потоком, грозящим чуть ли не самому существованию отечественной культуры.

С горечью и недоумением думаешь, что это говорится и пишется не после публичного поношения Ахматовой и Зощенко, не над гробом Платонова или Василия Гроссмана, не в дни вынужденного ухода Твардовского из «Нового мира», а сейчас, когда при всех сложностях переживаемой поры над страной — и, смею думать, над искусством в частности — поистине весенний ветер веет.

Вспоминается, как в бурные дни Октябрьской революции Андрей Белый горячо корил тех, кто ее не принял:

«Родись среди нас богатырь... мы, пожалуй, дадим ему имя: «Зверушка»... Бабы старые, Бабарихи — все мы...»

А Александр Блок, которого, кажется, до сих пор никто не посмел отвести к «ложным ценностям», призывал:

«Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух»... слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Может быть, все же именно такие поступки, такая позиция должны и сегодня служить образцом чести?

Марк
ШАГАЛ

МОЯ ЖИЗНЬ

По страницам
книги

Я предполагаю, молодым читателям «Юности» понравятся фрагменты из автобиографической книги художника Марка Шагала «Моя жизнь».

Книга была написана давно. Так же давно Шагал стал одним из знаменитейших художников XX века. Книга у нас еще не печаталась по чисто историческим причинам.

Надеюсь, она скоро будет опубликована. Судя по отрывкам, книга написана броскими, емкими фразами-мазками, как бы фрагментарно. Но картина разворачивается широкая.

Целая жизнь. Когда я читал, особое внимание обратил на слова: «Искусство должно быть состоянием души.

Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку».

Другие, может быть, выделяют другое.

Читаю этот отрывок о трудных и бедных днях жизни Шагала. Я вижу ту роскошную его виллу во Франции, в Поль-де-Вансе, где мне посчастливилось побывать, когда Шагалу уже шел девятый десяток.

Путь к всемирной славе и преуспеянию лежал через веру в свое видение мира, через фантастический труд. Это единственный достойный путь к той вершине, на которую может подняться человек к концу своей жизни. Пусть это будет не Эверест, а невысокий холм. Холм, а не низина, не яма, не пропасть, куда человек может опуститься.

Виктор РОЗОВ.



Моей мастерской была комната в нашем дворе. Чтобы туда попасть, надо было пройти через кухню хозяина, где этот огромный бородатый старик, торговец кожей, сидел у стола и пил чай. Когда я проходил мимо, он слегка поворачивал голову: «Здравствуй».

Моя комната наполнялась яркой голубизной, падающей через единственное окно. Свет шел издалека: с холма, где находилась церковь. Я любил рисовать на своих картинах и эту церковь, и маленький холм.

Бросался на кровать. Холсты на стенах... Пыль, единственный стул, худой стол.

Белла стучит в дверь, тихо стучит своим тонким пальчиком. У нее в руках ветки рябины — зелень, пронзенная красным.

— Спасибо, — говорю я, — спасибо.

И не только словом. Темно. Я ее целую.

В уме волшебным образом рисуется натюрморт. Она позирует для меня. Легла, белая нагота округляется.

Я робко подхожу. Признаюсь ей, что впервые вижу обнаженную женщину. Хотя она почти моя невеста, я боюсь к ней приблизиться, дотронуться до этой красоты. Будто блюдо выставлено перед твоими глазами.

Я сделал этюд и повесил его на стену.

На следующий день мать приходит ко мне: «Это что такое?»

Голая женщина, груди, темные пятна. Мне стыдно, ей тоже.

— Убери эту девушку! — говорит она.

— Мамочка! Я тебя очень люблю. Но... ты никогда не видела себя голой? А я смотрю и только рисую. И все.

Но я слушался мать. Я снял это полотно и написал другую картину, процессию.

Вскоре после приезда в Петербург я отправился сдавать приемный экзамен в Училище технического рисования барона Штиглица.

На экзамене я провалился. Пришлось поступать в более доступную школу — при Обществе поощрения художеств, куда меня приняли без экзамена в третий класс.

Что я там делал? Трудно сказать. Многочисленные гипсовые головы

С невестой Беллой. 1914 г.

греческих и римских граждан выступали из всех углов, и я, бедный провинциал, должен был вдохновляться злосчастными ноздрями Александра Македонского или другого гипсового идиота. Иногда я подходил к этим носам и постукивал по ним, а в глубине зала подолгу рассматривал пыльные груди Венеры.

Я не мог равнодушно смотреть на здешних учеников, которые, потя, давили бумагу резинкой. В сущности, они были неплохие ребята. Мой семитский тип возбуждал в них любопытство.

Мои средства не позволяли снять комнату, и я вынужден был довольствоваться углами. У меня даже кровати своей не было. Как-то пришлось разделить кровать с одним рабочим. Правда, он был сущий ангел, этот рабочий. Он укладывался у стены, чтобы я мог лечь лицом к окну и дышать свежим воздухом.

В таких общих углах, соседствуя с рабочими или с уличными торговцами, мне оставалось лишь вытянуться на краю кровати и предаваться раздумьям. И меня одолевали сны.

Большая квадратная комната. В углу кровать, я в ней один. Темно. Внезапно развзрзается потолок, треск и грохот, спускается крылатое существо, наполняя комнату движением и облаками. Шелест распрямляемых крыльев. Я думаю: ангел! Я не могу открыть глаз — слишком светло, слишком лучезарно. Пошарив всюду, он поднимается и, ускользая сквозь щель в потолке, уносит с собой и блеск, и голубой воздух. Снова темно. Я просыпаюсь.

Моя картина «Видение» воскрешает в памяти этот сон.

Между тем возобновились мои мучения из-за злополучного вида на жительство. Однажды, возвращаясь в Петербург после каникул, я был задержан лично приставом.

Тот, кто выдавал паспорта, не получив на чай, как надеялся (я этого не понял), приказал:

— А ну, арестуйте его! В столицу — без разрешения?! В околотов его...

Так я попал в тюрьму с ворами.

И слава богу! Здесь по крайней мере у меня есть вид на жительство. Здесь я буду спокоен, сыт и, может быть, даже смогу рисовать.

Жаргон воров и проституток был очень забавен. Они меня не трогали, не обижали. Я даже пользовался у них уважением.

Потом меня перевели в камеру на двоих, где после девяти гасили свет, и нельзя было уже ни читать, ни рисовать. Я засыпал и предавался снам.

Вот один из них. У меня много братьев, а отец — орангутанг. У него в руках кнут. Мы на берегу моря.

Нами овладевает желание искупаться, первым входит в воду мой старший брат Врубель, русский художник, который — не знаю почему — оказался среди моих многочисленных братьев.

Раздеваясь, наш любимый брат обнажает свои золоченные ноги, входит в разбушевавшееся море. Высокие гребни волн. Но где же мой бедный брат? Мы все взволнованы. Вдали точкой виднеется его голова, потом лишь рука, протянутая над водой...

Дети воют:

— Он утонул, наш старший брат Врубель!

Отец вторит басом:

— Он утонул, наш сын Врубель! Остался у нас лишь ты, сын, художник, ты, мой сын!

Тут я просыпаюсь.

Освобожденный, наконец, из тюрьмы, я решил обучиться какому-нибудь ремеслу, дававшему право на жительство в столице. Я пошел туда, где учили писать вывески. Увлёкся и сделал целую серию.

Было приятно видеть, как покачиваются на рынке, у порога мясной или фруктовой лавки, мои первые вывески, о которые нежно терлись свиньи...

А в школе поощрения художеств все идет своим чередом.

Два года потеряны в этой школе. В классах было холодно. Запах сырости примешивался к запаху глины, красок, кислой капусты, стоячей воды в Мойке — столько запахов реальных и воображаемых!

Я не знал ни что, ни как делать. Давить бумагу углем или зевать, как другие?

В это время в Петербурге стала приобретать известность школа Бакста. Столь же далекая от Академии, как и школа поощрения художеств, она была, однако, единственной школой, оживленной дыханием Европы. Но где каждый месяц брать 30 рублей? *

Заручившись рекомендательным письмом и собравшись с духом, я взял все свои этюды и понес их к Баксту, в его квартиру на Сергиевской улице.

Бакст. Европа, Париж.

Он поймет меня, поймет мой лепет, поймет, почему я бледен, почему так часто печален и даже почему я пишу лиловыми красками.

Он стоял передо мной и слегка улыбался, обнажая блестящие зубы.

— Покажите ваши этюды.

Я хотел только одного: чтобы он не ошибся. Признает ли он у меня талант?

Он смотрел мои этюды, которые я поднимал с паркета, и говорил, растягивая слова, со своим барским акцентом:

— Да-а, да-а, талант здесь есть, но вы тратили его понапрасну, вы на ложном пути... Тратили понапрасну...

Хватит! Боже мой, это я-то?! Стипендиат школы поощрения художеств, тот, кому дирекция расточала сияющие улыбки?... Да, но и тот, кто, постоянно сомневаясь в себе, не испытывал никакого удовлетворения от своей мазни...

Голос Бакста, его слова — пусть не во всем справедливые — меня спасали. Произнеси их кто-нибудь другой, я пропустил бы их мимо ушей. Но авторитет Бакста был слишком велик, чтоб я мог пренебречь его мнением. Я слушал его взволнованно, свертывая свои холсты и рисунки, веря каждому его слову.

Встреча с Бакстом никогда не изгладится из моей памяти.

К чему скрывать: кое-что в его искусстве оставалось мне чуждым. Дело, может быть, даже не в нем, а в художественном обществе «Мир искусства», в котором он состоял и где расцветали стилизация, эстетизм, всякого рода маньеризм; для этого общества революционеры современного искусства — Сезанн, Мане, Моисе, Матисс и другие — были лишь зачинателями проходящих мод.

Я пустился в работу. Позировала модель — толстые розовые ноги, фон голубой.

В мастерской среди учеников — графиня Толстая, танцовщик Нижинский. Его мольберт рядом с моим. Он рисует неумело, как ребенок. Подходя к нему, Бакст одаривает его снисходительной улыбкой, слегка похлопывая по плечу. Нижинский точно так же улыбается мне, будто хочет ободрить.

Бакст приходит только раз в неделю. Мольберты выстроены в ряд. Все ученики прекращают работу. Ждут его. Вот и он. Переходит от одного полотна к другому, не зная точно, кому они принадлежат. Только потом он спрашивает: «Это чье?». Говорит он мало — одно-два слова, но наш гипнотический страх и дыхание Европы делают свое дело.

Подходит ко мне. Я теряюсь. Он говорит об этюде, не зная (или делая вид, что не знает), что этюд мой. Бросает несколько малозначащих слов, как в изысканной беседе.

Все остальные взирают на меня с состраданием.

— Чей это этюд? — спрашивает он наконец.

— Мой.

— Я так и думал. Естественно, — прибавляет он. Нет, так продолжаться не может. Я сделал другой этюд. Пятница. Приходит Бакст. Ни слова похвалы.

Это выше моих сил! В общем, учиться я не способен. Вернее, меня невозможно учить. Не зря я был плохим учеником в общей школе. Я беру только инстинктом. Вы понимаете? Школьная теория мне не по зубам.

Не понимая причины провала моих первых этюдов в школе Бакста, я сбежал, чтобы на воле освободиться от этой тяжести.

Я вернулся в школу лишь через три месяца, твердо решив не сдаваться и во всеуслышанье получить одобрение мэтра.

* Нашелся меценат, оценивший талант художника.

Я «забыл» все прошлые наставления и сделал очередной этюд. В пятницу он был по достоинству оценен Бакстом и в знак отличия водружен на стену мастерской.

Вскоре я понял, что больше мне в этой школе делать нечего. Тем более, что сам Бакст с открытием нового Русского сезона за границей навсегда покидал школу и даже Петербург.

Я бормочу:

— А может... Вы знаете, Лев Самойлович... Я хотел бы... в Париж!

— Ну, если вы так хотите... Скажите, вы смогли бы раскрашивать декорации?

— Конечно! (Я и понятия об этом не имел.)

— Вот вам сто франков. Изучите как следует это ремесло, и я увезу вас с собой.

Однако дороги наши разойдутся, и я уеду в Париж один.

Я дома, я пишу свои картины. Мама руководит мною. Она находит, что в картине «Рождение» надо бы перевязать пуповину роженице. Я немедленно сле-
дую ее совету. Она права: тело оживает.

Белла приходит с голубыми цветами. Вся в белом, в черных перчатках. Я пишу ее портрет.

Однажды, утомленный нескончаемыми заборами Витебска, я пишу «Смерть». В другой раз — «Свадьбу». Но все время было ощущение: еще немного, и я весь покроюсь волосами и пеной.

Я слонялся по улицам, я искал и просил: «Боже, ты, сокрытый в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы раскрылась моя душа, печальная душа лепечущего мальчика, укажи мне, Боже, мою дорогу. Я не хочу быть, как другие, я хочу видеть новый мир».

Дома разъяты — лопнули, как скрипичные струны, и все жители парят над землей. Семья устраиваются на крышах. Краски смешиваются, превращаются в вино — и полотна мои желтеют...

Мне очень хорошо с вами со всеми. Но... Вы слышали что-нибудь о великих традициях, об Эксе, о художнике с отрезанным ухом, о кубах и квадратах, о Париже?

Витебск, я покидаю тебя.

Я сам не очень-то понимал, чего хотел — я, глубокий провинциал, откровенно говоря. Любя переезды, я вместе с тем только и мечтал, что остаться один в своей клетке. Я часто говаривал: мне всего-то и надо что клетушку с оконцем в двери, через которое мне давали бы пищу. С таким ощущением я совершал свои путешествия в Петербург, а позже — в Париж.

В Париже мне хотелось постичь все, особенно секреты мастерства.

Я видел его повсюду — в музеях, салонах.

Но, может быть, моя восточная душа сбилась с пути, может, бешеная собака укусила меня. Ибо не только в мастерстве я искал смысл искусства. Я видел перед собой иных богов. Я не хотел больше думать о классицизме Давида, Энгра, о романтизме Делакруа, о кубизме и переднем плане на полотнах сезанновских учеников. Меня осенило: мы все еще бродим вокруг да около предмета, боясь погрузиться в хаос, разбить, разрушить привычное.

На следующий день по приезде я пошел в Салон Независимых.

Я проник в самое сердце французской живописи 1910 года. Я был захвачен. Никакая академия не могла бы дать мне все то, что я вбирал в себя на выставках Парижа, в его музеях, с его витрин.

Прожив некоторое время в тупике дю Мэн, я переехал в другую мастерскую, которая все-таки была мне по карману, — в «Улей». Так называлась сотня мастерских, окруженных маленьким садом вблизи бойни на улице Вожирар. Здесь проживала артистическая богема со всех стран.

В то время как в мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев звучала гитара и песни, у евреев — дискуссии, я в своей мастерской был один при свете керосиновой лампы.

Мастерская завалена картинами — холстами, которые, впрочем, были моими скатертями, моими простынями, моими ночными рубашками, порванными на куски.

Два, три часа ночи. Небо голубеет. Встает рассвет. Внизу, недалеко, режут скот. Коровы мычат, а я их рисую.

Так я бодрствую ночи напролет. Вот уже неделю моя мастерская не убирается. Мольберты, яичная скорлупа, пустые коробки из-под бульона по два су валяются где попало.

На досках соседствуют копии Эль Греко, Сезанна, остатки сеledки (которую я делил пополам — голову на первый день, хвост на завтра), и, слава Богу, корки хлеба.

Однажды в Париже я пошел на балеты Дягилева, чтобы повидать Бакста и Нижинского.

Подбежал Нижинский, похлопал меня по плечу.

Он торопится на сцену, где его ждет Карсавина: давали балет «Видение розы». Бакст по-отечески останавливает его. «Подожди, поди-ка сюда», — и поправляет на нем широкий галстук.

Рядом Д'Аннунцио — маленький, с тонкими усиками — нежно флиртует с Идой Рубинштейн.

— Все-таки приехали? — бросает мне Бакст.

Я смущен. Ведь он не советовал мне ехать в Париж, предупреждал, что там я умру с голоду, и чтоб на него не рассчитывал.

Откровенно говоря, в эту минуту мне было неважно, придет Бакст посмотреть мои работы или нет.

Но он, уходя, сказал:

— Я приду к вам взглянуть, что вы делаете.

И однажды он пришел:

— Вот теперь ваши краски поют...

То были последние слова, адресованные профессором Бакстом своему бывшему ученику...

Один мой товарищ из «Улья» фабриковал картины и продавал их на рынке.

Как-то я спросил его:

— Может, и я смогу что-нибудь там продать?

Он рисовал дам в кринолинах на прогулке в парке. Это было не по мне. А вот пейзаж в стиле Коро — почему бы и нет? Я взял репродукцию Коро, но чем больше старался сделать «а ля Коро», тем больше удалялся от него и кончил «а ля Шагала»!

Товарищ лишь посмеялся надо мною. Велико же было мое удивление, когда годы спустя я увидел это полотно в салоне одного коллекционера...

На кубистов я взирал со стороны: «Пусть сколько угодно едят свои квадратные груши на своих треугольных столах!»

Несомненно, мои первые картины были несколько странны для французов. А я просто любовался ими. Может быть, думал я, мое искусство слишком безрас-
судно — пылающая ртуть, голубая душа, искрящаяся на холстах? И я мечтал: долгой натурализм, импрессионизм, реалистический кубизм! Они сковывают меня...

Куда мы идем? Что это за эпоха, которая воспе-
вает искусство техники и превозносит формализм? Пусть процветает наше безумие! Искупительная баня. Революция глубины, не только поверхности.

Не зовите меня фантазером! Наоборот, я реалист. Я люблю землю.

...А там — другое, легкое и звучное пламя. Блэз, друг Сандрар. Хромовая блуза, чулки разных цветов. Морщины — следы солнца и нужды.

Искусство пылающей жидкости. Неистовство картин, едва рожденных. Головы, отдельные члены, летающие коровы.

Я вспоминаю обо всем этом, а ты, Сандрар?

Он был первым, кто пришел ко мне в «Улей».

Он читал мне свои поэмы, глядя в открытое окно, улыбался моим холстам, и мы оба смеялись.

...Вот мансарда Аполлинера, доброго Зевса. В стихах он прокладывает для нас дорогу. Он выходит из своей угловой комнаты. Его широкое лицо озаряет улыбка. Его иос дико заостряется, глаза — добрые, загадочные — излучают волю. Он несет свой жи-



ПРОГУЛКА 1917—1918 г.

К СТОЛЕТИЮ МАРКА ШАГАЛА
1887—1985 гг.



ЧАС МЕЖДУ ВОЛКОМ И СОБАКОЙ.
Между тьмой и светом
1938—1943 г.



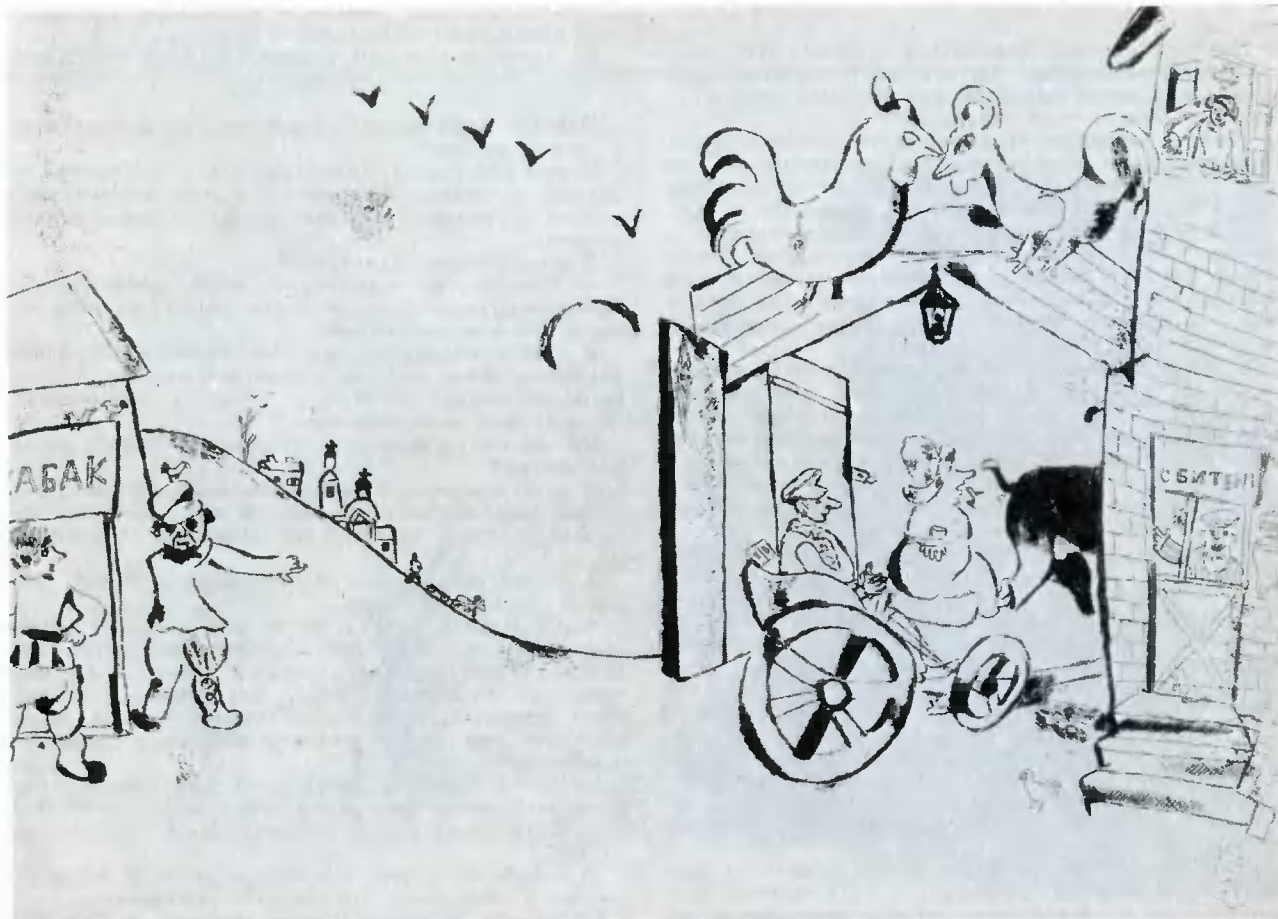
**ХУДОЖНИК
НАД
ВИТЕБСКОМ
1977—1978 г.**



**НЕВЕСТА
С СИНИМ
ЛИЦОМ
1932—1960 г.**



НОВОБРАЧНЫЕ НА ФОНЕ ПАРИЖА
1984 г.



М. Шагал. «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Въезд Чичикова в город Н. Офорт.

вот, как полное собрание сочинений, и ноги его жестикулируют, как руки.

У него много спорят.

В углу сидит маленький приятный человек. Аполлинер подходит к нему, тормозит:

— Знаете, что надо сделать, мсье Вальден? Надо организовать выставку вот этого молодого человека. Вы с ним не знакомы? Мсье Шагал...

Однажды мы с Аполлинером идем обедать к Бати на Монпарнас. По дороге он вдруг останавливается: — Смотрите, вон Дега. Переходит дорогу. Он слепой.

Дега идет один, брови нахмурены, вид угрюмый. Идет большими шагами, опираясь на трость.

За столом я спросил Аполлинера, почему он не представил меня Пикассо.

— Пикассо? Вы хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончали таким образом, — отвечает Аполлинер, как всегда, улыбаясь.

«Какой волчий аппетит», — думаю я, глядя, как он ест.

Аполлинер ел, будто пел, еда звучала у него во рту. При этом он успевал раскланиваться налево и направо. Знакомые — со всех сторон.

— О! О! А! А! А!

Малейшая пауза — он опустошает бокал, утирается салфеткой.

Обед закончен, пошатываясь и облизывая губы, мы отправляемся в «Улей».

Я не решаюсь показать свои полотна Аполлинеру: — Я знаю, вы вдохновитель кубизма. Но я стремлюсь к другому.

— К чему другому?

Мне становится неловко.

Импрессионизм и кубизм мне чужды. Искусство должно быть состоянием души. Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно

только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку.

Аполлинер садится. Он пыжится, краснеет и, улыбувшись, шепчет: «Сюрреализм!»

На следующий день я получил от него поэму, мне посвященную.

Как проливной дождь, бьет смысл ваших слов.

Сегодня вы, конечно, грезите об акварелях, о новой живописи, о поэтах, обиженных судьбой — обо всех нас, за кого вы некогда замолвили слово.

Забыта ли или все еще с нами его сияющая улыбка на мертвом лице?

...Дни мои тянутся на площади Конкорд или около Люксембургского сада.

О, если бы мне удалось, оседлав химеру Нотр-Дам'а, прочертить путь в небо!

Париж, ты — мой второй Витебск!

Я, волнуясь, вернулся в Витебск.

Я написал серию «Витебск. 1914». Я рисовал все, что попадалось на глаза. Рисовал через окно, никогда не выходил на улицу с ящиком красок.

Вот за столом перед самоваром сидит тихий согбенный старик.

Я спрашиваю его глазами: «Кто вы?»

— Как?! Вы меня не знаете? Вы никогда не слышали о проповеднике из Слуцка?..

— Тогда, прошу вас, приходите ко мне. Я сделаю из вас... Как бы это сказать?..

Как ему объяснить?

Он входит, садится на стул и вскоре засыпает.

Видели вы старика в зеленых тонах, которого я написал?

Это он.

Мимо нашего дома проходит другой старик. Седые волосы, угрюмый вид. За спиной мешок. Смеет ли он хоть молить о милостыне? Он молчит. Такой входит и тихо стоит у двери. Стоит долго. И, если ему ниче-

го не дают, уходит, как пришел, не проронив ни слова.

Вы видели моего молящегося старика? Это он.

Я рисовал, рисовал и... в конце концов, в один дождливый вечер очутился под брачным венцом — все было, как на моих картинах.

Но этой церемонии предшествовала долгая комедия.

Родителям и многочисленным родственникам моей... да, да, моей жены не нравилось мое происхождение. Еще бы: мой отец — простой приказчик, а дед...

А это семейство — подумать только! — владело в нашем городе тремя ювелирными магазинами. В витринах сияли и переливались разноцветными огнями кольца, броши и браслеты. Отовсюду звонили часы и будильники. Мне, привыкшему к другим интерьерам, все это казалось неземной роскошью.

У них три раза в неделю пекли огромные пироги с яблоками, сыром, маком, при одном виде которых я обмирал. И по утрам, к завтраку, подавали блюда с этими пирогами... А у нас дома — простой натюрморт а ля Шарден. Их отец наедался виноградом, как мой — луком, а телятина, которую у нас приносили в жертву только раз в год, в канун Великого Прощения, не сходила у них со стола.

У меня нет больше сил говорить об этом. Кружится голова.

Мать моей невесты говорила ей:

— Послушай, мне кажется, он даже красит щеки... Что это за муж — мальчик розовый, как девушка? Он никогда не сумеет заработать на жизнь...

Но что делать, если ее дочь меня любит...

— Да еще художник!

— Что люди скажут?!

Так честили меня в семье моей невесты, а она по утрам и вечерам приносила в мою мастерскую сладкие пироги, жареную рыбу, кипяченое молоко, яркие, разноцветные лоскуты и даже доски, которые служили мне мольбертом.

Я открывал окно — голубой воздух, любовь и аромат цветов наполняли комнату с ее приходом. Вся в белом или вся в черном — она еще долго летала на моих полотнах, паря над моим искусством. Я ни картины, ни рисунка не мог закончить, не спросив у нее: «Да или нет?»

Велика важность — ее родители, братья. Бог с ними!

Бедный мой отец!

— Пойдем, папа, — говорю, — на мою свадьбу.

Он, так же как и я, предпочел бы пойти спать. Стоило связываться с людьми такого высокого положения?

Придя с большим опозданием в дом своей невесты, я нахожу в сборе весь синедрион.

Жаль, что я не Веронезе. Вокруг длинного стола — главный раввин, мудрый старик, хитроватый, сидит с величественным видом толстого буржуа, и вся компания евреев посматривает, чьи кишки уже бурчат в ожидании моего прихода и... обеда. Какой же обед без жениха! Я прекрасно это понимал, и они меня забавляли.

Пусть этот вечер будет самым важным в моей жизни, и если сейчас — без музыки, без звезд и неба, на фоне желтой стены, под красным балдахином — меня все-таки женят, что мне за дело до этих обжор!

Их друзья и знакомые конфузятся, узнав, что я — художник.

— Впрочем, кажется, он уже знаменит. Он даже деньги получает за свои картины. Вы это знаете?

— Что вы говорите?! А слава и почет?..

— Но кто его отец?

— А я знаю?..

Как я потом жалел, что глупая робость помешала мне дотронуться до бесконечных вкусных блюд, до гор фруктов, винограда, украшавших свадебный стол.

Над нашими головами струились благословения, вино, а, может, и проклятия.

Я потерял рассудок. Все кружилось вокруг меня...

Наконец мы одни в деревне.

За лесом луна. Свинья в хлеве, лошадь за окном. Небо лиловое.

К полудню наша комната приобретала вид гениального панно из больших салонов Парижа.

Но гремела война. И Европа для меня закрылась.

Нарком Луначарский, улыбаясь, принимает меня в своем кабинете.

Я уже встречался с ним однажды — в Париже, незадолго до войны. Он приходил в мою мастерскую в «Улье» посмотреть картины, чтобы написать статью в газету.

Я тогда говорил Луначарскому:

— Главное, не спрашивайте меня, почему я писал в голубом и зеленом цвете, почему теленок видится мне в животе коровы...

И наспех показывал ему свои полотна. Он, молча улыбаясь, делал пометки в записной книжке. У меня было ощущение, что от этого визита у него останутся не лучшие воспоминания...

Но вот он торжественно утверждает меня в новой должности *.

Я возвращаюсь в Витебск накануне первой годовщины Октябрьской революции. И мой город готовится к празднику, украшая улицы большими плакатами.

В нашем городе было много маляров. Я всех собрал — старых и молодых.

— Слушайте: я буду учить вас и ваших детей, закройте свои мастерские, кончайте свою мазню. Все заказы будут передавать в нашу школу, и вы распределите их между собой... Вот дюжина эскизов. Надо перенести их на большие полотнища и развесить там, где пройдет колонна рабочих с факелами и знаменами.

Маляры — бородатые старики и их подмастерья — принялись копировать моих коров и лошадей. И 7 ноября по всему городу раскачивались цветные полотна...

Шли рабочие и пели «Интернационал». Я видел их улыбки и убеждался, что они меня понимают...

Глаза мои горели административным пылом. Меня окружали ученики, из которых я в двадцать четыре часа собирался сделать гениев. Я из кожи вон лез, чтобы раздобыть необходимые для школы краски и материалы.

Я ходил на прием в Губисполком, чтобы добиться денег из отпущенных городу кредитов.

— Как вы думаете, товарищ Шагал, что важнее — срочно отремонтировать мост или дать деньги вашей академии изящных искусств?

Если бы не поддержка Луначарского!..

Наркомпрос приглашает меня преподавать в детской колонии «Третий Интернационал» в Малаховке. Эти дети — несчастные сироты.

В лохмотьях, дрожащие от холода и голода, они скитались по городам, висели на буферах поездов, пока их, наконец, не собрали — тысячу из многих других — в детские приюты.

И вот они передо мной.

Дети сами вели хозяйство — по очереди готовили еду, пекли хлеб, кололи и таскали дрова для печки, стирали и латали. Они заседали на манер взрослых, обсуждали и судили друг друга и даже своих учителей, хором пели «Интернационал».

Я обучал их искусству.

Я их любил. Они рисовали. Они набрасывались на краски, как звери на мясо.

Один из этих парнишек был постоянно одержим творчеством. Он рисовал, сочинял музыку и стихи. Другой выстраивал свое искусство как инженер. Некоторые предавались искусству абстрактному, другие приближались к Чимабуэ и искусству соборных витражей.

Долгое время я восторгался их рисунками, их вдохновенным бормотаньем...

Кем вы стали, мои дорогие ребята?

Когда я вспоминаю вас, мое сердце замирает.

Перевод с французского Л. ДУБЕНСКОЙ

* Марк Шагал был назначен уполномоченным коллегии по делам искусств Витебской губернии.



Ираклий
КВИРИКАДЗЕ

РАДУГА В ГЛАЗАХ ХРОМОЙ СОБАКИ

Повесть-памфлет

Вы не верите, что эта история произошла в действительности? Ваше право! Но я продолжаю рассказ о том, как королева Англии Елизавета приезжала в Грузию к железнодорожнику Шалве Квирикадзе, моему дяде, и провела ночь в его доме в городке Хашури, в ста двадцати километрах от Тбилиси. Произошло это в начале семидесятых годов.

Фраза «провела ночь» звучит крайне неприлично по отношению к королевской особе, поэтому спешу пояснить: провела ночь не только в обществе железнодорожника Шалвы, но и его законной жены Луизы, а также бывшего президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона.

Всякую историю надо рассказывать так, чтобы читатель мог понять и разобраться в ней.

Я начну с оврага.

Недалеко от городка Хашури есть овраг.

Мой дядя Шалва имел привычку спускаться в этот овраг и метровой линейкой мерить его длину и ширину.

Служил он проводником поезда Тбилиси — Батуми, было ему лет пятьдесят пять, полноват, курчав, глаза сверкали странным огнем.

Сумасшедший, скажете вы, узнав, зачем он ходил по дну оврага с линейкой и метр за метром мерил длину, ширину, объем. Да, объем.

Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его бормочущим: «Тридцать четыре тысячи танков у НАТО. Каждый танк длиной четыре метра, шириной три, весом шестнадцать тонн».

Шалва часами сидел в хашурской городской библиотеке, читал газету «Красная звезда» и журнал «Советский воин». Он черпал оттуда информацию о численности вооружений военных блоков НАТО, СЕАТО, Варшавского Договора.

Я помню библиотеку, где в читальном зале на стенах висели портреты грузинских поэтов и портрет Рабиндраната Тагора. Однажды библиотекарьша заколола ножом своего возлюбленного. Дядя Шал-

Рисунки
А. Адабашьяна

ва, находящийся в эти драматические минуты в читальном зале, выволок возлюбленного на улицу, но тому уже все было безразлично; шепча: «Она не виновата», — он испустил дух. Библиотеку закрыли на две недели, и дядя изнывал без свежих газет и журналов.

Оставим дядю в тиши открытой библиотеки в обществе новой библиотекарши, которой было запрещено готовить в задней комнатке обед. Бывшая библиотекарша подкармливала своего возлюбленного, и чем это обернулось для последнего, вы знаете.

Пройдемся по городку Хашури.

На базаре за мясными рядами — «кабинет звукозаписи». В этом кабинете в начале семидесятых я подыгрывал на аккордеоне желающим записать звуковое письмо.

Однажды Ричард Никсон заглянул сюда и пропел на английском языке песню, я долго подбирал мелодию, президент терпеливо обучал меня, но в итоге он остался доволен мною. Я же его голосом — не очень. Президент написал на бланке свой адрес. По этому адресу я послал рентгеновский снимок с его сиплым голосом в Штаты. Адреса не помню, помню, что песня была сентиментальной. Год спустя я, мой дядя, Ричард Никсон, который к тому времени «погорел» на Уотергейтском скандале и уже не был президентом, плыли на пароходе времен Марка Твена по искусственной реке в Диснейленде. Меня с дядей, помню, удручало, что крокодилы в реке пластмассовые, индейцы, выскакивающие из прибрежных кустов с боевым кличем, пластмассовые. На палубе парохода Ричард Никсон вдруг запел ту самую песню, которую он пел в Грузии, в Хашури, в «кабинете звукозаписи».

Никсон пел, вокруг стояли американцы, молодые и старые, и, несмотря на то, что вся Америка была под впечатлением недавно разразившегося Уотергейтского скандала, слушатели радушно аплодировали экс-президенту...

Боже, куда меня занесло, вот что значит графомания!

Должен сознаться, что я иикакой не писатель, со временем вы поймете, зачем я, культмассовик санатория «Светлый» Боржомского лечебного комбината Ираклий Квирикадзе (не путать с режиссером И. Квирикадзе), взялся за чернила, бумагу.

Место действия — Грузия, городок Хашури, 1974 год.

Население — семьдесят тысяч человек.

Рядом с Хашури деревушка Сурами со знаменитой средневековой крепостью, в которой был замурован златокудрый юноша по имени Зураб.

В деревушке живут грузинские евреи. Там же — сумасшедший дом и черный рынок.

Черный рынок бурно торговал в описываемые мною времена. Сейчас еврейский квартал опустел, многие евреи уехали в Израиль, сумасшедший дом расформировали, осталась лишь крепость с замурованным златокудым юношей. Но дядя Шалва утверждает, что юноши нет в стенах крепости. Дядя открыл тайну, и я поверил в нее: в далеком средневековье Зураб был вызволен из стены, и наш с дядей род идет от этого златокудрого юноши. То есть легендарный Зураб мой пра-пра-пра-прадед.

Сурамская крепость строилась для защиты от нашествий персов, турок, монголов, не раз заливавших кровью многострадальную Грузию. Среди генов моего рода сидит микроскопический ген — ненависть ко всем войнам, прошлым, настоящим, будущим.

Поэтому дядя Шалва ходит по оврагу с метровой линейкой, вымеряет длину и ширину оврага, высчитывает его объем, поэтому он выписывает из газет и журналов информацию о численности вооружений НАТО, СЕАТО, Варшавского блока, поэтому вбил себе в голову Великую Идею — собрать все танки, пушки, минометы, гаубицы, ракеты, скинуть их в овраг, именуемый Тартар, засыпать

землей, чтобы человечество на веки вечные забыло о кошмарах войны.

Шалва красивым почерком расписывал альбом для рисования, составлял схемы, сочинял стихи и посылал бандероли в Вашингтон, Лондон, Москву, Рим, Токио. Он сообщал главам государств о своей Великой Идее.

Помню дядю склонившимся под зеленым абажуром, рисующим папу римского на фоне Собора святого Петра. Мимо папы проезжали товарные вагоны, из них выглядывали жерла пушек.

Эшелоны направлялись в Хашури. К оврагу Тартар была подведена железнодорожная ветка. В альбоме, адресованном японскому императору Хирохито, дядя нарисовал бомбу «Малыш», ту самую, которая в одну минуту превратила Хиросиму в пепел.

Дядя писал императору, что всем подобным «малышам» надо спеть колыбельную песню и усыпить их навсегда на дне оврага Тартар.

Начальник Хашурского почтового отделения Мария Виссарионовна Ахабадзе терялась от количества посылок и бандеролей, адресуемых в необычные пункты назначения — Вашингтон, Белый дом; Лондон, Бекингемский дворец; Бонн, канцелярия канцлера, и т. д.

Мария Виссарионовна отказывалась посылать эти бандероли. Когда дядя отправлял в очередную столицу мира свой проект Всемирного Разоружения, она крикнула басом:

— Кончай издеваться над правами моей почты! Я помню ее странную фразу (простите за некоторое сквернословие): «Скорее себе на задницу поставлю штемпель, чем на твои бандероли».

Дядя стал отвозить корреспонденцию то в Тбилиси, то в Батуми.

Мария Виссарионовна Ахабадзе нарушила закон о тайне переписки. Вскрыв одну из бандеролей и ознакомившись с содержанием, она переслала ее в местную газету под названием «Хашурский путеец», выходящую два раза в неделю на грузинском и русском языках.

Газета любила описывать железнодорожные катастрофы, которые случались, правда, только на западных железных дорогах.

«Июкогама вновь печально порадовала нас столкновением бензовоза с летним пассажирским поездом. Случилось это недалеко от пляжа. Японские трудящиеся увидели кошмарное чудо: с рельсов прямо на них катились огненные ангелы смерти. В мгновение смешались вагоны, цистерны, люди, купальные костюмы, которые горели, как горят жирафы на полотнах сюрреалиста Сальвадора». Автор заметки ограничился именем испанского художника, не назвав его фамилии. В редакции «Хашурский путеец» с интересом ознакомились с Великой Идеей проводника поезда Тбилиси — Батуми.

Редактора звали Радамес. Понятно, что это была кличка. Радамес был завсегдатаем всех свадеб, поминок, проходивших в городке Хашури и его окрестностях.

Радамесу принадлежит авторство грандиозной шутки, которую так удачно осуществила редакция с моим дядей Шалвой.

Внимание! Если до сих пор вы читали рассеянно, отключались от моих строк по вполне уважительным причинам — вкусный ужин, предложенный любимой женой, телефонный звонок (звонит друг, вышестоящий чиновник), поход к стоматологу, в химчистку, — то сейчас отложите все свои суетные дела и внимательно следите за развитием повествования.

...Редактор газеты «Хашурский путеец» предложил своим коллегам устроить творческий вечер поэта-железнодорожника Шалвы Квирикадзе.

Скучные редакционные будни оживились, посыпались предложения: на голову поэта водрузить лавровый венок, лавр рос в окрестностях Хашури, и не представляло большого труда сплести этот поэтический символ.



Сам Радамес составил телеграммы, которые решили зачитать в конце вечера, телеграммы от королей, королев, президентов, каицлеров, папы римского и других.

Шедевром его фантазии было громкое восклицание: «Я буду Ричардом Никсоном!».

Радамеса не поняли. Он полистал подшивку «Хашурского путейца», нашел фотографию Никсона, приподнял газету над головой, и все увидели, что раздутые скулы, утиный нос Радамеса имеют свое повторение на бледном типографском оттиске. Казалось, у Никсона и Радамеса один далекий предок.

— Тогда я королева Англии! — засмеялась единственная в редакции женщина, малоприметная Мальвина Барсук. Ее национальности не знали, но никто так не владел корректорским искусством исправления грузинских рукописей.

Если бы Мальвина Барсук могла представить, что ей вскоре придется садиться в королевскую карету, стоящую у подъезда Бекигемского дворца, если бы знал Радамес, он же Ваню Метревели, что ему вскоре придется плыть на пароходе в Диснейленде, давать интервью в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, то ни она, Мальвина Барсук, ни он, Ваню Метревели, не решились бы на эту безобидную игру с поэтом-железнодорожником Шалвой Квирикадзе.

...Мой дядя Шалва, я вижу тебя в резиновых сапогах, в резиновом плаще на дие оврага в хмурый дождливый день, когда над твоей головой сверкает молния, гремит гром, ты идешь по лужам, сапоги хлюпают в грязи, ты обуреваем своей Великой Идеей Всемирного Разоружения!

В руках твоих зажата метровая линейка. Ты еще не знаешь, какую шутку хотят сыграть с тобой работники редакции «Хашурского путейца». Ты думаешь о спасении всего человечества.

Стих гром, ослаб дождь, запахло серой. И ты увидел нечто странное. Из-за склона оврага выплыл огненный шар. Он приближался к тебе с тихим шипением, разбрасывая искры, и был похож на бенгальский огонь, с которым бегают дети во круг новогодней елки.

Не знаю, испугался ли ты, скорее всего испугался. Ты понял, что это чудо природы, которое дано видеть не всем смертным. Ты понял, что это шаровая молния! Ты хотел бежать, а ноги твои не слушались тебя. Ты смотрел на приближающуюся смерть, но она была так прекрасна, что ты, завоороженный ею, стоял и ждал.

Огненный шар столкнулся с твоим лбом. Но чудо было чудом — не взрыв, не грохот, а тишина. Молния вошла в тебя, растворилась в твоём теле и дала тебе то странное нечто, что потом заставило удивляться и недоумевать многих, в том числе Радамеса, Мальвину Барсук и меня.

Сегодня, работая культмассовиком боржомского санатория «Светлый», я дал почитать свою рукопись одному отдыхающему.

Отдыхающий знал меня аккордеонистом, я играл на скучных санаторских вечерах, был организатором глупейших игр типа «бег в мешках», и он чрезвычайно удивился тому, что я, культмассовик Ираклий Квирикадзе, был близко знаком с президентом Соединенных Штатов Америки.

Литератор Катунин, прочтя рукопись, сказал, что шаровая молния — это аттракцион, клоунада моего воображения. Я не стал с ним спорить, так как реальность этого факта мне известна во всей своей достоверности.

Мама послала меня в тот день на поле за капустой. Не будем уточнять, срезал ли я ее на нашем участке или воровал у соседей, но так или иначе, возвращаясь с капустным кочаном в руках, я попал под дождь и видел дядю, на которого налетела, иаткнулась, не знаю, как сказать о шаровой молнии, я видел эту молнию и был так изумлен, что капуста выпала из моих рук.

И не для литераторов пишу я историю дяди Шалвы.

Катунии сказал, что у него большое знакомство в мире кино, и он считает, что «феномен Шалвы» так и просится на экран.

Это его, Катунина, слова: «История Шалвы — фантастическая реальность». Я ходил с Катунным к Боржомскому источнику, мы пили теплый боржом, и он учил меня: «Опиши все кратко, будто составляешь телеграмму».

Так вот, если кратко: в день, когда в дядю Шалву вошла шаровая молния, произошло несколько странностей.

Шалва встретил на автобусной станции жену, та уезжала в Тбилиси за школьной формой для сына: приближался сентябрь, младший шел в первый класс. Шалва усадил жену в автобус, пробурчав: «Могла бы добраться со мной поездом». Автобус отъехал, Шалва пошел домой.

За дверьми он услышал голос жены; от неожиданности Шалва стал поворачивать ключ не в ту сторону, не открывая, а закрывая.

Жена с кем-то шепталась, горячо и тревожно. Шалва узнал голос соседа Авессалома, утонувшего в Куре три года назад.

Авессалом был известен как утешитель одиноких женщин — вдов, брошенных жен, заезжих туристок. Проводник, часто не ночевавший дома, слышал сплетни об Авессаломе и собственной жене. Сейчас утонувший три года назад уговаривал жену лечь в постель, согреть его.

Когда Шалва отворил дверь, он увидел, как утопленник тянулся к губам Луизы. Что было делать Шалве?

Он поступил неожиданно для себя, словно не заметил ни Луизы, ни Авессалома, прошел мимо них на кухню. На сковороде лежала холодная курица. Он стал выламывать курице ногу и слушать, что происходит с теми двумя.

Тишина.

Шалва вернулся в прихожую.

Не было жены, не было Авессалома. За год до исчезновения в водах Куры Авессалом зашел к ним в дом, попросил десять рублей, задержался, приняв приглашение Шалвы отведать шпроты. Шалва привез их из Батуми.

Авессалом смеялся: «Времена нелепые — из Батуми везут консервы».

Луиза вынесла им бутылку чаи. Они съели по банке шпрот. Когда Шалва и Луиза провожали Авессалома, то в прихожей случилась нелепица. Шалва шел впереди, за его спиной захлопнулась входная дверь, Шалва оказался на улице, а Авессалом и Луиза — в доме.

Шалва стучал, никто не откликнулся. Шалве показалось, что его выгнали из собственного дома. С тех пор прошло четыре года.

Каждый раз, когда он из поездок возвращался в дом, открывал ключом дверь, он вспоминал тот случай. А сегодня Авессалом, три года назад утонувший в Куре, соблазняет его жену, которая, он знал, в эти минуты ехала в автобусе Хашури — Тбилиси.

Вторая странность произошла около «кабинета звукозаписи». Я увидел дядю в окне: он шел по базару грустный, задумчивый.

Войдя в звукозапись, спросил:

— У тебя есть пластинка Робертино Лоретти?
— Дядя, Робертино давно уже никому не нужен...

— Мне нужен...

Дядя нервничал, садился, вставал, подходил к фотографиям певцов, голоса которых мы размногожали на рентгеновских снимках.

— Луиза плачет, когда слушает Робертино. А я сломал пластинку...

И в это время на базаре появился странный молодой человек. Он шел в черном костюме, волосы его были набриолинены, на шее белый шелковый шарф.

Он подошел к стеклянной витрине «кабинета звукозаписи», заглянул в нее. Увидел дядю, поманил его пальцем. Помню золотое кольцо с синим кам-

ием. Дядя вышел, а мне почему-то стало неловко выходить, хотя было крайне любопытно. Белые туфли и черный костюм — все это выглядело совсем не по-хашурски.

Я видел, как молодой человек улыбался дяде, что-то говорил ему, потом достал из-за спины пластиночный конверт, вручил Шалве и, попрощавшись, удалился.

— Кто это был? — спросил я дядю, когда тот вернулся в звукозаписи.

— Робертино Лоретти. Он мне сказал: «Вы меня помните маленьким, когда я был итальянским чудом, а теперь я не чудо», — и дал вот эту пластинку.

— Дядя, как Робертино оказался на нашем базаре?

— Не знаю.

— А как он узнал о твоей разбитой пластинке?

— Не знаю.

Я разглядывал конверт пластинки, он был иностранный.

...Литератор Катунин отнял у меня ручку и крайне раздраженно сказал:

— Сейчас ты будешь описывать рисунок на конверте: море, парус, вулкан Везувий, рыбаки тянут сети, поэт итальянский мальчик, помогаая рыбакам вытягивать сеть, — не занимайся кружевами. В твоей истории меня интересует проект Всемирного Разоружения Шалвы Квирикадзе, появление в Грузии королевы Елизаветы, президента США Ричарда Никсона, их кругосветные путешествия. Не тяни резину, хватай быка за рога.

Назло литератору и его литературным канонам, которым он обучает меня, попивая теплый боржом, — экспозиция, кульминация, развязка, — я расскажу вам, как во время войны по приказу генерала Баграмяна дядя Шалва нес бутылку с водой. Генерал Баграмян со своими войсками вышел к Азовскому морю. Взял пустую бутылку, опустил в воды Азова, заполнил и велел отослать бутылку в Москву, в Кремль, Генералиссимусу Сталину, сообщая этим, что немцы отбиты и воды Азова наши. Иосиф Виссарионович получил бутылку, оценил, видимо, юмор генерала Баграмяна по достоинству, велел спрятать бутылку на кухне, но «не выливать азовскую воду».

Прошло немного времени. На южных фронтах произошли перемены не в пользу генерала Баграмяна. Войска, находившиеся под его командованием, были отброшены от берега моря километров на сто.

Узнав об этом, Сталин велел с кухни принести бутылку. Ее принесли. «Отошлите товарищу Баграмяну и передайте, что я требую вылить эту воду назад в Азовское море, немедленно, по прибытии бутылки в его распоряжение».

Баграмян в расстроенных чувствах принял бутылку, позвал Шалву Квирикадзе и велел юному бойцу пробраться через немецкие территории к азовскому берегу, там раскупорить бутылку и вылить содержимое.

Шалва пошел.

Семь дней и ночей двигался дядя по немецким тылам.

Он рассказывал мне об ужасах и кошмарах, пережитых им: о немецких овчарках, которые хотели выгнать его из болота, где он, сидя на дне, весь день дышал через тростинку, немцы не могли понять, что за зверя облаивали собаки.

Прожорливые и пьявки облепили дядино лицо, прокрались под гимнастерку, сапоги и наслаждались дядиной кровью.

Ночью, обескровленный, он продолжил путь к Азовскому морю. К концу седьмого дня он подошел к теплому лазурному берегу. Азов цвел. Зеленые водоросли поднялись со дна. В небе пели белые птицы.

Шалва опустился на колени, откупорил бутылку, слил воду в море.

Я спросил дядю: «Зачем ты шел до Азова? Ведь мог бы, уйдя от генерала Баграмяна на сто шагов, вылить эту воду в любом ручье, на неделю залечь в стогу сена, отоспаться и вернуться к генералу с выполненным заданием».

«Ты ничего не понимаешь, мальчик», — сказал дядя.

Если бы я самостоятельно писал эту историю и не пользовался советами литератора Катунина, то постоянным рефреном (новое для меня слово) был бы эпизод «Дядя Шалва несет бутылку к Азовскому морю».

Кстати и нестати появлялся бы тогда дядя времеи войны в самых неожиданных местах: вот, к примеру, едем мы в Калифорнии по широоченной автостраде, и кто-то перебегает перед нашим «крайслером» дорогу, этот кто-то в грязной военной шинели бежит с бутылкой в руках, за ним — овчарки, за овчарками — солдаты в касках.

Ричард Никсон повернет голову, скажет: «Кино снимают. Кажется, Рональд Рейган бежит... Остановимся?» «Нет», — отказываемся мы с дядей. Мы-то знаем, что это не Рональд Рейган — звезда Голливуда, а Шалва Квирикадзе несет по указанию Иосифа Виссарионовича Сталина бутылку с азовской водой к Азову. Это наше с дядей видение.

Но вернемся к рекомендациям Катунина — «писать о главном».

...В редакции «Хашурский путеец» чествуют поэта-проводника Шалву Квирикадзе. Поэт в белом праздничном кителе сидит в кресле.

На кителе блестят медные пуговицы с эмблемой Министерства путей сообщения.

Поэту только что водрузили на голову лавровый венок.

Радамес читает отрывки из стихотворных посланий Шалвы главам государств. Мне нравятся эти стихи. В Радамесе умер великий актер, голос его красив, торжествен, он наполняет комнату гулом набата, неожиданно опускается туманом на поля, белым ангелом парит над Кавказскими горами, раскаленной головешкой в ночи кружится перед глазами слушателей.

Радамес смеется, читая строки, в которых Шалва призывает генерала Макартура скинуть с себя мундир, погоны и вместе с маленькой девочкой полезть на дерево, сорвать там девочке грушу, да и самому съесть грушу и, сидя на дереве, подумывать о том, стоит ли сбрасывать бомбы на этот чудесный мир...

— А какие прекрасные иллюстрации к поэме!

Радамес показывает залу рисунок, где генерал Макартур и девочка сидят на вершине грушевого дерева.

Наступил момент оглашения прибывших со всего мира телеграмм.

Первая от римского папы. Текст был длинным, помню только фразу: «Дорогой Шалва, как и вы, я мечтаю о земном рае».

Под окном редакции завыл маневровый паровоз. Он выл и пускал черный дым. Радамес вышел ругаться с машинистом. За ним вышла Мальвина Барсук.

«Я хотел бы обладать столь же ясным видением мира, каким обладаете вы, дорогой Шалва, будь моя воля, я отдал бы вам Премию мира имени горячо любимого мною господина Нобеля», — писал король Швеции.

В этот момент в комнату вошли королева Англии Елизавета и президент США Ричард Никсон.

Президент чуть задержался в дверях, пропустил королеву.

Я подумал, что это те же Радамес и Мальвина Барсук, чуть видоизмененные, но зам. редактора Авксентий Мамаладзе назвал их высокими именами, в которые я не поверил, не поверили бы и вы, дорогой читатель, но мой дядя Шалва — поверил. Он вскочил с вольтеровского кресла, подошел к королеве, взял ее руки в свои и сказал: «Как я вас жду, мадам». Потом потянулся к пре-

зиденту: «Господин Никсон, вы очей мне нужны, я должен сейчас же показать вам овраг». Шалва вновь улыбнулся королеве. «И вам, мадам, надо увидеть мой овраг. Может быть, поедом прямо сейчас...»

Шалва оглядел присутствующих.

Огромные стенные часы «Терек» показывали седьмой час. Шалва громко произнес, обращаясь к сотрудникам редакции:

— Друзья, вечером я всех вас жду у себя дома. Спасибо за высокую оценку моих стихов... Мне они тоже нравятся... Могу прочесть новое... Но я не знаю, как у наших гостей со временем.

— Читайте, Шалва! — сказал Никсон.

Он с удивлением разглядывал авторучку, которую только что достал из внутреннего кармана пиджака. Ручка была богато инкрустирована, с золотым пером.

— Откуда она?.. — тихо спросил Никсон у королевы.

Неожиданно для себя он заговорил по-английски.

Королева ответила ему также по-английски:

— Откуда мне знать содержимое ваших карманов?..

— Извините, мадам. Но у меня никогда не было такой чудесной ручки... А я к ним неравнодушен.

— Поздравляю вас!

— Спасибо, мадам...

Шалва читал:

Я люблю стук дождя на вагонном стекле,
Люблю видеть, как на листе бумаги
Буквы сплетаются в орнамент слов:

Дождь кончился.
Бродит луна.
В темном парке сидят по двое.
Сидят и целуются.

А где-то в горячей смазке лежат гранаты и
Атомные бомбы.
Кто-то стирает с них смазку,
Готовит их в дело.

Мне больно думать, что на садовых скамейках
Сидят по парам четыреста мертвецов.
Неужели я не засыплю землей
Все осколки смерти?
А в парке будут сидеть по двое
И целоваться на двухстах скамейках.

Шалве аплодировали.

Президент писал на обложке журнала «Блокнот агитатора» непонятные слова: «Май нэйм из Ричард. Ай эм президент оф Америка».

Он не мог оторваться от чудесной авторучки.

— Поехали! — предложил Шалва.

— На моей машине, — предложила королева.

Редакция, изумленная, смотрела на старомодный, похожий на черного бегемота «роллс-ройс», стоящий у железнодорожного тупика, к которому шли Елизавета Английская, президент Никсон, Шалва, его жена Луиза и я, дядин племянник. Луиза от растерянности надела на голову лавровый венок мужа. Королева сказала шоферу, стоящему у открытых дверей машины:

— Саймон, свежи нас к оврагу. Господин Шалва покажет путь.

Саймон держал в руках фуражку с гербом, вышитым золотом. Почему-то не «роллс-ройс», а эта фуражка, точнее золотой герб, смущали меня.

В «роллс-ройсе» было просторно для нашей многочисленной компании.

Около дома на улице Серго Орджоникидзе королева попросила остановиться.

— Я сейчас, подождите меня минуту, — сказала она и вышла из машины.

Королева поднялась по бетонной лестнице на третий этаж «хрущевской» пятиэтажки, открыла ключом дверь и оказалась в пустой квартире.

Она подошла к зеркальному шкафу и взглянула на себя внимательно, молча, долго. В зеркале был виден низкий потолок, хрустальная люстра, коврик с оленями, швейная машина, холодильник «Харьков», книги. Королева нашла в стопке книг учебник английского для десятого класса, раскрыла его и стала вслух читать с прекрасным произношением. Елизавета вновь посмотрела на себя в зеркало.

На газовой плите стояли сковородки, закрытые тарелками, королева подняла одну из тарелок, под ней лежали холодные котлеты.

Королева взяла лист бумаги и начала писать. Вывела имя «Нико» по-грузински, дальше рука стала выводить английские слова. Королева перестала писать, вышла на балкон, позвала:

— Ричард!

Из «роллс-ройса» выглянул президент США. — Поднимитесь, у меня к вам небольшой разговор!

Когда Ричард Никсон позвонил в квартиру, знакомому ему по редакционным вечеринкам, в дверях он увидел женщину, которая тихим голосом велела ему взять бумагу и писать под диктовку.

«Нико! Я приеду поздно. Согрей котлеты. Твоя Мальвина».

Ричард писал: «Нико! Я приеду поздно...» Слова «согрей котлеты» он написал по-английски.

— Пиши по-грузински! — попросила королева. — Мой муж не знает английского!

Но президент забыл грузинский шрифт.

«Согрей котлеты», — вновь по-английски вывел он на бумаге.

— Что все это значит, Радамес?

— Я — Ричард, мадам.

— Почему в моей прихожей стоит мужчина с огромной шапкой из волчьего меха? Я таких видела на фотографиях в журнале «Огонек» — они охраняют Бекингемский дворец...

— Бекингемский, мадам!

— Но почему он стоит в моей прихожей?

— Я не заметил его...

— Посмотри!

Никсон подошел к дверям и выглянул в прихожую, потом оглянулся:

— Стоит... странно.

«Роллс-ройс» едет по пыльной дороге. Стадо коров возвращается с пастбища. В стаде мелькает некто в солдатской шинели, усталое небритое лицо, в руках он держит бутылку. Солдат терется в облаках пыли.

Пронесются овчарки с лаем и несколько немецких солдат в касках. Все они исчезают в густой пыльной завесе.

Никсон неожиданно засмеялся.

— Позвольте рассказать одну не совсем приличную историю, происшедшую со мной и Генри Киссинджером в 1959 году в зимней Москве. Этот тип в шинели напомнил мне о ней. Мы приехали на открытие выставки...

Никсон сделал паузу, вспоминая название выставки.

Пока он вспоминает, я хочу сделать следующее сообщение: «Рассказ Никсона, как и другие рассказы, будут показаны на экране в действии».

— Не помню, что это была за выставка, но так или иначе мы с Генри Киссинджером приехали в Москву впервые, я как вице-президент, Генри — просто как мой друг. Были мы молоды. Официальные встречи, приемы, банкеты. Мы утомились. Хотелось на воздух, на улицу Горького, где, как сказали нам друзья, можно было найти романтическое приключение... и мы нашли его.

Через час-полтора мы сидели в такси, в руках пакеты с апельсинами, шоколадными конфетами, я помню даже название — «Трюф—ели». Одна из наших девушек съела их все, пока мы ехали километров сорок к дачному поселку, где нас ждал пустой дом, в котором мы должны были разжечь камин и уютно провести вечер.

— Ночь! — поправила королева с укоризненной улыбкой.

— Ночь, — согласился Никсон. — Дача была холодной. Видимо, в ней не жили с лета. Во дворе мы собрали дрова, внесли их в дом. У нас было виски, мы нашли старый приемник и танцевали до одурения, даже под голос диктора, который сообщал о моем прибытии в Москву.

Одна из девушек заявила, что она не любит американцев. Я забыл сказать, что мы назвались аспирантами из Чехословакии, когда познакомились с ними. Пьяный Генрих стал уверять девушек, что я вице-президент США, и чем больше он уверял их, тем больше они смеялись.

Я спросил, почему они не любят американцев. Девушки сказали, что американцы ведут «холодную войну», а Никсон «главный поджигатель» и что, если я действительно Никсон, они устроят мне такую «холодную войну», после которой я долго не отогреюсь...

Ричард рассмеялся, вместе с ним захохотал шофер.

— Но самое интересное произошло утром. Я просыпаюсь от крика Киссинджера, открываю глаза и вижу голого Генри: «Ричард, нас ограбили!» Я вскакиваю, вижу пустой стул, на который вчера аккуратно повесил брюки, пиджак. Нет ботинок, нет пальто, нет меховой шапки, нет даже нижнего белья. Только голый Генри в пустой комнате. На стене, помню, висела картина: какие-то несчастные тащат на лямках корабль по реке.

— «Бурлаки на Волге!» — сказала Луиза.

— Репин! — подтвердила королева. — Илья Ефимович! Он родился в селе Чугуево! Мечтаю там побывать. — Королева увлеклась Ильей Репиным, хотя всех в машине волновала история похищения одежды у Никсона и Киссинджера.

— Два голых американца в пустом снежном русском поселке. Над крышами не видно дыма. Вокруг леса, где Москва — налево, направо? На столе записка: «Раз вы действительно вице-президент, то слегка померзните. Пока. Спешим на электричку».

Мы с Генри набросили на себя одеяла и, как вороны, кружили по комнатам. Я нашел летние сандалии, надел их и был, помню, доволен, что я в сандалиях, а Киссинджер ходит босой. Камин затух.

Я выбежал во двор, собрал дрова, заметил на гвозде соломенную шляпу и штаны, схватил их и с дровами, по снегу — в дом.

Киссинджер, как индейский вождь, сидел на корточках у костра, грыз апельсиновые корки и выжимал из пустой бутылки каплю виски.

— Дым! — крикнул я.

Из трубы дальнего домика шел дым.

— Пойду туда!

С полосатым матрацем на голове я вышел на улицу.

Это был дом сторожа дачного поселка. Сторож долго не понимал, что я от него хочу — так я лязгал зубами. Добрый человек напоил меня чаем, нашел старую солдатскую шинель, две майки, соломенную шляпу — я обрадовался за Киссинджера: и у него теперь есть своя соломенная шляпа. Добрый человек нашел китайский плащ. Все эти сокровища он отдал мне безвозмездно... «Что вы, товарищ Никсон, о чем речь, мы, русские, народ не жадный, отдаю от души — мир, дружба, товарищ Никсон».

Сторож объяснил, как добраться до электрички.

Видел бы кто в то утро вице-президента США и будущего государственного секретаря на перроне пригородной электрички! На мне солдатская шинель Красной Армии, на голове соломенная шляпа, на ногах сандалии. Генри Киссинджер в китайском плаще. Мы ждем электричку на Москву.

— У меня возникло подозрение, — сказала королева. — Откуда вы знаете, что плащ китайский, эти плащи носят только в России и русские прозвали их китайскими...

— А что тут подозрительного, мадам?

— То, что история эта, если мне не изменяет память и если у меня еще все в порядке в шкатулке, — королева с улыбкой постукала по голове, — произошла с двумя хашурцами... они, так же, как и вы,

ехали в набитой людьми электричке, люди глазели на их наряды и бормотали: «Сбежали из сумасшедшего дома».

«Роллс-ройс» подъехал к оврагу.

В лучах заходящего солнца он смотрелся величественно. Зияла глубина, темная и таинственная...

Внимание! В нашей истории происходит смена повествователя. Внимание!

Тбилиси. 1986 год. Зазвонил телефон.

— Здравствуйте, мне нужен Ираклий Квирикадзе.

— Это я.

— Режиссер?

— Да... А кто это говорит?

— Вы меня не знаете, я работаю в Боржоме, сценарий «Светлый», культмассовик, мое имя Ираклий, а фамилия Квирикадзе... Смешно?

— Смешно...

— Ты из каких Квирикадзе? Из хашурских?

— Нет.

— Значит, дядю Шалву ты не знал.

— Которого?

— Проводника, который улетел на Луну.

— Ты со мной серьезно разговариваешь?

— Да! Он был великий человек. Я пришлю тебе сценарий о дяде Шалве.

— Он кто, космонавт?

— Нет.

— Так как же он улетел?

— Я обо всем пишу в сценарии.

— Ну что ж, высылай...

— Договорились, пока.

В телефонной трубке раздался щелчок, прервался голос. Я представил себе Боржомский парк, перегоревшие автоматы, где стоит человек с моим именем и моей фамилией, дядя которого улетел на Луну. Кто он — тронутый?

Прошло полгода.

Сценарий я не получил. Но случилось так, что мой друг Роман Балаян оказался в Америке в составе киноделегации. Не буду пересказывать калейдоскоп впечатлений, которые он привез с собой. Но один, крайне странный рассказ Балаяна я повторю.

Находясь на палубе парохода «Марк Твен», чьи огромные колеса медленно крутят по зеркальной глади в Диснейленде, услышал он мою фамилию, но понял, что речь идет не обо мне.

Капитан корабля Оливер Пинчон — седые усы, белоснежная улыбка, внешность капитана романтического — говорил об удивительном советском армянине Шалве Квирикадзе, который посетил корабль «Марк Твен» лет десять назад вместе с Ричардом Никсоном. Балаян переспросил фамилию, поправил капитана, что Шалва, судя по фамилии, не советский армянин, а советский грузин.

Оливер Пинчон показал фотографию из коллекции почетных гостей корабля, на которой Роман увидел немолодого грузина с глазами чуть навыкат.

— Кто он тебе? — спросил меня Балаян по приезде.

— Никто.

— А я думал, он твой родственник. Фотографию я свистнул...

Полароидный снимок, на котором незнакомый мне Шалва Квирикадзе стоит в белом кителе железнодорожника, в руках — надувная фигурка Микки-Мауса.

Неожиданно пришла бандероль из Боржомы. Сорвав сургучную печать, я увидел альбом для рисования, на обложке которого большими буквами были выведены слова: «Познав безумие, стал поэтом».

Пролистав цветные рисунки, диаграммы, инструкции, как складывать в овраг Тартар танки, пушки, снаряды, я наткнулся на рассказ, написанный почерком, не похожим на почерк поэта.

«Дядю Шалву обвинили в том, что он не может мочиться», — так начинался рассказ. Автор, как я понял, был племянник Шалвы, Ираклий Квирикадзе.

«...В Хашурском железнодорожном депо имени Двадцати шести бакинских комиссаров пустили слух, что проводник Шалва Квирикадзе заболел странной болезнью, не может мочиться. Кто пустил этот слух — неизвестно.

Дядя как-то вышел из дому. Встречает соседа, тот спрашивает:

— Ты болен?

— Нет.

— Не скрывай.

— Я не скрываю.

— Говорят, что ты ешь, пьешь, а моча не идет из тебя!

— Глупости, — отмахнулся от соседа Шалва и пошел в депо.

Там он вновь услышал подобный вопрос.

Спрашивал вахтер.

— Копишь в себе мочу?

Шалва ничего не ответил. Пошел к поезду. Едет, смотрит в окно и думает о глупых вопросах. Заходит из соседнего вагона проводник.

— Шалва, как называется твоя болезнь?

Шалва схватил соседа, втолкнул его в туалет и продемонстрировал свою абсолютную здоровьес.

На другой день в депо бухгалтерии женщина-бухгалтер шепнула: «Я знаю врача, он гонит мочу травами, я тоже неделю не могла, и он мне очень помог».

Шалва стал нервным, взвинченным. Прошло две недели. На улице, на работе, дома все участливо спрашивали о странной болезни, он устал отвечать, что не болен.

Месяц спустя, обезумев окончательно, выпил шесть бутылок пива в пивной. Был четверг, день полочки в депо. Пьяный взобрался на мраморный постамент, на котором до пятидесяти шестого стоял бронзовый памятник, и крикнул:

— Смотрите, хашурцы, смотри и ты, кто пустил этот злостный слух, я знаю, ты сейчас смотришь на меня, так вот...

И дядя Шалва стал лить струю.

Даже очередь у зарплатной кассы опустела. Все выбежали на площадь, кассирша, забыв закрыть окошечко кассы, тоже выбежала, чтобы успеть посмотреть на необычное, не каждый день происходящее в депо событие.

Дяде сделали выговор. Шесть месяцев не ездил он на поезде. Потом в связи с нехваткой проводников его восстановили на работе.

Но все оценили поступок Шалвы по достоинству, только однажды остановил на улице человек и сказал: «Как ты здорово придумал, заполнил клизму пивом, клизму спрятал под рубашкой и так ловко обманул всех...»

В Хашури любят разыгрывать наивных, чистосердечных, вроде моего дяди Шалвы...

На этом рассказ обрывался.

В бандероли я нашел печатные страницы сценария «Радуга в глазах хромой собаки», стал читать, дошел до места, где «роллс-ройс» с королевой, президентом Никсоном, Шалвой подъехал к оврагу. Между страницами лежала прозрачная пластинка с рентгеновским снимком чьих-то ребер. Стал разглядывать, потом сообразил, что надо снимок положить на проигрыватель, услышал голос:

— 15 апреля 1986 года исполнится год, как дядя Шалва улетел на Луну, улетел, обиженный на человечество, которое не смогло внять его призывам, не приняло всерьез его Великую Идею Разоружения. Улетел он в ночь своего шестидесятилетия, оставив записку: «Все, что было обещано, не сбылось...» Дальше зачеркнуто несколько строк. Последняя фраза: «Третьей мировой войны не будет. Я обещаю вам! Я буду охранять вас...» 15 апреля, в годовщину полета дяди, улечу я, его племянник, единственный в этом мире, кто верил ему и в кого верил он. Я готовлюсь к полету, но мне хочется, чтобы ты знал обо всем. Приезжай, только не позже названного дня. Ираклий Квирикадзе.

После недолгой паузы вновь голос:

— Литератор Катунин исчез с моими записями о Шалве.

Странно было слышать собственные имя, фамилию. Но еще более странным был смысл того, что я услышал.

Первая реакция: «Сумасшедшие — дядя и племянник. Наследственный шиз». Но фотография, привезенная Романом Балаяном, где Шалва снят рядом с Никсоном? А за спиной Шалвы, в толпе американцев, похожий на него юноша. Видимо, племянник. Как они оказались на палубе «Марка Твена»? А Никсон, кто это? Радамес, редактор «Хашурского путеца», как можно догадаться по той части «Радуги в глазах хромой собаки», что мне удалось прочесть, или же действительно Никсон, президент США?

Чушь собачья?! Нет, не чушь. Полароидная фотография — вот она, у меня в руках. Вопросов множество. История такая необычная, что даже друзьям не расскажешь. Засмеют. Надо ехать в Боржом.

Голос с пластинки сообщил адрес: «Боржом. Санаторий «Светлый», общежитие для обслуживающего персонала. Комната № 14». От Тбилиси до Боржом три часа езды на электричке.

Утро. Боржомское ущелье в дымке. Цветут вишни. Я подхожу к санаторию. Зайти в дирекцию спросить, что за человек их культмассовик? Нет. Встречусь с ним, послушаю, разберусь...

Двухэтажное общежитие. Комната № 14 на втором этаже. В коридоре стоят у стены шкаф, разбитое зеркало, фикус, кипа журналов. Я стучу. Никто не отвечает. Открываю незапертую дверь. Попадаю в пустую комнату, там натянута бельевая веревка, на которой висят носки, майки. Фотографии маршала Буденного и маршала Баграмяна из «Огонька» — кнопками к синей стене.

Стол, на нем бутылка из-под боржома, в бутылке не вода, а лед. Замечаю, что в комнате очень холодно.

На улице апрельское тепло, а здесь изо рта пар... Оглядываюсь. Вижу вторую дверь. Толкаю ее — заперто. За дверью слышен гул. Словно там работает морозильная установка.

— Эй!

— Кто там?

— Это я — Ираклий.

— Хорошо, что приехал.

Дверь не открывается.

Замечаю щель. Заглядываю в нее.

Вижу кровать и чьи-то ноги на кровати. Кровать чуть висит в воздухе, примерно сантиметров двадцать — двадцать пять над полом. Слышу голос:

— Я не могу выйти... Извини меня...

— Но я приехал встретиться с тобой.

— Приехал бы вчера, мы походили бы по парку. Я на «плато» заказал столик в ресторане, но сегодня не могу... Поговорим через дверь. Ты меня хорошо слышишь?

— Здесь холодно!

— В коридоре шкаф, открой его, возьми пальто, еще что-нибудь надень... будет тепло.

Я повернулся к выходу, задел плечом майку, висящую на веревке, она была фанерная от холода. В коридоре, в шкафу, висело чье-то старое пальто. Когда я взглянул на себя в разбитое зеркало, вспомнил историю Никсона и Киссинджера на зимней даче, она мне показалась менее фантастичной, чем та, в которой я апрельским утром стою в пустом коридоре санаторского общежития. Вместе с пальто я взял из шкафа чернобурку, обмотал ее вокруг шеи вместо шарфа. Вернулся в комнату.

Сел на стул у запертых дверей.

— Послушай, — сказал я. — Но это как-то не по-человечески?

— Извини еще раз, но я уже в процессе...

— Что это значит?

— Не могу тебе объяснить, но будет еще холоднее, учти...



— Скажи, кто были Никсон и королева Елизавета?

— Он был президент, а она...

— Я не об этом. Он был настоящий президент?

— Вначале мне казалось, что это Ваню Метревели, Радамес, но потом он все больше и больше становился президентом, то есть из него выходил Радамес и входил Ричард. Дядя Шалва если что-то себе воображал, это что-то становилось реальностью...

— Но когда президент в «роллс-ройсе» рассказывал, как две девицы раздели его догола, рассказывал Никсон или Ваню Метревели, или это и есть реальность воображения дяди Шалвы?

— Ираклий, не задавай вопросов и не сомневайся... Ты слушай меня и представляй это в картинках.

В комнате стало холоднее. Я плотнее запахнул пальто. Почувствовал во внутреннем кармане что-то бумажное. Сунул туда руку, вынул сверток — это была «Радуга в глазах хромой собаки» — толстенная рукопись страниц на семьсот — как я не почувствовал ее тяжести, когда облачался в пальто?!

— Ираклий, я нашел!

— Что?

— Рукопись «Радуги», все семьсот страниц!

Я глядел в щелку, ожидая реакции. Ноги на кровати не шелохнулись.

— Где она была?

— В пальто, что висело в шкафу!

— А я ругал Катунину... Ираклий, холод здесь опустился до межзвездных градусов, тебе не выдержат, иди в парк, там сейчас тепло... Прочти. Литератор я никакой, но жизнь Шалвы, автора «Евангелия Красоты», я думаю, тебе покажется интересной.

— Но почему ты замораживаешь себя?

— Иди и читай. Захочешь что спросить, возвращайся, только не наводи обо мне справки в дирекции санатория, там меня не любят и не понимают. В декабре они отдали на мясокомбинат лошадь, которой было бы сегодня семьдесят лет. На ней мчался в атаку сам Семен Михайлович Буденный, когда он еще не был маршалом, а был лишь лихим красным кавалеристом. Я умолял их не отдавать ее под нож мясника, найти место в Боржомском музее и назвать «последняя лошадь гражданской войны». Я уверял их, что она доживет до 2017 года, ею, этой лошадию, надо открыть парад столетия революции... А они отдали ее на мясокомбинат... Чем она им мешала — возила в столовую с кухни солянку, борщ, котлеты в кастрюлях... Не ходи к ним, Ираклий...

Я заметил другую щель. Прильнул к ней. Увидел человека, лежащего на постели. Лицо его утопало в огромной подушке. Воротник пальто скрывал подбородок, но я узнал того повзрослевшего юношу с фотографии начала семидесятых годов, которую кинорежиссер Роман Балаян «свистнул» у капитана парохода «Марк Твен».

Широкое лицо, курчавые волосы, пышные усы — типичный провинциальный Дон-Жуан, один из тех, кто стоит у ворот Боржомской турбазы в ожидании автобусов с туристами.

Аkkордеонист Ираклий Квирикадзе глядел на потолок ясным чистым взглядом — он видел кого-то, кого не видел я, так дети разглядывают ангелов, нарисованных на церковных куполах, — неотрывно, улыбаясь, блаженно.

Я встал, задержался на секунду около маршалов Баграмяна и Буденного — типографская печать делала их похожими друг на друга, хотя один был абсолютно лысый, другой знаменито усатый. В голове мелькнула мысль: «Им не холодно», — и я вышел из комнаты.

В коридоре звучит хриплый магнитофонный голос: «Миллион алых роз».

Кто-то выплеснул мыльную воду на булыжники во дворе, я чуть не попал под этот мыльный поток. Шел медленно, сосредоточенно, сжимая в руках рукопись. Пальто и лисий воротник я оставил в шкафу.

Может, не стоило бросать аккордеониста при температуре, которая понижалась до черты «межзвездного холода»? Я оказался перед зарослями цветущих вишен, нырнул в них и неожиданно увидел яму, над

которой повис, и, потеряв равновесие, стал падать. Я сильно ударился, подвернул ногу, было смешно и обидно ехать три часа из Тбилиси в Боржом, чтобы упасть в яму и скулить от беспомощности.

Яма старая, заросшая мхом, рядом со мной валялся чутунный утюг, пустой пузырек из-под йода и множество рассыпанных страниц.

Я поднял страницу 83, начиналась она со слов: «Дом четырехэтажный, розового армянского туфа, стоял на вокзальной площади. По праздникам на стену дома вешали огромный портрет Леонида Ильича Брежнева, который дня на 3—4 закрывал окна нашей квартиры. В праздничные дни я просыпался от криков рабочих. Они стояли на крыше и спускали на веревках портрет. В окне появлялся китель, ордена, подбородок, нос, левый глаз. Правый глаз можно было видеть в окне соседней квартиры, там жила девочка Натела, с которой мы придумали развлечение, я и она садились на подоконник и прокалывали в портрете дырки. Сквозь них смотрели на демонстрантов.

На этом кончался листок, я взялся за другой. Лучшего места для чтения я не разыщу, тихо, уединенно. Собака заглянула в яму, оса жужжала под ухом, вот и все помехи.

«Второе посещение Ричарда Никсона Хашури» — прочел я и не сразу сообразил, что это глава о том, как Никсон вторично оказался в Грузии и вторично прибыл в полюбившийся ему городок Хашури. А где первое посещение?

Где королева?

Где овраг?

Не нахожу. Читаю сто семнадцатую страницу:

«...Шалва сидел на дне оврага, что-то записывал в свою тетрадь. Смеркалось. Он услышал шаги, поднял голову. К нему приближался человек.

— Здравствуй, Шалва.

— Здравствуйте.

— Не узнаешь?

— А-а-а-а...

— Да, я, Ричард, но, увы, уже не президент Соединенных Штатов.

— Как так?

— Уотергейт! Читал, наверно?

— Читал. И что?

— Сняли с президентства.. Не успел послать к твоему оврагу эшелоны с оружием, как мы в прошлый раз договорились. Я даже с господином Брежневым созванивался по этому поводу. У меня был прямой телефон. Поднимешь трубку. Голос: «Але, Брежнев слушает...» Я ему все о тебе рассказывал... где овраг, кто ты, он интересовался, на каком фронте ты воевал, защищал ли Малую землю?

— Нет...

— Жаль. Брежнев пишет книгу о Малой земле. Мне говорили, что он способный литератор, многограинный человек, про таких у нас в Гарварде профессор Воннегут говорил: «человек Ренессанса».

— Это как?

— Как Леонардо — поэт, архитектор, художник, государственный деятель... Леонардо придумал самые необычные вещи, например, деревянные крылья. Ими машешь-машешь и взлетаешь. У него летали даже лошади...

— Лошади?

— Я видел рисунок Леонардо — над верхушками деревьев летят табуны лошадей.

— Куда летят?

— На юг... или на север.

— ...А Брежнев?

— Что Брежнев?

— Он тоже придумал деревянные крылья?

— Не знаю, у него много способностей, много титулов. Однажды мы летом в Ялте долго одни сидели, ждали завтрака, пришла официантка, здороваются с нами, мне говорит: «Доброе утро, господин президент», а Брежнев: «Доброе утро, Генеральный секретарь Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, Председатель Президиума Верховного Совета, главный Маршал Вооруженных Сил, трижды Герой Советского Союза, выдающийся борец за мир, дорогой товарищ Леонид Ильич Бреж-

нев...» Смотрю, официантка держит в руках меню, тянусь к нему, она грозно взглянула на меня и, пока не перечислила все титулы, звания, многие из них я не помню сейчас, до тех пор не дала... Я спросил Брежнева: «Она каждое утро так здоровается?» Он ответил: «Утром перед завтраком, днем перед обедом, вечером — перед ужином».

И действительно, в тот день мы ужинали вместе, пришла та же женщина: «Приятного аппетита, Генеральный секретарь...» и все остальное без сокращений. Утомительно долго, но для слуха приятно... А я вот, растяпа, потерял единственный титул, но такой дорогой — президент Соединенных Штатов Америки. Я теперь бывший президент. Я типичный американский безработный.

Наступила неловкая пауза.

Никсон разглядывал овраг.

— Помню, обещал свозить тебя в Америку, показать наш Гранд-Каньон...

— Ничего, Ричард... не унывай, мой дед Ясон Квирикадзе говорил: «Солнце, что взойдет завтра, взойдет для нас». Ты — безработный, пойдем к нам в депо, устрою тебя проводником!

И стали они ездить в паре на поезде Батуми — Тбилиси.

И длилось это несколько месяцев. Они служили проводниками — дядя Шалва и Ричард, разносили пассажирам чай, белье...

Жизнь была полна удовольствий, новых впечатлений. Люди вокруг Ричарда — те самые «красные». До этого он встречался с ними на высоком межправительственном уровне или же на том уровне, где «красные девушки» однажды раздели его и его друга Киссинджера и полуголых заставили брести в Москву, словно наполеоновских солдат, отступавших из России в 1812 году.

Здесь, в поезде Батуми — Тбилиси, он испытывал радость от бесконечных маленьких удовольствий. Может, он сидел, чтобы стать проводником? Может, он всю жизнь ошибался, участвуя в избирательных кампаниях, ведя беспощадные битвы за власть...

Сидя в купе, разглядывая пейзажи, читая недочитанные в детстве книжки, которые он теперь брал в Хашурской городской библиотеке — Майи Рид, Стивенсон, — он был счастлив.

Он сознался Шалве, что не испытывал такого блаженного состояния даже в минуты победы на президентских выборах, даже когда он стоял на трибуне, вокруг играли оркестры, колоннами маршировали девушки в коротеньких юбочках, сверкали вспышки фотоаппаратов, стрекотали кинокамеры, в воздухе плыли тысячи цветных шаров. Шалва Квирикадзе был прекрасный напарник, внимательный, предупредительный к своему иностранному коллеге. Но иногда его заносило в политические дебаты, касающиеся проблем разоружения. В такие минуты пассажиры слышали громкие голоса из купе, где сидели проводники.

Голос Шалвы:

— Не думаю, что Советский Союз или Соединенные Штаты хотят воевать друг с другом. Но согласись, не раз возникали опасные разногласия между НАТО и Варшавским Договором. А в будущем мы разве застрахованы от этого?.. Война, дорогой Ричард, может начаться из-за пустяка. Мой брат однажды по ошибке надел на ноги калоши соседа. Начался скандал, который перерос в дикую бойню, весь дом трясло. Жена соседа ошпарила брата кипятком, выплеснула на него ведро кипятка, зачем? Из-за калош? Нет, из принципа, о калошах все забыли...

— А что стало с братом?..

— Ричард, не переводи разговор на мелочи...

— Ошпаренный брат — это не мелочь.

— Нет, конечно, он две недели лежал в больнице. Но мы говорим о войне... СССР и США находятся на грани, за которой гонку вооружений контролировать будет совершенно невозможно...

— А калоши соседа были более ивовые, чем калоши брата?..

— Ричард, ты о чем?!

— Я могу поспорить с тобой, твой брат надел новые,

чужие, а старые свои оставил. Началась драка... Все логично... Случайностей не бывает... Вы, красные, все время хотите сунуть ноги в чужие калоши.

— Ричард, выбирай выражения...

Поезд нырнул в туннель.

Грохот вагонов заглушил голоса двух спорящих проводников. Их темные силуэты каждые пять секунд высвечивались туннельными огнями, в эти мгновения виделись их открытые рты, можно было понять, что спор не утихал.

Ричард:

— В 1945 году мы изобрели атомную бомбу...

Шалва:

— И не нашли ей лучшего применения, как сбросить на Хиросиму!

Ричард:

— Я не об этом. Вы, красные, из кожи лезли и в 1949 году заимели свою бомбу. В 52-м мы сделали водородную. Тут же, в 53-м, сделали ее и вы. Атомную подводную лодку мы пустили в 1960 году, вы в 64-м — свою подлодку напичкали атомными бомбами...

Дверь купе с шумом открылась. На пороге стояла фантастической красоты пионервожатая с красным галстуком на шее. Длинные ноги ее, казалось, росли не оттуда, откуда растут они у всех пионервожатых. У этой, по фамилии Полищук, ноги росли, нарушая все законы анатомии, от груди, скрытых под голубой шелковой кофточкой.

В первое мгновение проводникам показалось, что именно так сложена Соия Полищук, ворвавшаяся на поле их битвы, где все стихло, проводники превратились в две пары огромных глаз. «Остановись, мгновение», — мелькнуло в голове бывшего президента.

— Почему нет воды? — спросила пионервожатая.

— Почему нет воды? — спросил Шалва у Ричарда.

— Текла...

Ричард встал, вышел в коридор, подошел к бачку, вода не текла...

— Сейчас будет остановка, я принесу вам лимонад.

— Со мной пионерский отряд.

— Принесу отряду.

— Спасибо.

Поезд стал замедлять ход, Ричард прыгнул на перон, побежал к ларьку.

Толстая сонная продавщица медленно доставала из ведра со льдом холодные бутылки. Ричард вдруг увидел в ларьке человека из своей бывшей охраны. Как его имя? Майкл Джексон то ли Джонсон?

— Привет, Майкл! — весело поздоровался Ричард.

— Привет, Ричард, что-то ты застрял на Кавказе...

Ричард внимательно посмотрел на Джексона-Джонсона, заметил — рука под пиджаком возле пистолета.

— Майкл, будь добр, одолжи твою пушку!

— Ричард, зачем она тебе?

— Нужна, Майкл...

Охранник растерянно оглянулся. Толстая грузинка-продавщица не слушала их, медленно доставала из ведра бутылку за бутылкой и ставила на прилавок.

Майкл дал пистолет, Ричард засунул его за пояс под рубашку.

— Не выходи из ларька! — сказал Ричард, взяв лимонадные бутылки в охапку и побежал трусцой к вагону.

Пионервожатая и пионерский отряд с наслаждением пили холодный лимонад.

— Третья мировая война уже началась, а мы смотрим на красивых пионервожатых и пьем с ними холодный лимонад! — проговорил Шалва, посмотрев на Ричарда Никсона, который в этот момент пил из горлышка и неотрывно следил за фантастической черной пантерой — загорелой Соней Полищук. Запрокинув голову, она лила себе в широко раскрытый рот струю лимонада.

— Как ты сказал? «Третья мировая война уже началась, а мы смотрим на красивых пионервожатых и пьем с ними холодный лимонад?» Хорошая фраза!

— Ричард, меня считают сумасшедшим, но я хочу самым простым способом спасти мир — закопать оружие в землю. Сделать это не так трудно. Провести железнодорожную ветку Хашури — Тартар. Я писал

Брежневу! Не раз. Молчание. Вы, правители мира, знаешь, на кого похожи?

— На кого?

— На начальника пожарной команды Сванидзе, был такой в Хашири... Дом горит в городе... Он выводит свою команду медленным маршем под духовой оркестр, обязательно через центр города, чтобы все видели: Сванидзе идет в бой. За ним толпа зевак. На месте пожара давал команды, любясь собой, вот-вот запоем. Однажды пришел к пожару, как всегда, поздно, дом горел всю, на дворе от туалетной будки остались только тлеющие доски с дыркой. Сванидзе наступил на них и провалился. Его ищут. Нет нигде. Вдруг вылезает весь в...

Шалва заметил, как пионеры внимательно его слушают. Соня Полищук с трудом сдерживает смех.

— Закройте уши! Я сейчас скажу неприличное слово...

Шалва отвел Ричарда к соседнему окну. Поднял руки, изображая Сванидзе, который крикнул своим подчиненным:

— «...пожар! Все шланги на меня!!!» Пожарники развернули шланги и стали мыть своего начальника... Так вот и вы... господа, упали в яму с дерьмом и требуете, чтобы мыли вас, чтобы вы чистенькие были... а дом горит!!!

Шалва перешел с шепота почти на крик. Ричард смутился, стал смотреть в окно.

Неожиданно он увидел врага Тартар и маленькую женскую фигурку, которая махала поезду рукой.

— Елизавета! — сказал удивленно Ричард.

— Где?

— В твоём враге.

— Королева?

— Где королева? — пионеры прильнули к окнам.

Поезд замедлил ход, впереди крутой поворот. Ричард — бегом по коридору, открыл дверь тамбура и прыгнул. За ним прыгнули Шалва и тринадцать пионеров с Соней Полищук.

Все кубарем катятся на дно врага. Все в клубах пыли. А вагоны поезда Тбилиси — Батуми медленно проплывают над их головами. В вагонах рюкзаки, горн, барабан, вареные яйца, печенье и все, что сложили пионерам в путь мамы и бабушки.

Старинный меч сверкал иа солнце.

Королева Англии развернула газетный сверток.

— Вот все, что я могла привезти с собой! Он принадлежит Эдуарду Блистательному, с пятнадцатого века передается из рук в руки!

Пионеры обступили королеву.

— С пятнадцатого века... — шепчут пионеры.

Елизавета дает им меч.

— Я — королева! Но власть моя в Англии чисто символическая. Стоило мне завести разговор в парламенте о твоём проекте всемирного разоружения, меня подняли на смех и дали понять, что никакого оружия отсылать в Страну Советов они не будут. — Королева виновато посмотрела на Шалву. — Единственное, что я смогла, — привезла меч, лично мой, создаю, что это копия, сам меч хранится в Британском музее...

Пионеры разбежались по врагу, меч Эдуарда Блистательного сверкал в руках то одного, то другого пионера.

— Дети, верните королеве меч! — кричала Соня Полищук.

— Как поживает ваша супруга? — спросила королева Шалву. — Мы провели в вашем доме незабываемые часы, я часто вспоминала в Англии ту ночь... Ричард так уморительно выплясывал кавказские танцы... и было чудесное вино, я даже запомнила название — «Атенури». Я правильно произнесла? Только один неприятный человек, ваш знакомый, которого вы звали утопленником, он выпил, подсел ко мне и стал рассказывать о временах, когда служил шофером у большого начальника. Святой Лаврентий — так звал его утопленник. Мне был неприятен этот рассказ, я слушала и ужасалась...

— А о чем он? — спросил Ричард.

— В другой раз, не при детях...

Кто-то из пионеров взобрался на склон и увидел рюкзаки, выброшенные из вагона. Они валялись в траве, вдоль рельсов...

— Давайте завтракать! — предложила Полищук. — Вас угощают пионеры!

Все расселись под низкорослым деревом, на дне оврага, вынули из рюкзаков вареных кур, десятка три побитых яиц, сыр, яблоки. Запивали родниковой водой. Все были голодные, уплетали за обе щеки...

— Вот у меня пистолет, я взял его у охранника. Мы можем устроить символическое захоронение. Английский меч, американский пистолет...

Ричард не успел закончить свое предложение, его перебил один из пионеров:

— Пистолет вам дал человек в ларьке на станции Гори, когда вы покупали для нас лимонад?

— Да, мальчик...

— А что этот человек делал в ларьке?

— Не знаю...

— А я знаю. Тайно пересек границу СССР...

Ричард надул щеки, округлил глаза. Весь вид его говорил, что он попал в неловкое положение.

— Гоша, угомонись! — Соня Полищук стала строгой. — Дети встречались с Карацупой и его собакой, — как бы извиняясь, пояснила пионервожатая.

— Кто такой Карацупа? — спросила королева.

— Пограничник. Автор монографии, в которой он исследует сто семнадцать способов перехода через границу СССР.

— Одни надевают шкуру медведей, — стала перечислять девочка-пионерка, — другие скачут на козых ногах, третьи ползут по проводам высоковольтных передач...

— А ток?! — ужаснулась королева.

— В школах, где готовят диверсантов, учат хватать голые провода и выдерживать ток в несколько тысяч вольт, — сказала девочка-пионерка. — Когда шпионы ползут по высоковольтным проводам, из их тел сыплются синие искры, ночью это красивое зрелище, рассказывали нам Карацупа и его собака.

— Его собака обучена ходить по проводам, — сказал пионер Гоша.

— Из нее сыпятся искры? — спросил Ричард Никсон.

— Сыпятся!

— На счету собаки Карацупы шестьсот шестьдесят шпионов, — сказала девочка-пионерка.

— Нет, шестьсот тридцать, — поправил Гоша.

— Шестьсот шестьдесят, — настаивала девочка.

— Тридцать!

— Шестьдесят!

— Дети, угомонитесь! — Соня Полищук оглядела отряд «особым» взором. — Пока Карацупа и его собака на посту, граница на замке!!!

— А в Гори на вокзале в лимонадном ларьке сидит американский шпион! — закричал неугомонный Гоша.

В Гори в лимонадном ларьке жарко.

Майкл Джексон-Джонсон смотрит на продавщицу, у которой он уже вторую неделю снимает комнату.

— Тебе понравился Никсон? — спросил он у грузной, но не без шарма молодой женщины.

— Это который?

— Который десять бутылок лимонада взял.

— Кривоногий?!

— Нет, он не кривоногий.

— Тогда не знаю.

Продавщица стала ругаться с кем-то из-за пива, которого у нее не было. Майкл переждал ссору, потом продолжил разговор о Никсоне:

— Бедняга, он неудачник! Попался на таком пустяке. Подслушивал телефонные разговоры. Будто другие президенты не занимаются тем же. И Трумэн, и Эйзенхауэр, и Кеннеди...

— Что он подслушивал?

— Разное, Жужуна, разное... Глупо так попался. А как начинал! Над его головой сиял почти что бо-

жествениый нимб. В него верили, как в шерифа из вестерна, верили, что он наведет порядок в Америке.

— Майкл, выпей лимонад и не переживай. Поди посмотри, в каком маленьком домике родился Сталин...

— Я уже был там.

— Сходи еще раз...

— Зачем?

— Постой в тишине и подумай: великий был человек, такой порядок установил, а кто его сегодня помнит? Никто!

Продавщица откупорила лимонад старому человеку в белой сорочке с галстуком в блестках. Человек пил лимонад и смотрел на ворон, которым тоже было жарко, и они пили воду из лужицы у ларька.

— Сталин никогда не подслушивал телефонные разговоры, — договаривала свою мысль продавщица.

Человек допил лимонад, заметил взгляд Майкла на блестках галстука.

— Они светятся в темноте! — неожиданно сообщил человек. — В них фосфор!

— Интересно! — сказал Майкл.

Человек улыбнулся и сказал:

— Вы прикладывали в детстве чашку к стенке, чтобы услышать разговор в соседней комнате? Вспомните...

— Прикладывал! — ответил Майкл.

— Нас всегда интересуют разговоры в соседних комнатах! Я телефонный мастер. Мне семьдесят семь лет. Я ставил Сталину в Москве тайный телефон. Он просил подключить его телефон к некоторым абонентам. Так вот, я подключил, он сидел в своем кабинете целый день и держал возле уха телефонную трубку. Слушал. Чужие разговоры...

Неожиданно старый телефонный мастер закричал. Ворона подлетела к ларьку и клюнула старика в лоб. Потекла кровь. Ворона улетела. А ее напарница продолжала сидеть возле лужи и грозно смотреть на старого телефониста.

На границе с Турцией стоит машина королевы. Саймон в фуражке с золотым гербом показывает офицеру-пограничнику паспорта:

— Это королева Елизавета...

Офицер Громов посмотрел в паспорт, потом на женщину, сидящую на переднем сиденье «роллс-ройса». Улыбнулся королеве, та в ответ улыбнулась ему.

— А это Ричард Никсон.

Громов внимательно разглядывает паспорт Никсона. Из машины вышел бывший президент, приблизился к капитану, заглянул в собственный паспорт.

Из одноэтажного здания, выкрашенного в зеленый цвет, выходят Шалва, Ираклий с аккордеоном, пионервожатая Соня Полищук, но без отряда пионеров.

— Я отвезла детей на Зелениый Мыс, в лагерь курчатовского института.

— Вы работаете в институте Курчатова?

Соня говорит с Карацупой, который на этот раз без своей собаки идет рядом с Соней и не сводит с нее восторженных глаз.

— Соня, вы-то зачем туда, за кордон?

— Леонид Ильич просил меня участвовать в этой поездке.

— Соня, там такие соблазны!

— Этого я не боюсь.

— Соня, не ходите одна по Гарлему!

— Обещаю...

Громов проверил документы и велел поднять шлагбаум.

Много места в «Радуге в глазах хромой собаки» занимает описание путешествия по Турции, Европе и Америке. Страницы эти грешат туристским глянцем, читая их, я словно смотрю по телевизору «Клуб путешественников».

Страница 322. Ночь. Песчаные холмы Каппадокии, залитые лунным светом, похожи на слитки серебра.

В отеле «Средиземное море» на открытой веранде Ричард и Соня играют в бридж. Партнеры их — два танкиста, два молодых американца, которых они днем подобрали у натовского танка, застрявшего в песках.

С тащиплощадки слышны звуки аккордеона. В местном оркестре играет Ираклий.

Неожиданно для всех Соня бросила игру. Встала из-за стола, и через мгновение те, кто сидел на веранде, увидели ее танцующей рок-н-ролл. Что она вытворяла своими длинными ногами! Партнером был грек, о котором в отеле «Средиземное море» шептали: «Второй Онасис».

Всю ночь танцевала Соня со вторым Онасисом. Он оказался заводным старым апельсином. Скинул пиджак, остался в рубашке, разрисованной пальмами, и стал похож на маленькую обезьянку, которая скачет вокруг роскошной банановой пальмы по имени Соня Полищук.

Танкисты не смогли оторвать его от пионервожатой. И та от него не отрывалась.

Когда Соня скинула свою шелковую кофточку, к ней подошел Шалва. За ним Ричард.

— Что вам надо, дорогие товарищи проводники? — спросила Соня.

— Девочка, так нельзя! — начал было Шалва.

— Я не девочка, я не Соня, я не пионервожатая! — закричала Соня.

— А кто ты? — спросил Ричард.

— А кто ты? Ты не президент. Ты не проводник. Я не пионервожатая. Я путанка... Путанка из «Континенталей». Сани Полищук! Ясно? Мне нужен Онасис! Хотя бы второй Онасис... Я всю жизнь мечтала иметь яхту, а мне говорили: «Вот тебе горн, вот тебе барабан, вот тебе Мальчиш-Кибальчиш!»

— Соня, ты сошла с ума! — Шалва стоял бледный.

— С ума сошел ты! Носишься с дурацкой идеей. Закопать все оружие мира. Хорошо, закопали! А если завтра тигры расплодятся?! Что делать с тиграми? Шалва не ожидал такого вопроса.

— Я спрашиваю, что делать с тиграми?

— Что делать с тобой, Соня?!

— Со мной? Ничего. Завтра я еду кататься на яхте! И здесь не пионерский лагерь, чтобы указывать мне, что я должна делать и что не должна...

Соня вновь стала разбрасывать ноги в радиусе двух-трех метров. Казалось, это не ноги, а мячики на резиновых нитях. Отбросишь от себя, а резина их возвращает.

Страница 367. В журнале «Ньюсуик» в декабре 1974 года появилась фотография Шалвы Квирикадзе, а также сообщение, что советский грузин, проводник поезда, в Конгрессе в какой-то из комиссий выступил с речью о Всемирном разоружении, что он предложил всем государствам отказаться от оружия, что он знает овраг, куда надо сбросить это оружие, а на месте захоронения разбить огороды с картофелем, капустой, помидорами. В «Ньюсуик» напечатаны рисунки Шалвы и комментарии. Кто-то называет идею Шалвы «красная ловушка», кто-то рад: «Наконец-то появился человек, который может вывести нас из тупика».

Королева Англии принимала Шалву в Бекингемском дворце. Она сняла с глаз черные очки, в которых появлялась на людях в период «мадам инкогнито», она представила Шалву в парламенте, там его вежливо послушали, но не поддержали.

Старый друг королевы сказал ей:

— Только из уважения к вам и только потому, что вы, ваше величество, симпатизируете этому кавказцу, и благодаря давним культурным и духовным традициям, связывающим нас с далекой Грузией, посланником которой является Шалва Квирикадзе, мы не высмеяли его бред и дослушали до конца.

Королева принимала Шалву, Ираклия, Соню Полищук.

— Уничтожить бомбу! — повторял Шалва с разных трибун в Лондоне, Париже, Мюнхене.

— Скажите об этом Брежневу! — кто-то ему в ответ.

— Вы знаете, что значит слово «да-ма-па-се»? —

крикнул Шалва в зал. — Не знаете! Это грузинское слово. Означает оно «оцени меня», «похвали меня». В городе Хашури, откуда я родом, живет человек, которого зовут Дамапаса. Это его кличка. Чем он занимается? Ничем. Но когда в город приезжает ваша знакомая женщина или начальник из центра, вы хотите доставить им удовольствие, вы приглашаете их в театр. Покупаете билеты и идете к Дамапаса. Вы говорите ему: «Седьмой ряд, одиннадцатое, двенадцатое место». «Хорошо», — говорит Дамапаса. Вы даете ему пять рублей. Вечером со знакомой или с начальником сидите в театре и смотрите «Отелло», вы ждете, вертитесь в нетерпении. Наконец, в паузе с галерки раздается крик: «Все в зале кретины, придурки, недоноски, кроме тех, кто сидит в седьмом ряду, место одиннадцатое, двенадцатое». В зале смеются, аплодируют. Хашурцы знают голос Дамапаса. Все смотрят, кто сидит на этих местах, кого он оценил сегодня. Вот так развлекаются в моем городе... Так же развлекаемся и мы. Аплодируем тем, кто купил «счастливые билеты», а Дамапаса кричит на нас: «Вы кретины, придурки, недоноски!» Вот вы говорите: «Скажите Брежневу, чтобы уничтожил бомбу», — а я вам: «Скажите Никсону, или Форду, или Картеру, или Рейгану», кто сегодня сидит на «счастливом месте».

А мы сами?

Кто мы?

Почему мы не можем сами открутить голову этой бомбе, высыпать порох или что там внутри и сказать «счастливым»: «Цыц, ребята, играйте с пустыми гильзами...»

На другое утро в гостиничном номере появились Громов, Карацупа со своей собакой, из шерсти которой сыпались на паркет голубые искры. Казалось, что пришедшие добрались до Детройта по линиям высоковольтных передач.

— Шалва Шалвович, есть мнение прервать вашу программу и вернуться домой.

— Как хорошо, что мы уезжаем! У нас, наверное, уже тархун появился...

Вечером они были в Нью-Йорке. Рано утром серебристый лайнер «Аэрофлота» поднял их над Америкой.

Десять лет спустя происходит не совсем понятная сцена, драматургически как-то не подготовленная.

Культимассовик Ираклий Квирикадзе стоит у ворот Боржомской туристской базы.

Подъезжает автобус «Икарус». Вдруг в толпе туристов Ираклий замечает чуть раеполневшую, но такую же красивую, как в начале семидесятых, Соню Полищук. Краски поблекли, в глазах нет того блеска, но все же это Соня Полищук. Ираклий бросается к ней. Соня узнает его.

Объятия. Поцелуй.

— Где дядя?

— Дядя в поездке. Тбилиси — Батуми.

— Все такой же?

— Нет, Соня, он постарел...

— Твой дядя не может быть старым... С того момента, как я неожиданно для себя полюбила его, я поняла, что он святой... Я сейчас работаю в Златоусте, преподаю на нефтяном техникуме...

Дальше в описании встречи Сони и Ираклия идут страницы элегического настроения — осень боржомского парка, минеральный источник, стаканы теплого боржома — автор пишет, что все края стаканов кем-то изгрызены, — поцелуй, ответный поцелуй, ночной киносеанс в пустом зале, жаркие объятия, слова: «Соня, я так любил тебя, Соня, я сходил по тебе с ума... Я хотел броситься в Ниагарский водопад, а когда однажды тебя увез друг Никсона, узкоколейный красавец...»

— Конгрессмен от штата Техас Рон Вудс. Да, он был очень забавным...

— Он повез тебя на вечеринку к Фрэнку Синатре, откуда ты вернулась под утро... Я всю ночь точил нож, но, на счастье твоего кавалера, заснул.

— Бедный мальчик!

— Соня, я очень любил тебя...

Они прижались друг к другу и так просидели весь

киносеанс. Ираклий слышал биение Сониного сердца, спрятанного под влажной кофточкой, впитавшей в себя осеннюю сырость боржомского парка.

...Общежитие было на ремонте.

Он ночевал в Хашури у мамы, папы уже не было в живых.

Вначале они пошли к знакомому Ираклия, но тот не принял их, к нему приехала сестра с мужем. Пошли в санаторий, там случилась кража, у отдыхающей пропали серьги и трехпроцентные облигации. Милиционер ходил по этажам с двумя собаками. Соня сказала, что пойдет к себе на турбазу. «Прошу, не оставяй меня». Это была мольба, а не просьба.

Они сели на электричку и через полчаса оказались в Хашури. В дом надо было войти так, чтобы мама не увидела Соню. Он вошел первым. Мама уже легла, но велела съесть приготовленный ужин. Он ел и смотрел в окно, где в темноте стояла Соня.

Потушил свет, впустил продрогшую туристку из Златоуста.

Мама лежала в соседней проходной комнате.

Белый язык тумана вползал в открытое окно.

На другой день Соня уехала домой, в нефтяной техникум, где муж работает завучем, свекровь — директором.

А что Шалва? Шалва служил проводником на своем поезде, раз в три дня проезжал свой овраг. Однажды ему приснился сон. Около оврага стоял большой крейсер. Шалва удивился: что делает крейсер в горной местности? Шалва подошел к оврагу, артель бурлаков (с картины Репина «Бурлаки на Волге») сидела в тени крейсера. Увидев приближающегося Шалву, старший встал, протянул бумажку: «Хозяин, принимай товар!» Крейсер прислали из Москвы. «Что с ним делать?» «Скидывай в овраг!» Шалва расписался в бумажке. Бурлаки тихо, без слов, ушли. Шалва остался один на один с крейсером.

Приходило множество писем от Сони Полищук. Поздравления с Новым годом, Первым мая, Днем армии и т. д. Никсон и королева Англии Елизавета ни строчкой, ни полстрочкой не напоминали о себе.

Однажды мимо Шалвы проехала машина, обдав его водой из лужи, день был дождливый. Шалва увидел профиль Радамеса и подумал: какое знакомое лицо.

А еще однажды он сидел в овраге и что-то записывал в тетрадь. По оврагу шли старый человек и собака. Собака хромала на переднюю лапу. Хозяин собаки был небольшого роста, с гривой белых волос.

— Здравствуйте, Шалва, — произнес человек.

— Здравствуйте.

— Я Альберт Эйнштейн!

Шалва узнал великого ученого. Он видел Эйнштейна на фотографии, где тот играет на скрипке.

— У меня к вам серьезное дело, Шалва. Вы располагаете временем выслушать меня?

— Да, да, конечно! Присядьте...

— Лучше будем гулять и беседовать...

Альберт Эйнштейн, Шалва и хромая собака ходили больше часа по дну оврага.

Эйнштейн на редкость высоко оценил деятельность Шалвы как истинного гражданина мира.

— Ваша идея проста и гениальна. Гениальна она своей простотой. Господь не разрешил мне дожить до сегодняшнего дня, иначе я первый поставил бы подпись под реализацией вашего проекта!

Далее Эйнштейн говорит о том, что годы, которые он провел на небесах (он показал пальцем в небо), привели его к печальному выводу: человечество, весело танцуя, движется к пропасти... Господь бог в полной растерянности. Он не может понять сегодняшних людей. Бурное развитие физики, кибернетики, квантовой механики, ценные реакции, ядерные взрывы, «звездные войны» пугают его, он не понимает всего этого. Один маленький японский калькулятор способен в мгновение вывести корень из... а он все это считает в голове и долго. Когда он творил мир по своему подобию, он не предполагал, что люди окажутся такими приткыми. Он устал от людей и решил уйти в другое место и там начать новую жизнь. Где-нибудь на периферии Галактики.

— Собака кого-то учуяла, — сказал Эйнштейн. — Бог мгновенно решает: насытить ли собаку или спасти жизнь кого-то — ежа, зайца, куропатки... А вот в вопросах распада молекул урана и начала термоядерной реакции... здесь он, увы, не знает, как быть.

— И поэтому он решил бросить нас?! — В глазах Шалвы недоумение.

Собака отошла от куста шиповника. Смешно оседая на переднюю лапу, она трусила за великим физиком.

— Не знаю, как это сказать?.. Я еще никому не говорил... Видно было, что Эйнштейн волнуется. — Он предложил мне заменить его! Хотя бы на время.

Шалва остановился.

— Вы вместо бога?!!

— Он сказал мне: «Альберт, ты знаешь атомную эпоху лучше, чем я, и займись ею». Я ответил ему, что я простой смертный, грешник. Он молча думал, а потом сказал: «Альберт, у меня нет нужного образования. А для учебы я стар».

— И что дальше?

— Дальше я пришел сюда, в овраг...

— Вам нужен мой совет?

— Да, Шалва.

Закапал дождь. Проводник достал из заднего кармана брюк кусок прозрачного целлофана, укрыл им великого ученого, сам долго отказывался от прозрачного навеса, но Эйнштейн настоял, и они вдвоем, натянув целлофан, продолжили хождение по диу оврага.

— Если бог уйдет, то кто-то придет. А вдруг придет какой-нибудь проходимец?! — спросил Шалва не столько Эйнштейна, сколько самого себя.

Укрытые целлофаном, они удаляются в глубь оврага и исчезают в мокрых зарослях шиповника, только лай хромой собачонки напоминает нам о разговоре между физиком Эйнштейном и проводником Квирикадзе.

Пока в мокром шиповнике говорят о чем-то очень важном, я прочту страницы, выпавшие, видимо, из середины «Радуги», их номера 331—334, они перечеркнуты крест-накрест красным карандашом, но любопытство — что же было отвергнуто авторской самоцензурой? — заставило меня прочесть их. Беседа с утопленником Авессаломом.

Вначале описывается его внешность, возраст, профессия.

Авессалом крепкий телом старик. Желтые зубы, желтые пальцы выдают в нем профессионала-курильщика. Тяжелые веки, но улыбчивый рот.

На вопрос, что за кличка «утопленник», отвечает уклончиво. «В Хашури всем дают клички». В его рассказе фигурирует время, когда «играли духовые оркестры... все носили белые кители... парусиновые туфли чистили зубным порошком».

В те времена он был шофером черной ЭМ-1, принадлежавшей некоему высокому начальнику, которого он называет то «Святой Лука», то «Святой Себастьян», то «Святой Лаврентий». Понять, о ком идет речь, — трудно.

По ходу беседы «утопленник» пьет красный «Мукузани».

Отрывок из монолога Авессалома:

«— Ты спрашиваешь о моем хозяине, он сейчас многих интересует, мне скрывать нечего.

Имя его Себастьян. Почему оно не грузинское? Не знаю.

Звонит сегодня Сандро Татаишвили, он работал в нашей системе. Звонит испуганный: «Газеты читаешь? Такое пишут. Волосы дыбом встают! До нас докапываются». Я смеюсь в телефонную трубку: «Спокойно, Сандро. Спокойно. Доживай свою пенсию, катайся на трамвае бесплатно и не бойся контролеров. Тебе обеспечена счастливая старость!»

Авессалом хлебнул «Мукузани».

— У моего хозяина была бумажная работа. Целый день подписывал тысячи бумаг...

Но ежедневно в час дня он садился в машину, и мы ехали на проспект Руставели. В это время школьники возвращались с уроков. Он сидел на заднем сиденье и смотрел из-за занавески на школьниц. Мы ехали медленно. Он обожал разглядывать красивых девочек. «Авессалом, вот ту, с рыжими волосами». Я останавливал машину, выходил, отводил в сторону рыжеволосую. Называл имя того, кто хочет познакомиться с ней. И не было случая, чтобы девочки не следовали за мной.

Ехали молча. Он никогда не заговаривал с ними в машине. Девочки всегда сидели впереди, рядом со мной. Я чуть скошу глаза и смотрю, у него был отличный вкус. Он брал только свежих, от них пахло, ну как бы это сказать, чем-то чистым...

В городе знали о нашей машине. Знали, что с двух до трех часов мы подбирали красивых школьниц. Почему они не прятались? А куда спрячешься? Кого-то, наверно, прятали, но так или иначе он всегда находил то, что искал. Может, девочкам самим было любопытно, вот они и стояли на проспекте как бы случайно.

Привозил и отдавал их старой гречанке. Она их мыла. Однажды я осмелился, зашел в комнату к ней. Девочка сидела тихая, послушная. Старушка что-то шептала ей. У меня голова закружилась от девчачьего вида и от запахов.

Он отпускал их быстро. Дарил щедрые подарки. Я отвозил их на место. Несколько раз попадались девочки разговорчивые. Я спрашивал: «Как он там?» Они рассказывали одно и то же: «Заходит в комнату и через минут пять — десять выходит». Старушка их поднимает, приводит в порядок, потом девочку спускают к машине. Однажды мне так понравилась одна, я подумал, завезу ее куда-нибудь, но не решился. Если бы я сделал то, что мне хотелось сделать с девочкой, если бы я не отвез ее на место, где взял, а отвез куда-нибудь на другое место, утром на его столе лежала бы бумага от моего поступке. Я уверен...

Авессалом вновь хлебнул «Мукузани».

— Себастьян любил красоту. Посмотри мне в глаза и скажи честно: если жизнь дает тебе право указать пальцем на любую понравившуюся женщину и тут же эта женщина окажется в твоей постели, ты не воспользуешься таким правом? Молчишь. А не надо молчать. Надо сказать: да, это мечта любого мужчины во все времена. Но редко, кто мог себе такое позволить... А Себастьян добился этого права...

В открытое окно влетели две вороны, сели на подоконник, перелетели к столу и пошли по нему, словно домашние птицы.

— Кыш! — сказал Авессалом и наполнил себе стакан.

— Памятники его утопили! Собрали их со всей Грузии и в реку. Я узнал, где это место. Нырнул. Их там много стоит под водой — он генерал, он в костюме, в пелене, в плаще, мраморный, бронзовый, каменный. Я плавал между ними и не хотел выплывать, остался бы с ними, если б не кислород. Одну бронзовую голову я снял, принес, держу в шкафу, никому не показываю...

Авессалом встал, подошел к большому дубовому шкафу, открыл дверку. Мелькнул чей-то бронзовый лик. Авессалом поспешно закрыл дверку, повернулся и сказал:

— Он святой... И никому ни слова, что видел!

Дождь перестал моросить.

В овраге запахло дикими розами.

Шалва скинул с головы Эйнштейна целлофан.

Великий ученый говорил тоном лектора общества «Знание»:

— В момент, когда Земля и планеты выстроятся в ряд, ты увидишь это, точнее, почувствуешь по звону в ушах, раскинь руки, превратись в букву «Т», и ты взлетишь...

Шалва раскинул руки.

— Лежа на кровати, Шалва...

— Помню.

— Никаких усилий, суммарная гравитация будет

тянуть тебя вверх... Шалва, сделаешь ты это в том случае, если поймешь, что я проиграл... — Эйнштейн грустно улыбнулся... — Он плетет интриги на редкость искусно. Господь принимает каждое его слово за чистую монету. Я читал его автобиографию, там выманы все компрометирующие его страницы. Поэтому он и избегал ада и попал в рай. Узнав, что господь хочет покинуть небо, он всячески старается втеяться в его доверие. До недавнего времени малоизвестный интриган, он стал фигурой номер один. Ни Леонардо, ни Данте, ни Моцарт, а он. Старый бог ходит, опираясь на его плечо. А когда уезжает на выбор места, где хочет обособиться, покинув всех нас, оставляет его взамен себя.

Вот тогда-то начинаются на земле Карибского моря кризисы, Вьетнам, Фолкленды, Афганистан, Иран — Ирак, проекты «звездных войн», взрывы в Неваде. У него так и чешутся руки уговорить кого-нибудь нажать на кнопку и пустить ракету все равно куда, справа налево или слева направо. А теперь он узнал, как Солнце перекрыть Луной и устроить на Земле вечное солнечное затмение. Он убеждает бога, что людей, вышедших из-под божественного контроля, надо наказывать, надо очистить землю... опустошить ее холодом... Все это он хочет сделать сейчас. Господь видит в этом что-то разумное; главное, говорит он, не надо будет переселяться на новые места в Галактике.

Я начал борьбу. Бог еще слушает меня. На днях он сказал: «Я уйду, будь вместо меня». Но что будет завтра, я не знаю...

Над головами Шалвы и Эйнштейна низко пролетели вороны. Одна из них какнула и ловко попала на лоб великого ученого.

Возникла пауза.

Эйнштейн вынул платок и стал стирать жижу со лба и бровей.

— У нас говорят: это к счастью! — сказал Шалва.

— Нет. Я знаю этих ворон. Это не к счастью!

Хромая собака неотрывно следит за полетом ворон.

— Альберт! — послышался голос сверху. Звала женщина, стоящая на краю оврага. Женщина была в белом халате, похожем на медицинский.

— Альберт, время! Тебя ждут! — Женщина показала пальцем на небо.

Эйнштейн стал прощаться.

— Шалва, скажи им, что они доиграются! Мне говорили, в день Хиросимы, в сорок пятом, когда господь увидел, что сделала эта маленькая дура весом в полтонны, побагровел, сломал об колеею кий, он играл в бильярд, свалился на бильярдный стол бездыханный — инсульт. В дни Хиросимы бог чуть было не умер! Скажи им об этом...

Эйнштейн поднимался вверх по тропке, за ним, припадая на передние лапы, карабкалась хромая собака.

С того дня Шалва стал смотреть на солнце. По утрам выходил на балкон и долго разглядывал солнечный диск сквозь закопченное стеклышко. В телевизоре, в радио, в газетах шла битва за запрет на размещение крылатых ракет в Европе. Шалва внимательно смотрел на колонны демонстрантов в ФРГ, Англии, Голландии, которых разгоняла полиция, избивала дубинками, душила слезоточивыми газами. Шалва не мог оторвать тревожного взора от программы «Время». Даже если он был в поездке, то на стоянке вбегал в комнату дежурного по станции и смотрел телевизор... Битва против «Першингов» была проиграна, и крылатые чудовища стали размещать на полигонах НАТО. Генералы, счастливые, довольные, деловые, давали интервью.

И Шалва услышал звон в ушах.

Утром, когда вышел на балкон и посмотрел на солнце в закопченное стекло, он увидел, как край Луны наслел на солнечный диск...

Шалва прошептал:

— Эйнштейн проиграл!

Весь день он ходил по Хашури.

Весь день он прощался с соседями, сослуживцами, друзьями. В депо, на базаре, в булочной, в столовой, парикмахерской он говорил всем странные слова:

— Сегодня ночью я исчезну. Взмечу на небо. Я не позволю поставить точку в миллионлетней цепи земной эволюции...

Его слушали, как всегда, не очень внимательно. Да и как мог слушать парикмахер Гизо тревожные малопонятные слова о «миллионлетней цепи эволюции», которую Шалва то ли едет, то ли летит спасать. Парикмахера Гизо волновало, что перед окнами салона по тротуару прошел человек, несший трехкилограммовую банку югославской ветчины. До него двое прошли с ветчиной. Значит, где-то дают, а у него клиент сидит недобрый и еще Шалва зашел и плетет какую-то чушь...

На почте, где располневшая донельзя Ахабадзе гдала на кофейной гуще своим пышнотелым подружкам, на Шалву косились, так как он долго писал телеграммы в Москву, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Рим, Бонн, Париж.

Ахабадзе повертела пальцем у виска, подружки захихикали и принялись считать количество слов телеграмм.

«...Решайте проблемы вместе помогайте друг другу думайте о братстве людей...»

Ахабадзе переспросила адреса:

— Белый дом, Вашингтон. Штат Колумбия. А номер Белого дома?

— Номер дома... я не знаю!

— Но как я могу посылать телеграммы с указанием только цвета дома?

— Но Белый дом один...

— Во всей Америке один белый дом?

Подружки захихикали.

«Космос должен быть общим он должен быть свободным от ядерного лазерного другого оружия».

— Рубль шестьдесят!

«Была холера была чума теперь их нет человечество победило надо победить атомную бомбу».

— Что здесь написано?

— Дворец Киото!

— Киото?..

Вечером Луиза пришла с работы, дверь в спальню была заперта. В квартире было холодно. Луиза вспомнила слова Шалвы, сказанные прошлой ночью, когда он говорил с ней о своем отлете на небо: «Будет очень холодно, ты пойдешь ночевать к сестре».

Луиза подошла к двери. Постучала. От двери шел пар, металлическая ручка покрылась инеем.

Луиза зашла к соседям.

Однорукий Павле с удивлением разглядывал внутренности своего холодильника, в котором корка льда выросла многократно, ледяные помидоры раскололись.

— Шалва заперся, хочет улететь на Луну! Надо сломать двери.

— Хочет лететь — пусть летит. Не отпустишь на Луну, улетит к Венере!

Павле засмеялся. В депо была кассирша Венера, к которой «улетали» многие железнодорожники.

Раздался страшный грохот. Посыпалась штукатурка.

Все посмотрели на потолок — там расплзлась широкая трещина.

Стало очень тихо. Только звенели оконные стекла.

— Он улетел!

Однорукий Павле, его жена, дети, Луиза бросились в квартиру Шалвы. Дверь в спальню была выбита, сброшена с петель. Кровать отсутствовала.

В потолке зияла огромная дыра».

Я оторвался от рукописи.

Сверхфантазия автора превзошла мои ожидания. Шалва пробил потолок собственной спальни и умчался в космос.

Автор комментирует это событие следующими словами:

«Когда-то в древности мужественные люди среди наших далеких предков, прослышав про злые дела, пристраивали к поясу меч и отправлялись в путь. Обнаружив зло, они рубили его мечом или их рубили, и тогда смерть очищала кровью землю. Но как сра-

жаться с тысячами безымянных, безликих призраков, которые и есть зло нашего времени?

Как сразить их мечом?

Сегодня человеческий гнев превратился в отравленный желудочный сок.

Человек теперь не борется со злом — он хватается за живот, глотает пилюли или едет сюда, в Боржом, пить минеральную...

Дядя Шалва решил поднять тот ржавый меч предков. Он, ненавистник оружия, решил бороться за Солнце!

Я нашел в себе силы выкарабкаться из ямы. Листы рукописи собрал по номерам, многих не хватало.

Пройдя улицу Розы Люксембург, я зашел во двор общежития санатория «Светлый».

На стене висело объявление:

«Кто хотел убить папу римского?» Лекция. После лекции танцы».

И тут...

Я боюсь писать эти строки...

Думаю, что читатель через секунду покрутит пальцем вокруг своего виска: «И этот сумасшедший».

Над крышей общежития, в левом углу, всколыхнулась черепица, посыпалась вниз.

Я услышал грохот и увидел лишь на мгновение кровать с лежащим на ней человеком, он раскинул руки буквой «Т».

И тут стало тихо.

Исчезло видение кровати.

Только битая черепица под ногами.

Я ехал в электричке.

Было поздно.

Я смотрел на свое отражение в ночном окне. Придать лицу спокойное выражение не удавалось.

Что же случилось?

Графоманская фантастика на семистах страниц и кровать, взлетевшая над крышей общежития, — как уместить это в сознании нормального, средней руки, кинорежиссера?

В детстве я читал Жюль Верна. Дальше — Брэдли Лем, Кларк, они не вызвали у меня особого интереса. Фильмы вроде «Звездных войн» я с трудом досматривал до конца.

Но сегодня на моих глазах улетел в космос Ираклий Квирикадзе. Псевдонинтеллектуальная игра — Воннегут, Бекет и другие — не лучшими гранями своих талантов прикоснулись к этой истории, подумал бы я, если бы час назад не увидел кровать, улетающую в звездную темноту.

На станции Хашури поднялась компания. Оживленная, веселая, расселась вокруг меня.

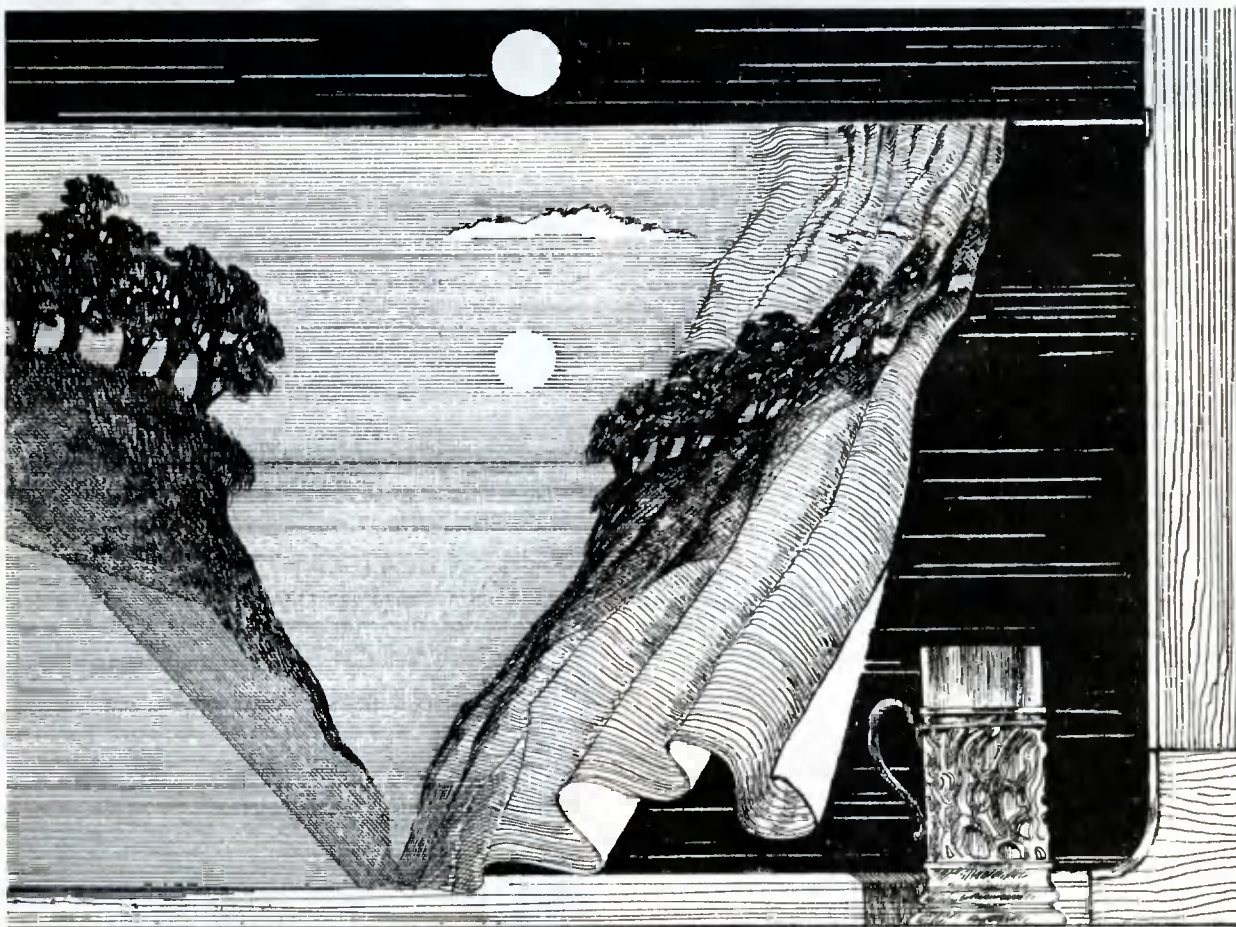
— На голове статуи Свободы есть смотровая площадка. Там я увидел одну негритянку и обалдел, ничего подобного в жизни не встречал.

Говорил человек довольно не молодой, но еще не потерявший вкуса к разговорам о женщинах.

— Я ей говорю: сколько? В Америке это делается просто. Со мной группа сенаторов, но я спокойно при всех беру ее и в отель. Мы три дня не выходили из номера... Она шептала: «Ричард, ты мой бог».

Я встал, открыл окно и вышвырнул рукопись в ночь.

Электричка проезжала овраг Тартар. Я увидел в темноте еще большую темноту.





НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

Найден солдатский медальон
Владимира Ивановича Ефимова
из Воронежской области.

Фото Александра Орлова.

Уважаемая редакция!

Родился я на станции с названием Мясной Бор. Многие думали, что так называли это место после войны, но название это старое — ему несколько веков. Судьба распорядилась так, что в годы минавшей войны страшный смысл приобрели эти, странным образом связанные, два слова. В этих местах попали в окружение части 2-й ударной армии Волховского фронта. В июне 42-го была сделана последняя попытка прорыва. Многие вышли, но в истерзанных войной лесах остались лежать десятки тысяч. В появившихся за последнее время брошюрах для туристов, совершающих поездку в «Долину мужества», — так теперь называют эти места, — сказано о шести тысячах погибших. Если бы так... Только на трех братских кладбищах вдоль дороги покоится столько, а все остальные... Об этом чуть позже.

Частенько повторяем мы слова «Никто не забыт — ничто не забыто», но давайте поговорим начистоту — не успокаиваем ли мы этой стихотворной строкой свою совесть? Я попробую доказать, что это так. Горькое это доказательство, но...

На судьбу воинов 2-й ударной черной тенью легло предательство генерала Власова, который командовал армией в последние два месяца окружения. 25 июня 1942 г. он бросил армию. Немцам Власов сдался в августе.

Долгие годы о судьбе 2-й ударной просто молчали, а те десятки тысяч человек, что без вести пали, числились в предателях! Еще и сейчас находятся люди, которые, слыша о 2-й ударной, говорят: «А, власовская армия». Ничего они не знают, эти люди.

Десятки тысяч советских людей пали в последнем бою на политую кровью святую землю Мясного Бора, и... лежат на ней до сих пор. Это не шесть тысяч, о которых сообщает туристский путеводитель, а в несколько раз больше. Едва я стал что-то понимать, я узнал об этом. В четыре года моей игрушкой был 82-мм миномет — оттуда, из леса. В тот страшный лес, темнеющий за близкой железной дорогой, каждый день уходил мой брат Николай Иванович Орлов, которого потом, в 1969 году, писатель Сергей Сергеевич Смирнов назовет «Командант Долины смерти». Так же Сергей Сергеевич назовет и документальный фильм, снятый по его сценарию на Ленинградской студии документальных фильмов. Фильм света не увидел. В фильме была горькая правда о солдатах, забытых на поле боя. Видимо, кому-то эта правда при- шлась не по нутру.

Сначала брат ходил в этот лес по горькой жизненной необходимости. Для человеческого существования нужны прозаические вещи. В лесу лежало многое, что украла война из мирной жизни. Топоры, пилы, лопаты, всяческий необходимый хозяйственный припас несли из этого леса. Там же брали и запасные части к самой разной технике — ведь одних автомашин там были сотни. Из леса выносили стреляные гильзы, сдавали их в «Цветмет» и на эти деньги жили. В этом же лесу собирали ягоды, грибы. Это было совсем не похоже на наши сегодняшние лесные вылазки. Для многих такие походы закончились гибелью. В лесу стояли сотни тысяч мин, не дождавшихся своих жертв в войну. Николаю везло — он подорвался два раза, но остался жив. Первый раз это была немецкая противопехотная мина-лягушка. Услыхал хлопок вышибного порохового заряда, когда ступил чуть в сторону от хоженой тропинки, успел упасть. Смертоносная шрапнель просвистела над головой. Второй раз наступил на нашу ПМД-6. Ногу спасла толстая крепкая лодшва американского ленд-лизовского ботинка.

Первый солдатский медальон Николай нашел в сорок шестом. Потом он посвятил поискам солдат, пропавших без вести, всю свою жизнь. Стоили ему эти поиски много сил и здоровья. Чиновным людям его деятельность радости не доставляла. Правда, которую он открывал, была далеко не розовой. Уже давно было доложено, что все погибшие собраны, сняты и обезврежены все мины, а какой-то там самозванец-следопыт мутит воду. Кое-что договаривался до того, что ут- верждал, будто Орлов-то, дескать, медальоны не просто так ищет — ему родственники погибших деньги за это платят.

Потом по лесам мы стали ходить вместе. Николай был старше меня на двадцать лет, и мне было всего лет шесть, когда он взял меня в первый раз. Сейчас мне уже тридцать девять почти. Брата семь лет как нет в живых. Тот первый поход я помню, как сейчас. Трава не росла, земля была покрыта лишайником, который первым начинает залечивать военные ожоги. Кругом белели кости. Их было страшно много. Рядом с убитыми лежали оружие, патроны. У стоявшего на сошках противотанкового ружья лежали останки двух бронейщиков. Среди нескольких сотен наших убитых нашли мы тогда одного немца. «Не забрали своего фрицы», — сказал брат. — Видно, не взять было. Они своих всех собирали». Тогда я ему не поверил, но потом убедился в этом сам. За долгие годы хождений в Мясной Бор мы нашли всего лишь несколько десятков немцев, наших же... В это трудно было поверить, но пришлось. Тогда был 1954 год.

Сейчас 1987-й. Все почти так же! Только видно стало хуже. Сама природа захоронила солдат. «Они стали землей, травой» — кажется, так в песне?

Теперь самое время поговорить о памяти. За те долгие годы, что прошли, захоронены останки всего нескольких тысяч. В пятидесятых это сделали силой воинской части — похоронили тысяч шесть. Несколько сотен похоронили ребята из военно-патристического клуба «Сокол» Новгородского производственного объединения «Азот».

Вспоминаю уже достаточно далекий 1975 год. Нас было человек десять, во главе с Николаем. Мы пришли в Мясной Бор, чтобы собрать останки воинов, найденные в одном из походов. Работала неделя. Ут-

ром уходили на бывшую «нейтралку» и до самого вечера руками — лопата здесь не помощник — раскапывали наших русских ребят, наших ровесников из 42-го. Собрали мы 64 человека. Среди них только у двоих были медальоны. Они лежали рядом. Солдат и офицер. Рядовой Константин Митрофанович Харди- ков из Курской области и лейтенант Георгий Самуи- лович Бисноватый из Киева. Имен остальных война нам не оставила. Тридцатого апреля вынесли ребят к деревне, разложили по гробам остаки. Когда выноси- ли, чувство было такое, что выносим своих погибших друзей. В назначенный час ждали представителей военкомата. Гробы стояли неподалеку от дороги. Стали останавливаться машины. Положили на один из гробов каску, чтобы не думали, что это жертвы массовой автомобильной катастрофы. Час проходил за часом, но никто так и не появился. Потом оказалось, что ка- питан из военкомата, которому было поручено орга- низовать захоронение, просто об этом забыл...

Теперь события не так давно минувших дней. Было это году в 84-м. Перед самым праздником Победы расстреляли памятный знак 18-го арtpолка РК на самой окраине Мясного Бора. Судя по пробойнам, стреляли из пулемета. Как вы думаете, нашли тех фа- шистских недобитков? Нет!

Шастают по воинским полям подонки. Собирают оружие. Святую землю роют, как поганые кроты, ис- катели фашистских регалий и золотых зубов. А. Воз- несенский, написав свой «Ров», наверняка и подумать не мог, что тянется этот ров очень далеко и во мно- гих местах прямо по поверхности. «Искателям» не нужны солдатские медальоны, они их просто выбра- сывают. Вывернуты наизнанку сотни воронок, раско- паны многие кладбища гитлеровских вояк. Ищут! С каждым днем их становится все больше — не сле- допытов, а вот этих недобитков. Уже подбираются к кладбищам, оставшимся на месте уничтоженных в войну деревень.

Каждый год мы идём в этот лес. Я вижу ребят, что лежат там, живыми. Я вместе с ними, я их не остав- ляю. Каждый такой поход — это очищение, это искуп- ление своей, нашей вины перед ними. Как же мы их бросили на поле боя? Кто ответит что-нибудь в оправ- дание, да и может ли быть этому оправдание? Я счи- таю, что корни сегодняшней бездуховности надо ис- кать и в этом. Своих защитников на поругание врагу не бросают, а мы их бросили и сегодня пожинаем горькие плоды. На застойной воде забвения мы выра- стили плесень гнилодушества. У подлости тоже есть преемственность, и она, эта преемственность, проявля- ет себя в историях с «афганцами», которые, получив увечья в бою, получают дома увечья от радиодушии.

Что же делать с теми, кто стреляет по памятникам, кто топчет святые могилы? Мое мнение однозначно — это враги. Уверен, что, начнись война, они будут не за нас с вами. Предающий память легко становится предателем Родины.

В прошлом году в Мясном Бору следопыты из «Со- кола» и бойцы военно-патристического «Снежного де- санта» из Казани захоронили еще 167 бойцов 2-й удар- ной армии. Был прощальный салют, были речи, были слезы, но лежат небранными еще тысячи и тысячи. Лежат в Мясном Бору, лежат под Старой Руссой, под Холмом — везде, где шли бои в нашей области. Ле- жат под Мурманском. Думаете, где взяли винтовку мурманские «стрелки»? Они взяли ее из рук убитого и забытого солдата. Пока так будет обстоять дело, мы не имеем права говорить, что никто не забыт — ни- что не забыто.

Александр ОРЛОВ

г. Новгород

А ТЫ СМОТРЕЛ «РИСК»?

На снимках:
кадры из фильма
«Риск» —
маршал М. Н. Тухачевский,
Джон Кеннеди,
Н. С. Хрущев
и Юрий Гагарин



Ежегодно двенадцатого апреля — и уже более двадцати лет — Гагарин спускается по трапу самолета, который по возвращении на Землю доставил его в Москву, делает шаг другой, а в следующем телекадре мы обычно видели уже ликующих демонстрантов на Красной площади. И целое поколение лишь совсем недавно, 26 октября, увидело на телеэкране, как, спустившись по трапу, Гагарин устремляется к встречающему его Хрущеву...

Да, на наш телеэкран — в художественно-публицистическом фильме «Риск» — возвратился Никита Сергеевич Хрущев.

Не могу не вспомнить забавный случай. Летом 1960 года как репортер «Комсомольской правды» я приехал в Сокольников на открытие Чехословацкой выставки. Церемония задерживалась, ждали Хрущева. Я стоял в толпе чуть в стороне от центральной аллеи, вдоль которой были выстроены неизменные пионеры с цветами. И вдруг кто-то толкнул меня в бок, я повернулся и увидел рядом с собой Хрущева. Как потом выяснилось, он решил разыграть устроителей выставки и, где-то оставив свою машину, смешался с толпой ожидающих. Внутренний телохранитель едва поспевал за ним. Поймав мой недоуменный взгляд, Хрущев изговорции приложил к губам палец, но тут какой-то пружинистый малый вскричал на ближайший пень и деревянно выкрикнул: «Да здравствует Никита Хрущев!» Ясно, он имел задание — приветствовать Хрущева из толпы. И по-заграничному, без отчества, хотя еще так привычно было неразделимо-сиятельное: «Иосиф Виссарионович»... «Не кричи», — сказал раздосадованный Хрущев, и пружинистый окаянел на своем пне. А к Хрущеву уже вели пионеры...

Сталин стремился возвыситься над людьми, а Хрущев был живым человеком и вышел на авансцену, когда достиг предела дефицита человечности. И хотя не устоял он в конце концов перед холуйством и чинопочитанием (мы и сегодня лишь учимся демократии, а в те-то годы...), наобещал нам горы несбыточного, но имя его неотделимо от XX съезда партии, который возвратил честь и достоинство многим безвинным жертвам сталинского времени, вновь приблизил нас к Ленину.

Принявшись за свой фильм, режиссер Дмитрий Барщевский и сам не знал, что Хрущев займет в фильме такое весомое место. Увидев на телеэкране пресс-конференцию Михаила Сергеевича Горбачева в Рейкьявике, режиссер обратился к киноархивным материалам (и отечественным, и предоставленным американцами), свидетельствовавшим о том, как мечта о ракете, уносящей к звездам, обернулась для че-

ловечества совсем иными ракетами — смертоносными. Маршрут фильма выстроился: Рейкьявик — Вашингтон...

В фильме рассказывается история научного и нравственного противоборства двух личностей: Сергея Павловича Королева и Вернера фон Брауна. Мы во всех подробностях узнаем, как вчерашние наши союзники за океаном закрыли глаза на эсэсовское прошлое фон Брауна. Но и с горечью узнаем, что уже к 1941 году Королев и его сподвижники вполне реально могли создать ракету такого класса, которой не было бы у Гитлера. И столь же дорогой ценой далась бы нам тогда Победа? Ошеломляют кадры, когда на экране появляется легендарный маршал М. Н. Тухачевский. В середине тридцатых годов он уже утверждал, что будущее за ракетами, и всячески поощрял работы Королева, поэтому после расправы над Тухачевским пришла очередь Королева... Мыслимо ли было в те годы, не рискуя жизнью, вступить за Королева? Думаю, что этот поступок М. М. Громова и В. С. Гризодубовой, о котором мы узнаем из фильма, не менее значим сегодня для нас, чем их эпохальные беспосадочные перелеты. Так как же, если следовать исторической правде, сюжет фильма мог выстроиться без Н. С. Хрущева, при котором был посмертно реабилитирован Тухачевский, а еще не реабилитированный (формально) Королев стал Главным конструктором?

Фильм выстраивался за монтажным столом. И, продолжая следовать исторической правде, напоминает нам, как в сентябре 1959 года с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН от имени Советского правительства Н. С. Хрущев предложил встать на путь всеобщего и полного разоружения, чтобы не иметь больше средств для ведения войны. 28 лет пришлось ждать, пока появилась реальная надежда, что первый шаг на этом пути вот-вот будет сделан...

«Риск» не только с волнением смотрится (что стоят и кадры с Джоном Кеннеди в дни Карибского кризиса...), но и слушается. Игорь Костоловский совсем не по-дикторски спешит высказаться обо всем, что мы видим, — так говорим мы лишь дома или в кругу друзей. Текст написала Наталья Виолина. Скажу только то, что думаю, убеждала она себя, а там будь что будет... Если бы каждый из нас всегда говорил только то, что думает, — другая бы жизнь пошла. Рискнем?

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ.



Гево́рг
ЭМИН

Мала моя Армения

Мала моя
Армения,
Как колыбель, источник силы,
Для сына и защитника ее.

Мала моя Армения —
Не больше могилы
Для тех, кто посягает на нее.

☆☆☆

Я был землей
И стану вновь землею,
Что б я ни делал,
И где б ни шел я под луною...

Если до того дня
Я не превращусь в пепел
От сжигающего меня
Огня.

На кладбище села Аштарак

Падал снег,
Падал снег.

Обнимая холм над могилой сына,
мать проплакала целый век.

Падал снег,
Падал снег
На волосы седые,
На плечи худые,
На слезы скупые
И на воспоминания...

Падал снег,
Падал снег,
Нес службу похоронную
И занес могилу уединенную
И мать, над нею склоненную,
И на этой пустыне оледенелой
Вырос еще один холмик белый —
Там, где целый век
Падал снег,
Падал снег.

☆☆☆

А я им говорю: «Привет...»

У них в плену я столько лет —
Мои ничтожные деянья
Не стоят и упоминанья,
А я им говорю: «Привет!»

На них я трачу столько сил!
А между тем я столько чистых,
Святых, высоких, бескорыстных
Желаний не осуществил...

Женщина

Стоит только сказать,
Нежность свою затая:
«Любовь моя!»
Как она тут же ответит,
Всю жизнь твою на ладони держа:
«Я твоя госпожа!»

Перевел с армянского
Э. БАБАЕВ

☆☆☆

Наш вдохновенный разговор
тянулся до скончанья дня...
Стемнело — помнишь ли?
И ты тогда осталась у меня...
Годами длится разговор,
усталость и тоску гоня.
Должно быть, он и есть любовь.
Все остальное — болтовня!

Микаэл Налбандян

Сильней, чем мы, он внешний мир любил —
творцом он был и человеком был.

Но в век жестокий поправно добро —
и в руки меч он взял, а не перо.

А лира невесомая нежна:
Он поднял меч — и лопнула струна!

Он мир воспел не с помощью чернил —
любовь свою он кровью окропил.

☆☆☆

Увы, я чувствую,
что принимаю форму
того сосуда,
который ненавидел люто.

И все меня за это любят
и даже славят...

О, будь ты хоть
священным мирром, —
разбей сосуд,
который ненавистен!
Пускай прольешься
наземь
и будешь
с грязью смешан.

☆☆☆

Ты не смотри
на малый рост,
на то, что я
по виду прост.

В минуты вдохновенья я
могу, достав до звезд,
всю боль Вселенной
сжать в кулак,
чтоб мир в моей горсти
затрепетал!..
Хотя кулак,
как сердце,
мал.

Перевела Т. БЕК

Владимир
ЛУКЬЯЕВ

ПОЕЗДКА В ХАЛИМБЕК- АУЛ

— Ну, как дела? Что нового?

Гусейн с ответом не спешит. Поддергивает бороду, улыбается...

— Слушай, что за вопрос! — вдруг восклицает. — Жил я тихо-мирно, иикого, как говорится, не трогал, а после твоей статьи — завал! Лавина писем, приезжают люди...

Мы укрылись от августовского зноя в деревянном сарайчике. А рядом, на небольшой заасфальтированной площадке, идут занятия.

— Тренировки не проводим только в сильную жару, — угадывая мои мысли, отвечает Гусейн. — Если температура в тени выше 35 градусов, делаем двух-трехчасовой перерыв.

На стене рядом с термометром висит летний, каникулярный распорядок дня, написанный от руки на тетрадном листочке. Подъем в 5, туалет, разминка около часа, завтрак, три часа у-шу, занятия по рисованию (сам Гусейн этим летом готовился сразу к двум выставкам — в Махачкале и в Москве), обед, снова у-шу, ужин, беседа и перед сном — получасовые плавные упражнения тайцзы цюань.

— Много было гостей? — спрашиваю осторожно.

— Были гости...

О том, сколько было гостей, я узнал от одного человека, побывавшего здесь в июле. Он позвонил мне (как выяснилось, по собственной инициативе) и сказал, что к Гусейну каждый день приезжает много народу и надо срочно напечатать в журнале комплексы у-шу, дабы спасти его от «этого нашествия».

— Какой шакал мог сказать тебе такое!

Гусейн — горец, а в горах вековое понятие «гость от бога» еще не обесценилось. Кстати, «шакал» — самое крепкое выражение у Гусейна. А от ребят из студии и этого не услышишь. Такая сложилась там атмосфера. Забегая вперед, скажу, что кое-кому из гостей вначале было трудно. Ну, ругнулся разок-другой, подумаешь. Тем более что никто не остановит и слова укоризненного не скажет. Но через пару дней от этой сорной привычки не оставалось и следа. То же самое и с курением. Сигареты и у-шу — вещи абсолютно несовместимые. И тем не менее поначалу кое-кто из гостей тайне по ночам покуривал. Однако вскоре бросал. И я уверен, что причиной тому были не интенсивные тренировки, а опять же нравственная атмосфера студии.

1. Исходное положение: ноги вместе, руки опущены. Дышать носом спокойно. Внутренне сосредоточиться.

2. «СКАКАТЬ НА ЛОШАДИ».

Сделать шаг левой ногой вбок, «сесть на лошадь». Сжав руки в кулаки, прижать их к телу. Размерно покачиваться в позиции, как бы в такт легко скачущей лошади. Подобрать живот.

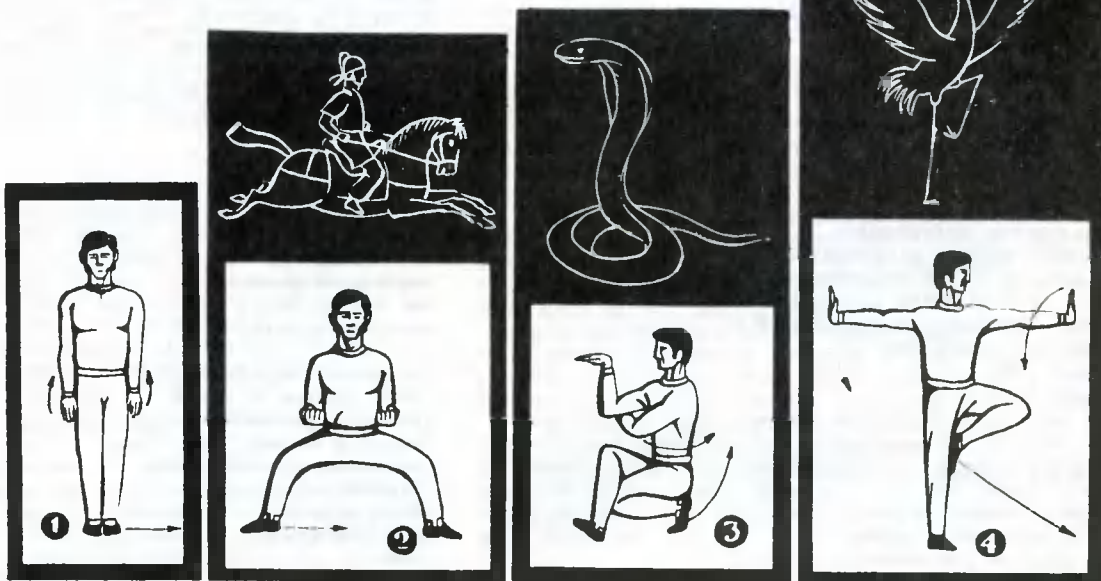
3. «ЗМЕЯ УГРОЖАЕТ».

Подтянув правую ногу на полшага к левой, сесть в «скрученную» позицию. Правая рука имитирует го-

лову змеи, левая служит опорой. Взгляд пристальный, напряженный, вдохнуть через нос и медленно выдохнуть через рот.

4. «ЖУРАВЛЬ СМОТРИТ ВДАЛЬ».

Поворачиваясь влево, встать в «позу журавля», взмахнувшего крыльями. Левая нога согнута и опирается на колено правой ноги. Смотреть влево в воображаемую даль. Вы «взлетели».



Этим летом в Халимбек-ауле действительно побывало много людей. Приезжали ребята из далекого леспромхоза и подполковник — следователь по борьбе с особо опасными преступниками, офицеры, делегированные своими подразделениями, и просто выпускник суворовского училища, программисты из Москвы и психологи из Ленинграда...

— Правда, некоторые думали, что у меня есть какие-то особые секреты. В общем, хотели мистики.

— Ну, а как же! У-шу ведь пришел с Востока, значит, и мистика должна быть.

— Вряд ли можно найти более практичных людей, чем китайцы. В течение нескольких тысячелетий они культивировали у-шу для достижения гармонии души и тела. Какая же здесь может быть мистика? Делай цюани (движения у-шу) каждый день, в процессе работы «включай» сознание, и, когда почувствуешь радость от того, что делаешь, можешь считать, что встал на ступеньку выше. И иди дальше. Нет предела самоусовершенствованию.

— А каратисты приезжали?

— Было и такое. Кому наше дело понравилось — оставался с нами, а тем, кто хотел кулаки почесать, пришлось уйти с миром.

И узнал я такую историю. Повздорилась приезжать к Гусейну одна компания. На машинах, под «легким градулом».

— Брось ты эти занятия, Гусейн, — провоцировали они Учителя. — Лучше займись с ребятами мужским делом. А если ты позабыл, как это делается, мы им покажем...

Приехали раз-другой... И с каждым разом вели себя все более развязно и вызывающе.

— Хорошо, кто у вас самый опытный, становись! — не выдержал один из его учеников.

Встали в позиции. Пылающий взгляд, «набитые» кулаки, прыжки перед атакой у одного и — спокойное выражение лица, открытые чистые ладони без мозолей на костяшках пальцев, поза выжидания у другого.

Самурайский клич — нога, с шумом прорезав воздух, вздымается вверх... Не попал! Еще раз не попал! Еще!.. «Самурай» выдохся.

— К нам в редакцию пришло больше пятисот писем, а тебе?

— Думаю, что больше. И вопросы в тех письмах, наверное, одни и те же: где и как заниматься у-шу? Я знаю несколько секций в Прибалтике и в других местах страны. Отвечая на письма, даю ребятам эти адреса. Но, к сожалению, как и во многих других делах, в данном случае спрос пока опережает предложение.

— Я знал, — продолжает Гусейн, — что желающие заниматься у-шу у нас в стране есть, но я и предположить не мог, что их так много. И я был бы искренне рад видеть всех этих людей у себя дома. Но я испытал бы большую радость и от встречи с представителями студий, подобных нашей. Они показали бы нам свое, а мы бы учили их нашим упражнениям. И результаты сотрудничества потом передали бы другим студиям. У-шу — занятие не для мистических и полупулегалных сект. Здесь все должно быть открытым и честным.

Художник так и живет — открыто и честно. Но ведь давно известно, что это не самый легкий жизненный путь. До сих пор не решен статус его студии художественной и физической пластики. В отделе культуры райкома Гусейну предлагают ставку художника, а в районо — ставку физрука. Или — или!..

5. «ЛЕОПАРД В ЗАСАДЕ».

Сделать широкий шаг левой ногой в сторону и сесть на нее до упора. Правую ногу держать прямо, голову и грудь повернуть направо и чуть наклониться вперед. Руки слегка согнуть в локтях, пальцы также согнуть, ладонь прямая, напряженная. Вы ожидаете...

6. «БОГОМОЛ СИДИТ НА ВЕТКЕ».

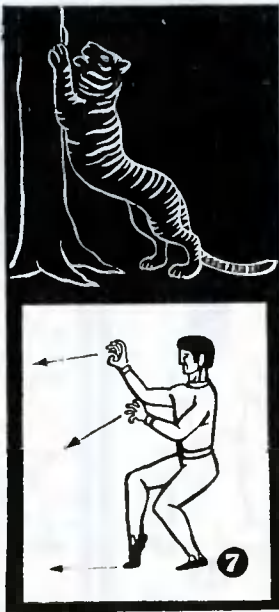
Не меняя положения ног, перенести вес тела на правую ногу. Голову и грудь повернуть влево. Руки из положения «лапы леопарда» переходят в положение «стойка богомола». Вес тела в основном на правой ноге, внимание сосредоточено на согнутых кистях рук. Держа руки на уровне лица, слегка раскачиваться, как богомол, сидящий на голой ветке под осенним ветром.

7. «ТИГР ВЫПУСКАЕТ КОГТИ».

Перенести вес тела на левую ногу, правую подтянуть на полшага к себе. Руки выставляются вперед. Вес тела процентов на восемьдесят приходится на левую ногу, правая опирается на носок. Пальцы растопырены. Сконцентрировав на пальцах внимание, медленно, с напряжением сгибайте их, как бы «выпуская когти». Заключительную часть упражнения сделать несколько раз на выдохе.

8. «ОЛЕНЬ ВЫСТАВЛЯЕТ РОГА».

Шагнуть правой ногой вперед, руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулаки. Тело наклонить в правую сторону. Плечевой пояс и кулаки сильно напрячь. Вы готовы «обороняться».



— Но таким образом подрывается сама идея гармонии души и тела, — горячо доказывает Магомаев. — Я — реалист и понимаю, что, согласись я на любую из этих ставок, не миновать мне указаний и директив сверху. Ты, скажут, художник, и нечего заниматься физкультурой! И наоборот! Я не прав?

Думаю, что прав. Ну, а раз нет ставок, то жить приходится на гонорары от проданных картин и рисунков. Гусейн публикуется, например, в «Крокодиле». Деньги не бог весть какие, но жить, как оказалось, можно. И даже гостей принимать. Иногда по двадцать пять человек сидело за столом — хорошо, что огород свой. Мешок муки, три барана и не считать, сколько кур (благо тоже свои) ушли в «общий котел» этим летом. Все это втайне от хозяев я выведаль у ребят-студийцев.

Статья в «Юности» вроде помогла Магомаеву. Им заинтересовались в обкоме, как-то даже приезжали, посмотрели... И все понравилось: и как ребята тренируются, и как они рисуют.

А через несколько дней наведалься участковый. Шли занятия. «Иди сюда!» — окликнул он сурово Гусейна. Занятия прервались. Ребята испуганно и смущенно смотрели на Учителя. «Ты знаешь, что тебя ждет за такие дела? Сммотри!» — он держал в руке раскрытый Уголовный кодекс. «Я знаком с этой статьей, — спокойно ответил Гусейн, — но мы каратэ не занимаемся. Об этом, кстати, есть и публикации в центральной прессе». «Я тебя предупредил!» — уходя, раздраженно бросил участковый. Председатель сельсовета, правда, принес потом извинения Гусейну.

А при мне два дюжих старших лейтенанта пришли выяснять, что за люди приезжают к Гусейну.

— Всем проживающим и находящимся здесь предъявить паспорта. Паспортный контроль! — прозвучал в полуденной жары металлический голос.

9. «ОБЕЗЬЯНА СМЕЕТСЯ».

Перевести вес тела на левую ногу. Носком правой ноги зацепиться за левую, которая слегка согнута. Плечи поднять вверх, спину согнуть. Расслабленные кисти рук скрещены у груди. Весело посмотреть вправо.

10. «ДРАКОН ПЛЫВЕТ В НЕБЕ».

Шагнуть правой ногой вперед. Медленно развернуться влево. Вес тела в основном на правой ноге, ко-

Гостей в тот день — кроме меня — не было. Проверка паспортов — законное дело. Но ведь и закон можно блюсти так, что и в жару ощутишь озноб.

Пошел я к председателю сельсовета, который об этой проверке, как выяснилось, ничего не знал. И был очень удивлен, что эти старшие лейтенанты, приехав с подобным заданием из райцентра, даже не зашли к нему. А знаете, как закончилась эта проверка?

— Гусейн, — сказал один из офицеров, — возьми в студию моего парня. Пусть у тебя позанимается.

Какие тут комментарии?!

Интерес к «боевым искусствам» велик. А самая большая почта на нашу публикацию — из воинских частей. О недостаточной физической, вернее, психофизической подготовке наших ребят пишут офицеры-десантники... из Афганистана. Они просят Гусейна выслать им комплексы гимнастики у-шу и даже выражают желание провести несколько дней своего отпуска в Халимбек-ауле, чтобы «отшлифовать цюани» и достичь «целостного» состояния. А полученные знания будут применять при обучении десантников.

— Конечно, — говорит Гусейн, — было бы здорово, если бы «Юность» опубликовала хотя бы начальный комплекс упражнений. Есть, например, китайский комплекс «Сянсин», который имитирует поведение и настроение животного. На его основе я готов составить — нарисовать — «танец десяти зверей».

— А как заниматься этими «танцами»?

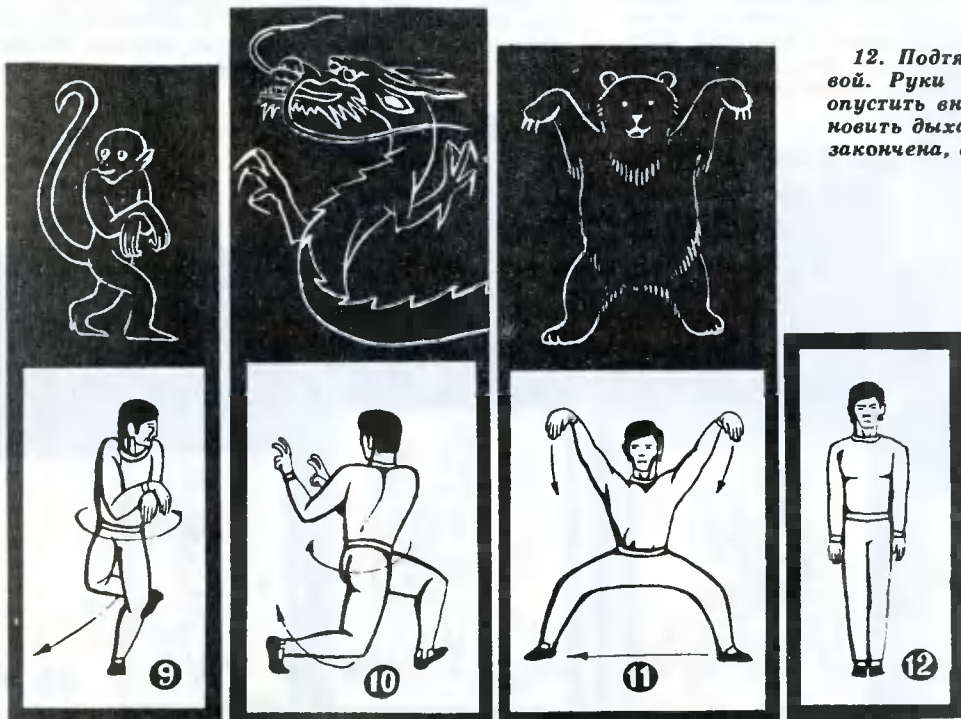
— По утрам выполняй весь комплекс два-три раза в оптимальном для себя темпе, от медленного до быстрого. Можно позаниматься и днем, а по вечерам я рекомендовал бы делать комплекс в спокойном, размеренном темпе. Правильное дыхание — основа у-шу. При занятиях на воздухе пользы будет намного больше. И не забывай о воображении...

торая согнута и опирается на носок. Указательные и средние пальцы рук напряженно согнуты, остальные — сжаты в кулак. Стремитесь вознестись над мелким, будничным.

11. «ТАНЦУЮЩИЙ МЕДВЕДЬ».

Развернуться вправо, руки поднять вверх, кисти расслабить. Ноги широко расставлены. Не меняя позы, несколько раз перевалиться с ноги на ногу. Выдохнуть.

12. Подтянуть левую ногу к правой. Руки плавно, через стороны, опустить вниз. Успокоиться, восстановить дыхание и улыбнуться. Игра закончена, всего вам доброго!



Эдуард ДВОРКИН

БАЛ —
ЛАДА
О МУЖ-
ЧИНЕ.



Рисунок И. Оффенгендена

— Мама! Мама! — кричали дети Иды Бенедиктовны Прусской. — Мы хотим коржиков с маком! Мы хотим на горшок! Хотим того-сего, пятого-десятого! Невысокая, полноватая Ида Бенедиктовна, со свистом рассекая воздух, исполняла детские желания.

Слава богу, у себя в учреждении она работала сидя и вечерами, забрав потомство из детского сада, могла для него побегать.

А кто еще побеждает для ее милых крошек? Может быть, воспитательница или нянечки? Или сама заведующая садиком проследит, чтобы детей вкусно накормили, вовремя переодели, чтобы заняли их чем-нибудь интересным?

Ида Бенедиктовна рассмеялась, дети тоже стали смеяться, Ида Бенедиктовна закурила хорошею, побегала с детьми паровозиком, попробовала почитать им купленную накануне дурацкую книжку, заснула ее подалше, включила телевизор, помыла детей, разложила их по кроватям и встала у окна.

Уже несколько лет она жила

без мужа. Муж Иды Бенедиктовны был белесый и угрюмый. Своей страшноватой решимостью он разогнал когда-то всех ее поклонников. На свадьбу приехали родственники мужа, такие же белесые и угрюмые. Исподлобья смотрели на Иду Бенедиктовну, вздыхали, покачивали головами. Выпив все, затеяли ссору. Муж выставил их из квартиры.

Шумливая круговерть жизни сменялась для нее одним повторяющимся днем.

Он приходил с работы, молча сдвигал в сторону пирожки и салатники, истово наваливался на щи, насытившись, ложился на диван. Спиртного почти не пил, и жуткие слова говорил ей трезвый, обдуманно и спокойно. Она слушала и не верила, что говорит это ей и что она слушает молча и терпит.

Ничего не изменилось и после рождения детей. Он равнодушно проходил мимо них к щам, к дивану, и даже самый маленький не смел плакать в его присутствии.

Она так ни на что и не решилась — он ушел сам.

Дети, к счастью, были похожи на нее. Ида Бенедиктовна вернула себе девичью фамилию, и только исправно приходившие алименты напоминали ей о существовании бывшего мужа.

Она постепенно распрямлялась, в глазах снова появился блеск, на щеках — румянец. Вновь обретая эмоции, она вложила их в общественную работу, в шумные веселые домашние игры.

«У кого-то жизнь сложилась так, — рассуждала Ида Бенедиктовна, — у кого-то эдак. У меня сейчас все нормально, все хорошо...»

Ида Бенедиктовна чуточку себя обманывала. Ведь с возрождением ее как личности в ней возрождались и давнишний девичий идеал. Грезился временем некто среднего возраста, в больших роговых очках, высокоинтеллигентный и тонкий, изысканно галантный и предупредительный, с манерами слегка старомодными, предпочитающий ее скромное общество обществу всех остальных женщин, взятых вместе.

Конечно же, такой человек должен был когда-то встретить ее!

Ида Бенедиктовна хорошо запомнила этот день. Она вязала в парке на скамейке, дети копошились в песочнице. Альберт проходил мимо, увидел свободное место и, учтиво приподняв шляпу, спросил разрешения сесть рядом. У нее гулко застучало сердце, она сказала: «Пожалуйста» — и, чтобы скрыть волнение, принялась поправлять одежду на детях. Альберт поблагодарил, сел, вынул старинного издания книжку и стал читать вполголоса, нараспев что-то невыразимо прекрасное. Очарованная Ида Бенедиктовна завороченно слушала. Сама собой завязалась легкая непринужденная беседа. Он объяснил ей, что читает в подлиннике китайских поэтов средневековья, кое-что перевел, попросил разрешения представиться, они познакомились. На Альберте был безукоризненный темный костюм со светлым платочком в нагрудном кармане, сквозь толстые стекла очков в роговой оправе на Иду Бенедиктовну смотрели умные, чуть усталые глаза.

Он попросил разрешения проводить ее с детьми до дома, она оставила ему номер телефона, они стали встречаться, ходили изредка в театр и на выставки, потом Ида Бенедиктовна пригласила его на чашку чая, и они перешли на «ты».

Так Ида Бенедиктовна впер-

вые за долгие годы почувствовала себя по-настоящему счастливой. Ее счастье могло быть, конечно, и большим, если бы Альберт приходил к ней почаще и проводил у нее времени побольше, но он был человеком занятым, и Ида Бенедиктовна это понимала.

Сегодня она ждала его, стояла, прижавшись лбом к прохладному оконному стеклу, смотрела на улицу. Альберт появился точно в условленное время, преподнес цветы.

— Чай, кофе? — спросила Ида Бенедиктовна, не видя ничего вокруг, кроме его лица.

— Да, дорогая, — ответил Альберт, вряд ли слыша ее вопрос.

Потом он негромко, чтобы не разбудить детей, поиграл ей на скрипке, увлеченно рассказал о последних научных открытиях, они посмотрели принесенные им редкие репродукции.

Время, как всегда, летело для Иды Бенедиктовны слишком быстро, и вот уже наступил печальный миг прощания. Альберт нежно поцеловал ее и вышел в ночь. Она стояла у окна и думала о том, что неделя пролетит быстро и скоро Альберт снова придет к ней.

Утром в автобусе Ида Бенедиктовна хотела было сесть на освобождающееся место, но перед самым носом на сиденье плюхнулась толстая безвкусно одетая женщина с лицом плоским и иевоыразительным.

Дуся Прохорова сознательно не уступила это место, посчитав, что служащие отоспались дома, еще отсидятся на работе, а она едет с ночной смены и действительно устала.

Ехать было далеко, и Дуся задремала. Приснился ей Кузьмич. Будто провожает ее до общежития. И весь из себя серьезный, «Беломор» курит. Докурил, окурок затоптал и говорит, выходи, мол, за меня, Дуська, комнату нам сразу дадут и дитя твое заберем с круглосутчного!

На этом сон и закончился. Вышла Дуся из автобуса, про Кузьмича думает. Нет, не женится на ней Кузьмич, ну и не надо, лишь бы приходил почаще. Хороший мужик Кузьмич, даром ей все девчата в общежитии завидуют. Постарше, правда, их ребят будет, но ребята эти что — раз-два погулял, и нет его, а Кузьмич с ней уже вон сколько! Завтра обещался прийти. Завтра выходной.

По выходным Кузьмич водил ее в кино, на танцы, потом Дуся, уговорившись с подругами, ненадолго приводила его к себе.

— Слышь, Дуська, — говорил ей Кузьмич каждый раз, — чего-то ты ядреная больно стала! — И он небольно тыкал ее пальцем под ребро.

— Ишь, охальник! — притворно сердилась она. — А мужики небось тощих не жалуют!

Она выставляла на стол деревенское сало, домашние, присланные с родины соления-копчения, Кузьмич тоже приносил кой-чего к столу, сидели. Кузьмич веселился сам и веселил ее, рассказывал анекдоты, дурачился. Глядя на него, Дуся залившись хохотала до слез, забывала обо всех горестях и неудачах. А если горести не отпускали, то умел Кузьмич быть серьезным, мог степенно рассудить, помочь советом и участием.

— Не уходи; побудь еще! — жарко шептала Дуся.

— Будет! — ласково, но решительно отстранялся Кузьмич. — Сейчас вахтерша припрется!

Он снимал со стула свою вязаную малиновую кофту, проводил гребнем по встрепанным волосам. Прощались. Кузьмич уходил, и Дуся принималась ждать следующего раза.

«Завтра придет Кузьмич, завтра!» — подбадривала себя Дуся, подходя к общежитию.

И чуть не попала под вынырнувший откуда-то ярко-красный «Жигуленок», едва в сторону увернулась. Сидела в машине за рулем крашеная какая-то баба с сигаретой, закушенной во рту. «От стерва!» — покрыла ее Дуся.

Виолетка и в самом деле была виновата: пешехода следовало пропустить, — но когда ее ждал Сугробов, она забывала обо всем.

Ои стояла на углу, красиво поставив ногу в немислимых мокасинах, нетерпеливо поглядывая на золотую «Омегу». Она тормознула, и Сугробов сел рядом.

— Что случилось? — спросил он, строго сдвинув брови. — Мы должны были встретиться только через три дня.

Не в силах сдержать себя, она застонала, потянулась к нему, потерлась лбом о его лайковое плечо.

— Я не могу без тебя... я хотела тебя видеть... без тебя так мучительно...

Рубленные черты его бронзового лица не дрогнули, но взгляд пронзительно голубых глаз чуть потеплел.

— Крошка! — сказал он хрипло. — Сейчас я увезу тебя далеко-далеко.

Они поменялись местами, он положил на руль левую руку, правой прижал Виолетку к себе, и на бешеной скорости они помчались прочь из города, к далеким зеленым холмам.

Визжали тормоза, врывающийся в кабину ветер остужал их разгоряченные лица, она прикурила для него сигарету.

Он остановил машину под сеиью огромного старого вяза, выключил мотор.

— Мой муж — тухля! — сказала она.

— Ты не должна так говорить, — возразил Сугробов. — Он заботится о тебе.

— Он заботится о себе, о своем комфорте и благополучии!

— Он думает о семье. Ведь он еще и отец.

— Я слишком поздно узнала его.

— Ты никогда не любила своего мужа?

— Никогда. Ведь он нисколько не похож на тебя.

Она тронула амулет на его стальной груди.

— У тебя были другие женщины?

— У меня их не было.

— Ты был счастлив с ними?

— Я счастлив сейчас.

— Когда ты был с ними, nebo было такое же голубое?

— Небо голубое, когда я вижу тебя.

— Я не хочу, чтобы ты уходил.

— Я приду еще.

— Я буду ждать тебя. Я всегда жду тебя, даже когда ты со мной...

Ярко-красный «Жигуленок» вернулся в город, проехал мимо моего дома. Мне не давался очередной рассказ, и, оторвавшись от машинки, я бездумно смотрел в окно.

Знакомые знают, что в это время я обычно работаю и тревожить меня нельзя. Я приучил их к этому. И только один из них, самый близкий мой друг, имеет право прийти ко мне, когда ему заблагорассудится.

Только что в прихожей зазвонил звонок — я знаю, это он, мой товарищ со студенческой скамьи, Алик, Альберт Кузьмич Сугробов.

Он молча садится в глубокое кресло, я варю ему кофе.

— Знаешь, — говорю я, — ты мог бы сделать счастливым еще одного человека. Блондинка за тридцать, неудавшаяся личная жизнь, разбитые надежды, обманутые ожидания. Мечтает о физике-альпинисте. Борода, альпеншток, гитара, синхрофазотрон... Хотя бы раз в неделю...

Глубокая поперечная морщина прорезает его лоб.

— Она очень страдает?

— Да, — отвечаю я. — Очень, хотя и держится молодцом.

Он вздыхает, достает записную книжку, что-то прикидывает с карандашом в руке.

— Нет, — говорит он наконец и разводит руками. — Все занято. Да и я уже не тот. — Он грустно улыбается. — Представляешь, на днях чуть не пришел к Виолетке в малиновой кофте, а Иду чуть не повел на таицы...

Он сидит у меня еще немного и уходит. Сегодняшний вечер он проведет в семье.

Я смотрю ему вслед из окна.

По улице чуть усталой походкой идет неравнодушный человек.

г. Ленинград



Жорж Фурест родился в 1864-м, умер в 1945 году. Юношей он из провинции переехал в Париж, окончил юридический факультет, однако с юриспруденцией у него сложились натянутые отношения. Поэтому на своих визитных карточках он распорядился напечатать: «Адвокат, не причастный к Апелляционному Суду». Зато Фурест был причастен к литературным кафе, где охотно выступал с чтением своих стихов.

Тематика стихотворений Ж. Фуреста в основном связана с

литературой и литературным бытом. Например, «Андромаху» его побудила написать одноименная трагедия Расина, который использовал фавулу, заимствованную у античных авторов, но разработал ее по-своему. Во время Троянской войны Ахилл убивает защитника Трои Гектора. Далее — уже по Расину — вдова Гектора Андромаха с малолетним сыном попадает в плен к Пирру, царю Эпира. Пирр влюбляется в Андромаху. Так как она отвергает его домогательства, он пытается сыграть

на ее материнских чувствах. Как и большинство писателей-классицистов, Расин заставлял говорить античных персонажей языком современного ему светского общества. Фурест вкладывает в уста тех же персонажей слова и обороты своих современников.

В арсенале Фуреста есть и другие приемы. В сонете «Истинный мужчина» комизм ситуации связан прежде всего с эпиграфом, взятым из знаменитой поэмы Альфреда де Виньи «Смерть волка».

Андромаха

...никогда не превзойдет он «Андромаху».
Мадам де СЕВИНЬЕ

Надев штаны и фрак свой иловый,
Сверкая белизной манжет,
Пирр входит к Андромахе вдовой
И говорит: «Привет-привет!

Мадам, — он говорит, — пред вами
Жених что надо: первый сорт!
Непьющий, вежливый, с деньгами
И с детства уважавший спорт.

Диплом есть тоже, между прочим,
Хотя, в отличие от иных,
И без него мой статус прочен
При трех процентах годовых.

Мои манеры не нахальны,
И не любитель я проказ,
К тому ж воротничок крахмальный
Меняю часто: в месяц раз.

Не увлечен игрой картежной,
Как увлекался ею встарь,
Плачу долги, не вру безбожно,
А по профессии я царь,

Законный государь Эпира,
Владелец нив, полей и рек;
По меркам и расценкам мира
Я не из худших человек.

И вот, поскольку все тут ясно,
Просить осмелюсь я, мадам,
У вас руки... Ну как, согласны?
Чего же дожидаться нам!

Не лучше ли без промедленья
К нотариусу поспешить
И выяснение отношений
Контрактом брачным завершить.

Мы будем образцовой парой.
Но знайте: хоть я сам не свят,
Рога наставите мне — кара
Вас ждет: колено ждет под зад».

Тут словно молния во мраке,
Взор Андромахи засверкал:
«Да как вы смеете о браке
Со мною толковать, нахал!

Со мною, скорбною вдовою,
Вдовою Гектора, что был

Храбрее всех героев вдвое,
А в Трое самым сильным слыл!

И после этого мне руку
Вы предложили? Ну я гусь!
Вдовства нелегкую науку
Освоив, я собой горжусь.

И замуж выходить не стану...
Вступить мне предлагая в брак,
Могли вы, сударь, только спяну
Решиться на подобный шаг».

«Ах так! — воскликнул Пирр сердито, —
Таков он, значит, ваш ответ?
И думаете, шито-крыто
Все обойдется? Ну уж нет!

У вас, мадам, есть сын-малютка
(Замечу кстати: хоть и мал,
Ревет он так, что просто жутко,
И все пеленки обмарал),

Так вот: чтоб вразумить вас как-то
И объяснить вам, что к чему,
Коль не подпишете контракта,
Сверну я голову ему».

Тут все запуталось, смешалось,
(Какая смесь добра и зла!)
Мадам всерьез перепугалась
И даже чуть не умерла...

И был Орест и Гермiona...
А что произошло потом,
Легко узнать, близ Одеяна
Приобретя Расина том.

Истинный мужчина

Стенать, молить, рыдать — все это недостойно.
Альфред де ВИНЬИ

Когда он от врача услышал: «Наградили
Дурной болезнью вас»; когда вдруг понял он,
Что был один обман и не было идиллий
И что рогами он впридачу награжден;

Когда увидел он, что ткань непоправимо
Протерлась на локтях; что сквозь дыру

в штанах
Просвечивает зад; что двадцать три сантиметра —
Весь капитал его и это полный крах,—

94

Содержание журнала «Юность» за 1987 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ

АЛЕКСИН Анатолий. Добрый геней	2
АНТОНОВ Сергей. Васяка	3, 4
БИТОВ Андрей. Преподаватель симметрии (Э. Тайрд-Воффин. Перевод с иностранного)	4
БУЛЫЧЕВ Кир. Подземелье ведьм	5
ВАСКЛЬЕВ Борис. Жила-была Клавочка	1
ГЕРАСИМОВ Иосиф. Скачка	7, 8
ДРАБКИНА Елизавета. Кронштадт, год 1921	10
ИСХАНДЕР Фазиль. Кролики и удавы	9
КВНРИНАДЗЕ Ираилий. Радуга в глазах хромой собаки	12
МИХЕЕНКОВ Сергей. Ночь расставаний	1, 2
НАГЫБИН Юрий. Встань и иди	10
НИКОЛАЕВ Сергей. Записки ангела	8
ПОЛЯКОВ Юрий. Сто дней до приказа	11
ЩЕГЛОВ Юрий. Жажда справедливости	11
ЯКОВЛЕВА Марина. Баллада о Розеттском камне	6

РАССКАЗЫ

ЕСЕНИНА Марина. Старая кукла	1
ЕФРЕМОВА Ольга. Очередь	12
ЗОЛОТУХИН Валерий. «Похож- ронен в селе...»	5
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Моря не было. «Я теперь Анна»	10
КОНДРАТЬЕВ Вячеслав. На станции «Свободный»	6
КУРНОСЕНКО Владимир. Круг	9
НАБАТНИКОВА Татьяна. Позвонил. Домохозяйка	2
ПОПОВ Валерий. Сны на верхней полке	12
РОЗОВ Виктор. Глазами ребенка	4
ШМЕЛЕВ Николай. Презумпция невиновности	7

СТИХИ

АНЧУРИН Марат	1
АРАБОВ Юрий	4
АРНСТОВ Владимир	9
АХМАДУЛИНА Белла	9
БАЛИН Александр	2
БЕЛИКОВ Юрий	7
БИРЮКОВ Сергей	1
БИЦУЕВ Анатолий	11
БУНИМОВИЧ Евгений	4
ВАГАБЗАДЕ Бахтияр	3
ВАНШЕНКИН Константин	1
ВИНОКУРОВ Евгений	2
ВИРТА Марина	7
ВИШНЕВСКИЙ Владимир	6
ГАМПЕР Галина	6
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей	4
ГОРБОВСКАЯ Екатерина	10
ГУСЕЯНОВА Рафига	5
ДАВОНЯ Размин	3
ДМИТРИЕВ Николай	1
ДМИТРИЕВ Олег	11
ДОЛИНА Вероника	3
ДРУК Владимир	4
ДРУНИНА Юлия	8
ЕРЕМЕНКО Александр	4
ЕРЕМЕНКО Владимир	1

ЖДАНОВ Иван	4
ЗАВАЛЬНЮК Леонид	9
ЗНЕДОНИС Имант	12
ЗЛОТНИКОВ Натан	10
ЗОЛОТУССКИЙ Сергей	12
ИСКРЕНКО Нина	4
КАЗАКЕВИЧ Вячеслав	5
КАЗАНЦЕВ Александр	5
КАЗАНЦЕВ Василий	8
КАЙДАНОВ Аркадий	5
КАМИНСКИЙ Юрий	1
КАРАТОВ Сергей	1
КАШЕЖЕВА Инна	5
КОВАЛЕВСКАЯ Любовь	7
КОЗЛОВСКИЙ Яков	10
КУГУЛЬТИНОВ Давид	7
КУЗОВЛЕВА Татьяна	1
КУЛАКОВА Марина	1
КУТАТЕЛАДЗЕ Нина	9
КУШНЕР Александр	9
ЛАВРЕНТЬЕВА Елена	5
ЛЯПИН Игорь	5
МАРЦИНКАВИЧЮС Юстинас	11
МАСЛОВ Борис	6
МЕТОДИЕВ Дмитрий	7
МИХАЙЛИН Юрий	9
МОВЧАН Павло	5
МУРЗАЛИЕВ Надыр	2
НЕМИРОВСКАЯ Юлия	4
ОЗЕРОВ Лев	2
ОЛО Артур	8
ПАРШКОВ Алексей	4
ПАШКОВ Юрий	10
ПОГРЕБ Вера	7
ПУЧКОВ Владимир	6
РЕБРОВА Татьяна	9
РЕЙН Евгений	7
САВЕЛЬЕВ Владимир	8
САМСЯЛОВ Давид	5
САФИЕВА Гулрухсор	6
СЕДЕЛЬНИКОВ Глеб	8
СЕМЕНОВ Владимир	5
СЕРГЕЕВ Павел	6
СМЕРНОВ Лев	7
СТАРШИНСКИЙ Николай	6
СУХАРЕВ Дмитрий	12
ТАРАН Лев	8
ТАРАСЕВИЧ Игорь	6
ТАРКОВСКИЙ Арсений	6
ТАСК Сергей	5
ТЮРИН Аркадий	5
ФИЛАТОВ Леонид	3
ФИЛИМОНОВ Дмитрий	12
ХРАМОВ Евгений	3
ЧАКЛАЯС Марис	5
ЧЕРНОВ Андрей	12
ЧЕХОНАДСКИЙ Юрий	9
ЧИЛАДЗЕ Тамаз	4
ЧУХОНЦЕВ Олег	7
ШАТУНОВСКИЙ Марк	4
ШЕНТАЛИНСКИЙ Виталий	10
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь	8
ЮДАХИН Александр	9
ЭМИН Геворг	12

ПУБЛИЦИСТИКА

АКМАЕВ Виктор. Почему я вступаю в партию	11
АЛЬТЕР Игорь. БАМ без ли- тавр	10
БОССЕРТ В. Хочу быть ди- ректором	11
БУХОНИИ Владимир. Жив ли Чинчиков	10
20-я комната. Заседание пер- вое — одиннадцатое 1—3,	5—12
ЕФКМОВ П. Не архив—арсе- нал	7
ЗЕМЛЯНКА Наталья. Что чи- таем и что продаем	4
ЗЯБКИН Константин. Штурм князькая Н. Совнарком. 3 октября 1922 год	6
КОСАРЕВА Александра. Вожак «Наша встреча — после по- бед!»	11
	4
	4

НЕДОШКВИН Вячеслав. Что- бы могли на нас ссылать- ся	5
Письмо читателю	1, 3
ХИСМАТУЛИН Амир. Бег на месте?	7
ХРОМАКОВ Михаил. Письма из райкома	1, 2
ЧЕРКАСОВ Виктор. Почему я вступаю в партию	9
ЧЕРКАШКИН Николай. В по- следнюю ночь лета	3
Последний рейс	9
ЧУЕВ Феликс. Таким его помню	4
ЩЕРБАК Юрий. Чернобыль	6, 7
ЮНУСМЕТОВ Авазмет. И сам себе судья	6

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

БЕЛКОВ Юрий. Вето на соловьев	8
БОЛДЫРЕВ Юрий. «В самом важном не струсить, не сдаться»	11
ВЕГИН Петр. Его ошибка	9
ГАЧЕВ Георгий. Совести! Стань смелостью	3
ЖЕЛЕЗНОВ Леопольд. Катаев и «Юность»	6
ЖУХОВИЦКИЙ Леонид. Нуж- ны ли гарантии	10
ЗЛОТНИКОВ Натан. «Сильней надежд мои воспоминания»	3
КАВЕРИН Вениамин. Юрий Тынянов и Август Летавет	7
КИРЕЕВА Алла. Поззии пар- ное молоко	2
КОВАЛЬДЖИ Кирилл. Сколь- ко у шара стороны?	1
Впереди дорога	4
КОЗЛОВСКИЙ Яков. Уроки Маршака	11
КОРКИЯ Виктор. Собрание обвинений	7
Критика и критики	2
ЛЕВИН Григорий. Он оста- вил о себе добрую па- мять	5
МИХАЙЛОВ Александр. Не- утраченные надежды	7
Молодая литература и ее завтрашний день	1
Продолжение следует... Бесе- да с Анатолием Рыбако- вым	12
Памяти Владислава Титова	7
Переключка через годы (Ан- кета «Юности»)	11
ПОЖЕНЯН Григорий. А был ли Абажуров?	2
ПРКЛЕЖАЕВА Мария. «Слы- шать народ»	12
СОКОЛОВ Вадим. Странная история	6
ТУРКОВ Андрей. В «Гайд- парке»	12
ХУРГКНА Ирина. Был из- бран королем	4
Я люблю твой свет и сум- рак (Беседа с Юрием Леви- танским)	5
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана. Не- известные строки Семена Гудзенко	5

НАША ПУБЛИКАЦИЯ. НАСЛЕДИЕ

АХМАТОВА Анна. Листки из дневника	9
-----------------------------------	---

БУЛГАКОВ Михаил. Фельетоны и очерки
ВИЗБОР Юрий. Стихи (Вступительное слово Ю. Кима)
ГУДЗЕНКО Семен. Стихи
КАТАЕВ Валентин. Все-таки, может быть, «Огни Лиссабона»?
ЛАВРЕНЕВ Борис. Гибель субмарины «L-55»
ЛЕТАВЕТ Август. Мой друг Юрий Тынянов
МАНДЕЛЬШТАМ Осип. Из неопубликованной книги «Новые стихи». Очерк «Возвращение»
НАБОНОВ Владимир. Пушкин, или Правда и правдоподобие
ПУШКИН А. С. «И этот юный стих небрежный...» (Комментарий В. Берестова)
РИД Джон. Красная рука. Рассказ
СЕВЕРЯНИН Игорь. Стихи. Рассказ «Гроза в Герцеговине»
СЕМЕНОВ Глеб. Стихи
СЛУЦКИЙ Борис. Стихи разных лет
ХОДАСЕВИЧ Владислав. Стихотворения разных лет (Страницы воспоминаний А. И. Ходасевича о поэте)
ЦВЕТАЕВА Марина. Стихи разных лет. Очерк «Поэт и время»
ШАЛАМОВ Варлам. Стихи. Заметки о творчестве. Двадцатые годы
ШКЛОВСКИЙ Виттор. Поездка в Магнитогорск
ШПАЛИКОВ Геннадий. Стихи
ЭРЕНБУРГ Кля. Чему научила меня жизнь

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

АВЕРИНЦЕВ Сергей. Как нить Ариадны...
БЕРНШТЕЙН А. Вспомним Никандрова
БОКШИЦКАЯ Елена. Поучительная история... А. Сокурова
Юрий Ильенко: Плата за компромисс
ВИЛЬЧЕН Всеволод. Пока джиги не выпущен из касеты
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Леонид. Сцены видеоклассики
ЕРМОЛАЕВ Михаил. Батюшков
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. А ты смотрел «Риск»?
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Что было на Кузнецком мосту
ЗИМЯНИНА Н. Елена Брылева: «Не воспринимаю музыку фоном»
КЛЕБАНОВ Юрий. Без сценария
КОТЛЯРСКИЙ Эмиль. Вновь накопилось тишины на слово
КУРКОВ Михаил. Реставрация — образ жизни
ЛЕОНИДОВ Ю. Владимир Тумаев: «Найти зрительный образ»
ЛИПАТОВ Виттор. Лучшее — раньше и с журавлем в руках
Нелицемерный суд держать. Беседа с художником И. Глазуновым
ПУГАЧ Анна. Дягилев возвращается
Рок-салон на Каретном
ШАГАЛ Мари. Моя жизнь
ШУЛЬЦЕНКО Ина. Вырядимся?
«Я сделал этот фильм для молодых». С кинорежиссером Т. Абуладзе беседует А. Гербер
ЯНСОНАС Эмонтас. К портрету Некрошюса

«ЮНОСТЬ» — СПТУ

В человеке все должно быть прекрасно

Гарри Каспаров: «Поддерживаю и... сомневаюсь»
 Сообща отведем беду
 Так почему же «непрестижно» ПТУ

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

ГОРБУНОВ А. Кружка — побирушка
 Для кого мы учимся
 И снова о «воспитании чувств»
ОРЛОВ Александр. «Никто не забыт?»
СЛЕПАНОВ А. Почему суррогат милее
ФЕДОРОВ Сергей. «Надо же что-то делать?»
 Читатели и «Испытательном стеиде»
 Чтение... через замочную скважину

СПОРТ

АРКАНОВ Аркадий, ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Сюжет с немислимим прогнозом. Часть 3
ЛУКЬЯЕВ Владимир. Ушу по-дагестайски
 «Черный ящик» для судей
 Поездка в Халимбек-аул
ФИЛАТОВ Лев. Футбол Коистаитина Есенина

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

АЙМЛА Прийт. Активное обсуждение
БОРИСОВ Григорий. Эпиграммы
ВАУЛИН Тимур. Зеро
ВЕРБИН Евгений. Ироническая поэзия
ГОРИН Григорий. Птичий базар
ДВОРКИН Эдуард. Баллада о мужчине
ДРОБИЗ Герман. Хочу быть оптимистом
ЖВАНЕЦКИЙ Михаил. Мы сейчас очень интересно живем. Трудности кино
 Птичий полет
ЗАБАБАШКИН Вадим. Старый ковер
ЗАДОРНОВ Михаил. Ловушка
НИНН Ариадий. Он
ИРТЕНЬЕВ Игорь. Клеветнику. Искусство
КАДЯЕВ Владимир. Живая очередь
КАЛЛЬ Тоомас. Сдвиг по фазе
КАССЬ Калью. Письмо в палату мер и весов
КОКЛЮШКИН Виттор. Короткие рассказы

КОРСУНСКИЙ Лев. Вероломный Почки
 Косая линейка
КРЕТОВА Марина. Очки
КУЧАЕВ Андрей. Тяга к отказу
ЛОСЕВА Алла. Ссорьтесь научи
МАРШИННИНА Татьяна. Добрым молодцам урок
НОВОЖЕНОВ Лев. Нетерпеливые строки
САТИН Сергей. Некоммуникабельность. О любви
СОСНИЦКИЙ Олег. Срочное задание
ФУРЕСТ Жорж. Сочинил поэт когда-то...
ХАРМС Даниил. Рассказы и сценки
ХОТТ Александр. Там лучше, где нас нет
ШИРЯКОВ Виттор. Все игры нелегки

В номере:

Проза

Ольга ЕФРЕМОВА. Очередь. Рассказ (10).
 Валерий ПОПОВ. Сны на верхней полке. Рассказ (15).
 Ираилий КВИРИКАДЗЕ. Радуга в глазах хромой собаки. Повесть-памфлет (67).

Поэзия

Роберт МИННУЛЛИН (14), Андрей ЧЕРНОВ (26), Имаит ЗИЕДОНИС (39), Дмитрий СУХАРЕВ (39), Сергей ЗОЛОТУСКИЙ (40), Дмитрий ФИЛИМОНОВ (41), Георг ЗМИН (87).

Наша публикация

Варлам ШАЛАМОВ. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ (28).

Наследие

Михаил БУЛГАКОВ. Фельетоны и очерки (18).

Публицистика

20-я КОМНАТА. Заседание одиннадцатое (45).

Критика

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... Беседа с Анатолием Рыбаковым (23).
 Мария ПРИЛЕЖАЕВА. «Слышать народ» (42).
 Андрей ТУРКОВ. В «Гайд-парке» (58).

Культура и искусство

Сергей АВЕРИНЦЕВ. Как нить Ариадны... (2).
 Мари ШАГАЛ. Моя жизнь (82).
 Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. А ты смотрел «Риси»? (86).

Почта «Юности»

Александр ОРЛОВ. «Никто не забыт?» (84).

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ. Поездка в Халимбек-аул (88).

Зеленый портфель

Эдуард ДВОРКИН. Баллада о мужчине (91).
 Жорж ФУРЕСТ. Сочинил поэт когда-то... (93).
 Олег СОСНИЦКИЙ. Срочное задание (94).
 СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1987 ГОД (95).

Оформление обложки
 А. Сальникова
 Главный художник О. Кокни.
 Художник Ю. Цишевский
 Технический редактор О. Третьяков.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, улица Горького, д. 32/1.

Телефоны:
 Главная редакция — 251-31-22
 Отделы: прозы — 251-59-44
 поэзии — 251-44-35
 критики — 251-96-76
 публицистики — 251-02-30
 науки и техники — 251-27-57
 рукописей — 251-74-60
 писем — 251-14-21
 культуры — 251-48-65
 оформления — 251-73-83
 сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 12.10.87.
 Подп. к печ. 10.11.87. А 08999.
 Формат 84×60/16. Офсетная печать.
 Усл. печ. л. 11,68. Уч.-изд. л. 17,75.
 Усл. кр.-отт. 16,74. Тираж 3 100 000 экз.
 Изд. № 3258. Заказ № 1433.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда» 125665, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.



**ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НАРОДНОГО
ХУДОЖНИКА СССР
О. К. КОМОВА**

**Памятник
Инди́ре Ганди
в Москве.
(Бронза)**



**Памятник
Зое Космоде́мянской
на Новодевичьем
кладбище
в Москве.
(Бронза)**

*Редакция обращается к художникам,
графикам и дизайнерам,
профессионалам и студентам художественных вузов*

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

*«Юность» объявляет конкурс
на лучшее оформление обложки журнала в 1988—89 гг.
Сохраняя традицию,
редакция оставляет неизменными
шрифт и размещение заголовка ЮНОСТЬ.
Размеры присылаемых на конкурс оригиналов:
295 мм — высота и 415 мм — ширина.
Обязательное использование не менее четырех цветов.
Одобренные жюри произведения
будут опубликованы с выплатой гонорара.
Для трех лучших работ установлены
дополнительные премии по 200 руб.
Справки по тел. 251-73-83.*

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

